

*Аскад Мухтар*

# ЧИНАРА

1  
РОМАН

*в легендах, рассказах и повестях*

ТАШКЕНТ

Издательство литературы и искусства  
имени Гафура Гуляма

1983

Уз 2  
М 92

Авторизованный перевод с узбекского  
**БОРИСА БАЛТЕРА**

*Художник*  
**Ю. СТРЕЛЬНИКОВ**

М  $\frac{4702570200-235}{352(04)-83}$  Доп.— 83

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма,  
1983 г. (оформление).

То не туча на склоне горы, а наша чинара. В честь чинары гора называется Чинар-таг, а горное селение — Чинар-кишлак. Это тот кишлак, где родился наш Ачил-бува<sup>1</sup>. Можно было бы, конечно, начать рассказ прямо с него, но в нашей округе не бывает, чтобы о чем-нибудь рассказывали, не помянув чинару. К примеру, пойдет человек на гузар—площадь с шумной чайханой над арыком, а рассказ об этом событии начнет словами: «ходил к чинаре» или «ел плов под чинарой». Вот и мы начинаем свой рассказ с того, что Ачил-бува прощается с чинарой. Конечно, не навсегда. Старик хоть и прожил девяносто четыре года, но умирать пока не собирается. Просто у него привычка—перед дорогой, все равно какой, ближней или дальней, попрощаться с чинарой.

Светает. Птицы проснулись, попробовали голоса и слушают, как они звучат в гулкой синеве. Откуда-то с вершины дерева набегают шум, и вдруг закипают над головой листья. Тихий и могучий рокот, кажется, заполняет весь мир. Ачил-бува стоит посредине гузара на плоской каменной глыбе. В нашем горном кишлаке таких камней полным-полно. Из них сделаны ступени лестниц, они перекинуты через арыки, из таких камней сложены супы в чайхане — возвышения, на которых удобно сидеть, подогнув под себя ноги, вокруг блюда с пловом или вести беседы, передавая по кругу пиалу кок-чая. Корни чинары уходят под камень и там, в глубокой плоти земли, пере-

---

<sup>1</sup> Дед.

плетаются с корнями горы. Так по крайней мере у нас принято думать. Ачил-бува, подняв вверх лицо, словно растворился в белом рассвете, прислушиваясь к зеленому шуму листвы. Говорят, чинаре тысяча лет. Огромный, в девятнадцать обхватов, ствол шершавый, в наплывах времени, могуче попирает землю. Чем выше скользит взгляд старика, тем ствол становится белее и как будто моложе. Одна из ветвей нависла над гузаром. Она самая молодая, ей лет пятьсот, и кора на ней молочно-белая, как девичья кожа, а разлапистые, словно пятерня, листья закипают, шумят на рассветном ветру. Сколько помнит себя старик, чинара была такой. Он не может представить ее тоненьким деревцом. Похоже, что жизнь чинары не имеет ни начала, ни конца, а от этого собственная жизнь кажется старику бесконечной.

Ачил-бува смотрит вверх. Странно, но кажется, старик плачет. Слезы блестят в глубоких морщинах его лица. Правда, блестеть могут и капли дождя — уже давно гремит отдаленный гром. В одном могу вас заверить, если это и слезы, то не слезы печали.

Безлюден гузар в этот ранний час. Над арыком стынут глиняные очаги. Ни одного человека нет на улицах кишлака. Старик смотрит в небо на отсветы далеких молний.

— Ну, хватит хмуриться. Освободите небо. Дайте дорогу новому дню, — говорит он тучам.

Пока Ачил-бува прощается с чинарой, предаваясь своим мыслям, я перескажу вам то, что говорят о чинаре в наших краях.

### ЛЕГЕНДА О ЧИНАРЕ

Если верить молве, чинару посадил в год чумы далекий предок Ачила-бувы. И исчезла чума, и ни одна напасть с тех пор не посетила эти места. И благодарные люди каждый год идут по дорогам из дальних и близких кишлаков, чтобы приложить ладонь к стволу чинары. Но можете осмотреть кору ее ствола — на ней нет ни рубца, ни царапины. Молва говорит, что не только от ножа, от прикосновения ногтем из дерева тотчас брызнет кровь.

Знайте, в один из годов старики аксакалы объявили: близко тысячелетие чинары! И все стали ждать знамения, потому что в день тысячелетия чинара должна вспыхнуть огнем и сгореть. И поднялась

паника по всей округе. Опустел гузар, и опустели все окрестные кишлаки. И весь народ ушел в поля на холмах и оттуда день и ночь смотрел на зеленое облако на склоне горы и ждал, когда из него вырвутся в небо красные языки огня. Старики аксакалы молились, а молодые, устав ждать и бояться, зароптали: если чинара должна сгореть, то скажите, когда?

— Верьте,— сказали аксакалы,— в полночь второй пятницы месяца мизана<sup>1</sup> чинара сгорит. Так будет.

Слушайте и знайте, Ачил-бува не поверил аксакалам. Он слышал от деда, как горели кишлаки и сады и как поля застилало сирадным дымом. В этом дыму скакали кони Чингизхана. Ачил-бува слышал и верил — только могучая куца чинары не боялась огня. Она свежо зеленела в пламени, и так же, как сейчас, шумели ее листья, как будто шептали: «Жизнь вечна, жизнь нескончаема».

И вот в ночь второй пятницы месяца мизана Ачил-бува одинешенек пришел на гузар и остановился под чинарой. И всю ночь народ не спал в полях и всю ночь смотрел на чинар-сукмак — тропинку, по которой ушел к чинаре Ачил-бува. Всю ночь простоял Ачил-бува на каменной супе. Стоял и вглядывался в дерево. И, говорят, когда пришла полночь, чинара вдруг зашелестела листьями, сказала:

— Я не сгорю. Я не могу сгореть, потому что тогда наступит конец жизни. А жизнь вечна, жизнь нескончаема.

Те, кто в то время был молодым, начали стариться, а старики говорят:

— В пору моей юности думали, что чинара стара. Теперь я уже состарился, а чинара все та же.

И еще говорят: тот, кто слышал голос чинары, бессмертен.

Где кончается легенда и начинается быль и где кончается быль и начинается легенда, судите сами. В этом году в пору созревания дынь Ачилу-буве исполнилось девяносто четыре года. Когда встречаю его, могучего и нестареющего, я начинаю верить, что «жизнь вечна, жизнь нескончаема». Но молва молвой, а пора возвращаться к нашему рассказу.

Когда Ачил-бува, постукивая кизиловым посохом о каменные ступени, вернулся с гузара, колхозный ГАЗ-69

---

<sup>1</sup> Седьмой месяц солнечного года, соответствующий периоду 22 сентября — 21 октября.

уже стоял в его дворе. Бобо<sup>1</sup> ответил на приветствие по-фара, легко и быстро поднялся на айван.

— Азимджан! — крикнул он. — Пора в дорогу, если ты не хочешь, чтобы нас спалило солнце.

Из дома тотчас вышел, как будто ждал зова, тщедушный, с бледным лицом мужчина, смахивающий из-за своего маленького роста на муллабачу<sup>2</sup>. Из-под новенького чапана<sup>3</sup> виднелись шелковая рубашка, шевиотовые брюки и новенькие сапожки. Все с иголочки. А на голове чувствская тюбетейка, обвитая шелковой тканью в зеленую полоску. Рядом с ним Ачил-бува, повязанный поясными платками поверх длинной белой рубашки без воротника, возвышался как гора. Брезентовые голенища его серопепельных выворотных сапог мягкими складками охватывали могучие ноги. Из-под киргизской шапки, лихо насаженной на голову, поглядывали почти не потерявшие блеска молодости, чуть пожелтевшие глаза, а на задубевшей под ветром и солнцем груди лежала белоснежная борода. Ачил-бува оглядел Азимджана и пошел к машине, накинув на руку дорожный чекмень.<sup>4</sup> Они уехали на боковых скамейках в открытом кузове, разместив рядом с собой всю нехитрую поклажу. Машина тронулась.

Ну, а мы? Собственно, у меня выбора нет. Я рассказчик и вынужден следовать за ними.

Думать, что эта поездка какой-то этап в жизни Ачила-бувы, неправильно. Это обычная поездка, которую он совершает каждый год. Одних только детей и внуков у Ачила-бувы сто тридцать семь, а правнукам и праправнукам старик и счет потерял. Дети разъехались, а для бобо они по-прежнему одна неделимая семья, и всех он называет: дети мои. Вот этот сорокалетний внук Азимджан впервые приехал к деде, Азимджан родился и вырос за границей, а для Ачила-бувы он всего-навсего мальчик, сынок, такой же дорогой и близкий, как и все. Всю неделю, что прожил Азимджан у деда, он без устали расспрашивал Ачила-буву о своих родственниках. Вот поэтому и решил Ачил-бува свой ежегодный объезд семьи совершить вместе с Азимджаном.

---

<sup>1</sup> Дедушка, старик.

<sup>2</sup> Воспитанник медресе.

<sup>3</sup> Халат, вообще верхняя одежда.

<sup>4</sup> Верхняя одежда вроде кафтана.

Машина мигнула, улицы кипелка и выкатилась на асфальт. Солнце только-только оторвалось от горизонта, но небу расплзались разрозненные тучи. Последний раз увидела темную кущу чинары на склоне горы, после чего она скрылась за поворотом.

— К кому мы приедем по этой дороге, бобо? — спросил Азимджан.

— По какой дороге ни поедешь, обязательно встретишь кого-нибудь из своих родственников, малыш, — ответил Ачил-бува.

— Но сейчас мы едем к дяде Ариффу, бобо?

— К дяде Ариффу, малыш.

— Кто старше, дядя Ариф или мама?

— Твоя мама была старше.

У себя дома, за рубежом, Азимджан — преуспевающий делец, один из совладельцев фирмы, торгующей каракулем.

Но какое до этого дело Ачилу-буве?

Для него Азимджан всего-навсего сын любимой дочери, не по своей воле покинувшей родину. Для Ачила-бувы Азимджан малыш, родная кровинка, отыскавшаяся наконец. И странное дело, Азимджан находил удовольствие в этой ласке старика. Ведь когда он прилетел сюда из Ленинграда, где проходил аукцион пушнины, то даже не предполагал, что найдет кого-нибудь из родных в живых. Сменив костюм богатого бизнесмена на национальную одежду, он чувствовал себя как бы помолодевшим. Азимджан подумал, что бы сказали друзья, если бы увидели его в этом чапане и чувстской тубетейке рядом с могучим стариком, который запросто называет его малышом, подумал и улыбнулся.

За неделю он так и не мог понять, какое положение занимает его дед в этой стране. То Ачил-бува кажется стариком на пенсии, то наделенным необыкновенной властью.

Проехали перевал Кара-Карга, и машина спустилась на необозримые горные пастбища. Куда ни глянь — везде паслись стада. Солнце поднялось в зенит, и Азимджану казалось, что животные из-за жары едва шевелятся, понуро опустив головы. А бува почему-то все больше и больше хмурился и вдруг велел остановить машину. У дороги, в тени огромного камня, прижались боками друг к другу два барана. Ачил-бува проворно подошел к ним

и прутиком стал раздвигать шерсть. Он бросил прутик и гневно крикнул:

— Эй, чабан!..

Из юрты с ребенком на руках вышел молодой парень. — А у баранов-то ящур! Что же ты смотришь, дитя? — спросил Ачил-бува, когда парень подошел.

В глазах чабана появилась тревога, потом растерянность. Он пересадил ребенка с одной руки на другую, сказал:

— Не могу от него отойти, отец...

Ачил-бува велел приподнять ребенку веки и раскрыл ему рот, чуть надавив на щечки.

— Скажи матери, пусть напоит его двумя ложками кебабного сока. А сам собирайся, поедешь с нами.

Чабан отнес ребенка в юрту, вернулся бегом и перевалился через борт в кузов машины.

По дороге Ачил-бува поучал парня, что делать. Перво-наперво, необходимо объявить карантин и принять меры, чтобы не разнести ящур по всему джейлау<sup>1</sup>. А для этого следует установить контрольные пункты, возле которых засыпать дорогу опилками, пропитанными химикатами.

— Главное — пригласите побольше ветеринаров. К лету с ящуром надо покончить, а то весь скот пропадет, — наставлял парня бува.

Шофер меж тем затормозил возле большого загона для овец.

Парень уже стоял на дороге.

— Все так и передай директору совхоза. Понял? — спросил Ачил-бува.

— Понял, — ответил парень. От его былой сонливости не осталось и следа.

— Кумыс здесь есть? — спросил Ачил-бува.

— Одну минуту, ата<sup>2</sup>! — парень быстро вбежал в юрту по ту сторону загона и тотчас вернулся с бурдюком. Ачил-бува, Азимджан и шофер выпили по две пналы прохладного кумыса. Ачил-бува сорвал на краю дороги цветок кугая и ткнул его под шапку у виска.

Машина тронулась. Ачил-бува крикнул:

— Как фамилия вашего директора?

<sup>1</sup> Горное пастбище.

<sup>2</sup> Отец.



Окутанный поднятой пылью чабан с бурдюком на плече что-то ответил, но что, Азимджан не расслышал. Он думал о том, что все-таки бобо, наверное, наделен большой властью, раз так беспрекословно незнакомые люди выполняют его распоряжения. Кто же он, его дедушка? Спросить об этом прямо Азимджан не решился.

— Вы хорошо знаете овец, бобо,— сказал Азимджан.

— Я был чабаном, малыш.

— Но в Чинар-кишлаке я слышал, как с вами советовался агроном.

— Садоводом я тоже был, малыш. Кем только я не был за свою долгую жизнь. Пришлось помахать и саблей...

— Да, я видел вашу фотографию.

Казалось, конца не будет этому горному пастбищу. Уже и горы отступили назад, воздух над горизонтом дрожал от зноя, а дорога упрямо не хотела спускаться вниз.

— В жизни можно идти только вперед. И никогда нельзя останавливаться, если даже очень устал. А вернуться назад и подавно,— сказал Ачил-бува.

— А вам бы хотелось назад, бобо?— спросил Азимджан.

— Как тебе сказать? Я еще далеко не насытился жизнью. Мне бы хотелось пробежать на рассвете босиком по этим травам. Сбивать босыми ногами росу, как в детстве, когда сердце свободно от забот и открыто только для радости... Ты когда-нибудь провожал глазами полет бабочки? Сумеешь ли различить по запаху цветы? А сколько сортов винограда знаешь?.. Долго живу, а досье еще не нагляделся...

— А какая профессия вам больше всего нравилась, бобо?

— Какая? Та, которой у меня никогда не было... Мне кажется, что, если бы я был писателем, я бы всю жизнь писал одну книгу. Это была бы книга прощания. Я бы прощался в ней с детством, с юностью, с жаворонками, со звездами, со степями... С красотой сущего, неповторимого. И тот, кто читал бы мою книгу, понимал, как прекрасна жизнь, если с ней так грустно прощаться. Понял бы и стал ценить каждое отпущенное ему мгновение. Такой книги нет, малыш, а если бы я ее написал, то простился бы с миром умиротворенным...

Пастбища, постепенно понижаясь, к вечеру перешли в степь, и по горизонту уже угадывалась зубчатая линия песчаных барханов. Машина, резко затормозив, остановилась. На естественной каменной глыбе, окруженной засыхающим цветником, поблескивал бронзовый бюст. Здесь кончался асфальт и начинались пески. Ближе у дороги расцвели изогнутые, как змеи, ветви саксаула.

С высоты постамента, прищурясь, смотрел в пустыню старый человек с остроконечной бородкой. Азимджан не удержался и, поднявшись на цыпочки, потрогал выпуклую Звезду Героя на бронзовой груди.

— Это Джабай, бува? — спросил Азимджан.

— Да, он, малыш. Значит и до вас дошла его слава?

— Нет. Я видел его портрет на аукционе в Ленинграде...

— Да, это Джабай. Между прочим, именно он исправил трагическую ошибку твоего отца...

— Расскажите, бобо. Ведь я совсем ничего не знаю...

Шофер меж тем разостлал дорожный дастархан. Тень от машины была уже по-вечернему длинной.

— Прошу, — позвал он.

Наступила прохлада. Об этом первыми известили кузнечики, заверещавшие в цветнике, остывающем после дневного зноя. Ачил-бува и Азимджан пошли по асфальту, проложенному от памятника к дороге.

...Памятник поблескивал, подсвеченный солнцем. Прямая, как стрела, полоса асфальта сливалась в конце с темнеющей в степи дорогой. Там, вокруг дастархана, сидели наши герои. Над их головами было вечернее небо; с одной стороны полынная степь, с другой — пустыня. Пусть тебя не волнует, читатель, что ты не слышишь, о чем они говорят у костра, на котором закипал чайник. Я слушаю в оба уха, и ты будешь знать все, что тебе положено знать.

## РАССКАЗ О БАЗАРКУЛЕ И ЕГО ЖЕНЕ АНАБИБИ

Поскрипывает каркас юрты. Лето в этих местах начинается с ветра. Он прилетает, насыщенный зноем пустыни, запах вянущих трав кружит голову. Все тихо. Чабаны отсиживаются от зноя в юртах. Обычно Базаркул, как и другие чабаны, в эти часы дремлет. Но сегодня сон бе-

жит от глаз. Сегодня из кишлака пришла в степь жена, Анабиби. Базаркул видит, как она хлопочет по хозяйству в тени юрты, а когда скрывается с глаз, слышит ее шаги, бульканье сбиваемого масла в глиняном кувшине.

Базаркул, прикрыв глаза, представил Анабиби, ее плотную, тяжеловатую фигуру, высокую грудь и горячие, пламенеющие, как мак, губы. Он услышал приближающиеся шаги жены и, когда она проходила мимо, крепко схватил ее за руку и втащил в юрту.

— Ваи, что делает... И среди бела дня,— сказала Анабиби.

Базаркул помалкивал и сильнее прижимал ее к волосатой груди...

— Неужели не стыдно...

Базаркул, не выпуская жену из рук, щекотал ей шею усамн, шептал:

— Почему босая ходишь?

Анабиби затихла. Она вышла замуж за Базаркула по любви. Муж частенько наведывался в Чинар-кишлак, хотя ради этого и приходилось порой не спать всю ночь. Но как ни коротки были перерывы между свиданиями, Анабиби и их не терпела. Бросив все дела, она прибежала к нему на джейлау.

Базаркул был единственным сыном рано умершего приказчика Аманкула-ференга<sup>1</sup>. Рано осиротев, Базаркул вырос на джейлау каршинского бека, у которого служил отец. Аманкул-ференг умер, не разбогатев сам, но зато обогатил своего хозяина. Аманкул по делам бека побывал в Европе, а однажды с караваном эмира даже посетил Париж. Мать Базаркула была красавицей и заядлой любительницей наса — зеленого табака, который закладывают под язык. Почти все время она проводила на свадьбах, распорядилась на женской половине.

Базаркул не оплакивал смерть матери, а отца очень любил. Отец изо всех сил стремился выбиться в люди. Эту мечту свою он оставил сыну вместе с умением выращивать каракуль. И хотя Базаркул был еще совсем молодым, он занимал у бая должность старшего чабана. Базаркул надеялся со временем разбогатеть и открыть

---

<sup>1</sup> Модник. Так называли тех, кто одевался по-европейски или побывал в Европе.

свое собственное дело. Его только смущали события, которые начались в России три года назад и отголоски которых докатились до горных пастбищ

— Мы с тобой будем богатыми. Пусть только пройдет эта суматоха, — говорил Базаркул жене.

Но «суматоха» не проходила, а было совсем наоборот. Дела творились такие, каких глаза раньше не видели: по джейлау бека скакали красноармейцы и ходили слухи, что сам эмир перепуган и не знает, чем все кончится.

В ответ на обещания богатства Анабиби говорила:

— Мне ничего не нужно, лишь бы вы были здоровы. — Она разглаживала его усы, и пальцы ее пахли сыром.

Анабиби прибегала на джейлау днем под предлогом помочь мужу по хозяйству. Но когда он в сумерки приходил в юрту, то не успевал опустить с плеча хурджун, Анабиби обнимала его за шею, тихо спрашивала:

— Можно мне до завтра остаться?

Сегодня, когда Анабиби спросила, может, ей и завтра не уходить в Чинар-кишлак, Базаркул прижал ее к себе, сказал:

— Анаби, не уходи... никогда не уходи... Поняла?

Анабиби уловила в голосе мужа тревожные нотки, нотки затаенного страха.

— Базаркул, что с вами? Что случилось, Базаркул-ака?<sup>1</sup> — Анабиби стояла перед ним не как избалованная любовью девочка, а как любящая и обеспокоенная поведением мужа жена.

— Наш бек намерен перегнуть свои отары на ту сторону Куйкафа.

— Ну и что?

— Ничего... Ты понимаешь, что на той стороне хребта другая страна?

— Ну, а вам-то что? Вам-то что? — почти закричала она, уловив в словах мужа какую-то угрожающую ей опасность. — А вы? Что думаете вы? — продолжала она, не дождавшись ответа мужа. — Он сам себе бек, а вы сами себе...

— Выбирают лучших чабанов и подпасков...

---

<sup>1</sup> Старший брату почтительное обращение к старшему по возрасту.

- Кто выбирает?
- Бек...
- Ну так что же?
- Ничего.

— Да ну вас, все «ничего» да «ничего»... Если ничего, то и нечего голову морочить себе и другим,— впервые Анабиби позволила себе так резко разговаривать с мужем. Она ушла, а Базаркул так и остался сидеть, глядя, как колыхается потревоженная занавеска.

Наплакавшись за день, Анабиби с вечера быстро уснула. Базаркул провел ночь, не сомкнув глаз, и разбудил жену, едва обозначился рассвет.

— Анаби... Анаби... Чабанам обещано по сто овцематок, подпаскам по сорок.

— Вы про что? Зачем овцематки?

— Чабанам, которые погонят овец, дадут по сто овцематок...

Анабиби проворно поднялась с постели. В бязевой рубашке с открытым воротом, с распущенными волосами, она вроде бы не двигалась, но тень ее колыхалась в зыбком свете, проникавшем в юрту с неба.

— Подумай, Анабиби, сто овцематок... Бек сам будет выбирать чабанов... бездетных, бессемейных.

— Сам выбирает, сам выбирает...— Анабиби не заметила, что уже кричит. Она упала на колени рядом с мужем, и ее распущенные волосы накрыли его.

— Анабиби, Анабиби, что с тобой? Успокойся. Неужели ты думаешь, я уйду, оставив тебя?

— Нет, нет. Не думаю... Ты не уйдешь, ты не оставишь меня...

Оба говорили и оба не верили в то, что говорят.

Потянулись дни, когда они страдали оттого, что лгали друг другу. Анабиби почти не покидала джейлау, совсем забросив дом в Чинар-кишлаке. Однажды, когда вернулась, ненадолго сбегав в кишлак, она застала мужа в юрте, ничком лежащим на неубранной подстилке. Он плакал, утирая слезы тыльной стороной руки.

Анабиби ничего не спросила, ничего не сказала. Молча стояла, прислонясь спиной к столбу.

— Я вернусь, Анабиби! За перевал всего три месяца пути. Отгону овец и сразу обратно. Мы разведем такие же, как у бека, стада. Как отец, я буду торговать каракулем, только своим. Мы поедем с тобой в Европу, в Па-

риж...— говорил он. Анабиби вместо голоса мужа слышала какое-то шипение.

— Уходите! Уходите, только скорее... Сейчас.— Обесилев, она села прямо на земляной пол и заплакала. Впервые Базаркул не проявил участия, не пытался ее утешить.

— Теперь скоро. Совсем скоро. Бек и сам спешит. Ждут благословения Каракум-ишана,— сказал Базаркул. И оттого, как спокойно он это сказал, Анабиби поняла, что все потеряно, а поняв, как-то и сама обреченно успокоилась и принялась за повседневные дела.

На другой день с большой свитой на трех фазтонах на джейлау приехал Каракум-ишан. Но еще три недели не двигались с места. Наконец старшим чабанам выдали лошадей и каждую ночь стали угонять со стоянки по семь отар. Пора было выступать и Базаркулу, а он медлил, не зная, где Анабиби, и не решаясь уйти не простившись. Конь его по кличке Киргий не стоял на месте, пытаясь куснуть за колено хозяина. Ждать дольше стало невозможно, и Базаркул подал команду трогаться. Заботы чабана помогли заглушить тревогу сердца. Базаркул не заметил, как прошла ночь, наполненная криками подпасков, блеяньем овец, лаем волкодавов. Когда рассветло, увидели почерневшую до самого горизонта степь, и по ней шло как бы двойное облако: вверху пыль, внизу отары. Базаркул не мог понять, как в такой пыли не задохнулись те, кто шел сзади.

После восхода солнца стало тише. Это оттого, что овцы пошли послушней и прекратился собачий лай... Волкодавы убегали вперед и отдыхали, ожидая, пока мимо пройдут отары.

Добрели до колодца. Пока метили отары, прошел день. Ближе к вечеру еще не закатившееся солнце скрыли черные тучи пыли — это шли новые отары. Тучи пыли приближались, и Базаркул понял, что погонщики спешат. Но не от него зависело, идти или стоять. Впереди были проводники аксакалы, знающие караванный путь и каждый колодец. Эти тысячи отар, жизнь пастухов и подпасков — все было в руках незнакомых Базаркулу людей. Да и чабанов других отар он знал не всех.

За первым днем пути наступил второй, третий... А там дни, сливаясь с ночами, потянулись бессчетной чередой. Пыль, солнце, холодные звезды. Степь сменилась песча-

ми пустыни. По ночам, когда останавливались на привал, чабаны и подпаски собирались вокруг костров с подвешенными над огнем чавгунами — металлическими кувшинами для кипячения воды. На привалах от Базаркула не отходил Чари-дакки<sup>1</sup>, подпасок, с которым Базаркул сдружился еще на джейлау. Он лежал рядом с Базаркулом у костра и рассказывал о своем волкодаве. О том, как отрезал ему хвост, как заставил его съесть свои же уши, предварительно сильно поперченные. Но собака не стала от этого злее, только еще больше привязалась к хозяину. А Базаркул думал об Апабиби и готов был выть от тоски.

Не то на семнадцатый, не то на двадцатый день во время привала незнакомый человек подъехал к костру и сказал, что умерли два чабана. Базаркул не прислушивался, что говорили по этому поводу у костра. Раз умерли, значит, слабосильные, а если слабосильные, то нечего было пускаться в дорогу, решил он и постарался забыть печальное происшествие. А несчастья продолжали преследовать людей и животных. Погибли две отары. Неопытные подпаски загнали баранов на гальку, и у них отпали копытца, обнажив мясо. Пришлось бросить обезноженных животных. Караковый конь Базаркула больше не резвился под седоком, а шел, низко опустив голову. Почти не слышно стало собачьего лая. И, наконец, колодец, до которого шли два дня, оказался высохшим и засыпанным песком. В поисках воды пошли вкруговую, через два перевала. А тут обнаружили отары, зараженные ящуром, и их пришлось отогнать в пустыню. Покрытые язвами матки, обессиленные от жажды, подняв головы, бежали, подгоняемые собаками, в пески, навстречу своей гибели... Животные гибли быстрее людей, и от этого люди, сопровождавшие их, становились как бы лишними.

Если так будет продолжаться, то откуда бек возьмет баранов, чтобы расплатиться с чабанами и подпасками? Об этом лучше было не думать. Подумаешь — и ноги останавливаются. Чтобы сберечь коня, Базаркул часто шел пешком, и непривычные к ходьбе ноги его стирались в кровь. Он больше не думал, что умирают только слабосильные. Смерть подстерегала людей на каждом шагу. Того укусил тарантул, этот отравился мясом, а бывало,

---

<sup>1</sup> Подросток,

что людей поражал солнечный удар. Такая смерть казалась особенно странной. Наверное, очень ядовито в пустыне, если поражает даже чабанов, с младетва привыкших к зною.

Базаркул шел и чувствовал, как с каждым шагом уплывает богатство, ради которого он бросил дом, жену... Тропа поднималась в гору. На тропу из пещеры, напугав коня, выбежал Чари-дакки. На лице подпaska видны были одни глаза, настолько они стали огромны.

— Базар-ака, Базар-ака, не останавливайте коня, проезжайте вперед... На привале не ешьте варева. Слышите? Не ешьте вареного. Так велел передать людям бека один подпасок.— Чари так же неожиданно исчез, как и появился.

Горный привал оказался неудобным, но идти дальше не было сил, да и ночь, как всегда в горах, упала внезапно. Базаркул заночевал в пещере. Люди и отары давно перемешались между собой. Едва скинув с плеч хурджуны, Базаркул пошел разыскивать Чари. Он переходил от костра к костру, и вид варева над огнем вызывал у него тошноту. Подпaska он нашел у входа в пещеру, Мальчик прижимался к скале и широко открытыми глазами смотрел в огонь. Базаркул присел рядом, спросил:

— На тропе ты что-то не договорил. Почему люди бека не должны есть вареного? И какие еще люди идут с нами?

— Люди Кара-ишана. С нами идут тридцать отар Каракум-ишана. Они вышли с джейлау последними.

— Почему мы не должны есть вареное?

Чари испуганными глазами проводил вышедшего из пещеры незнакомого чабана.

— Не знаю, Базар-ака... Ничего не знаю...— Мальчик дрожал будто от холода.

— Чари, в чем дело? Ты мне не доверяешь? Вспомни, кто посадил тебя на коня? Кто вывел тебя в степь к отарам? Или ты скажешь мне все, что знаешь, или я пойду и съем похлебку.

— Не ешьте похлебку, Базар-ака... Вы заметили, что все люди, умершие в пути, люди бека?

— Ну и что же? — спросил Базаркул, чтобы не показывать мальчику своей встревоженности.

— Говорят, это дело рук головорезов ишана...

— Кто говорит?



— Мне сказал один подпасок. Моих лет. Я его никогда не встречал на джейлау, но он сказал, что меня знает. Он видел, как вчера в варево подсыпали мышьяк.

— А где тот подпасок?

— Не надо, Базар-ака, не ищите его. Его не должны видеть с людьми бека.

— Ничего не бойся, Чари. Как только увидишь того подпасака, приведи его ко мне.

Базаркул подвел Чари к своему хурджуноу, наполнил кумысом и напился сам. Мальчик уснул, а Базаркул вышел из пещеры и почти всю ночь просидел на камне под звездами. Он понял, что ишан решил присвоить себе все отары. Но как можно этому помешать, когда вокруг столько незнакомых людей и не знаешь, кто друзья и кто враги.

С той ночи Базаркул понял, что богатство уплывает вместе с жизнью. Он стал быстро терять силы. Так всегда бывает с очень здоровыми и сильными людьми.

Конь под Базаркулом спотыкался все чаще и чаще. Он оглядывался на хозяина, недоумевая, почему тот не слезает с седла, как будто не понимает, как тяжело идти в гору с такой ношей. Если близко проходил незнакомый человек, сонный взгляд Базаркула вдруг обретал зоркость. Кто этот человек? Что ему надо? Его жизнь? Но собственная жизнь нужна и Базаркулу. Он больше не мог себе представить, что люди способны делать друг другу добро, что ради этого они живут вместе. Отныне каждый человек был для Базаркула врагом... Исчезал человек, и в глазах Базаркула снова появлялась сонливая тяжесть.

На ровной дороге Базаркул слез с коня. Небо опрокинулось и метнулось ему под ноги. Базаркул упал. Он лежал на земле и не мог понять, откуда этот тяжелый неприятный запах: то ли от стертых преющих ног, то ли от хурджуна. По шву хурджуна ползла жирная вошь. В сумерки какой-то старик полил ноги Базаркулу соленой водой, кому-то сказал:

— Этот не жилец.

Еще один день Базаркул пытался бороться за жизнь. Сесть в седло у него уже не было сил, и он, вцепившись в гриву, едва волочил ноги. На подъеме он выпустил гриву и упал, потеряв сознание, а когда очнулся, коня рядом с ним не было.

— Киргий... Киргий...— закричал Базаркул, но никто, кроме него, не услышал невнятный зов. Базаркул уставился в раскаленное небо, горячие камни жгли спину, там, в белесой вышине, легким облачком развеялась его мечта о богатстве. Базаркул повернулся на бок и послушал землю — все было тихо. Приподнял голову, пытаясь уловить вместе с ветром хоть какой-нибудь звук жизни. Никого! Ушли! Бросили! Неужели вот так лежать и ждать смерти? От гнева сила вернулась к Базаркулу. Ее хватило, чтобы подняться на ноги, но тут же он вновь упал и скатился с дороги.

К полудню он очнулся, ощутил во рту язык, распухший, не помещающийся во рту. Кто-то брызгал ему в лицо холодной водой... Потом была ночь. Кто-то сидел у его изголовья и мокрой тряпкой протирал лицо, грудь. Странно, но Базаркулу даже неинтересно было знать, кто этот кто-то. Он остался безучастным и тогда, когда его куда-то понесли и ноги волочились по земле... Потом Базаркул стал различать стук чужого сердца, чужое дыхание. Тот, кто его нес, очевидно, очень устал. А временами все это пропадало. Базаркул пришел в себя неожиданно, почувствовав в груди легкость и прохладу. Он увидел над головой звезды. У ног бежала по камням вода, Базаркул отчетливо слышал ее журчанье. Голова его лежала на чьих-то коленях.

— Вам лучше?

Базаркулу показалось, что он никогда не покидал юрты на джейлау. Что все пережитое было просто дурным сном, от которого он проснулся на коленях жены. Было холодно, и Базаркул скорее догадался, чем увидел, что лежит полуголый. Теперь ему было жаль дневного зноя...

— Анабиби, я...— сказал Базаркул.

— Мне пришлось сжечь вашу одежду.

Базаркул провел рукой по ногам жены в выворотных сапогах, в мужских штанах. Рука его поднялась выше, нащупала коротко остриженные волосы под киргизской шапкой.

— Анабиби, это ты разговаривала с Чари?

— Да,— сказала Анабиби.— Я ушла с джейлау с отарами ишана.

Базаркул плакал, уткнувшись лицом в ее колени.

— Успокойся, успокойся... Ты просто забыл слова моего отца. Помнишь, он тебе сказал, когда ты пришел сва-

таться: «Недуг богатства губит жизнь, недуг любви придает силы».

— Анабиби, что мне сделать для тебя? Что я теперь могу?

— Любите меня... Почаще вспоминайте моего отца. Мы теперь на чужбине...

Три месяца прожили они в одном горном кишлаке по ту сторону перевала. Анабиби подняла на ноги Базаркула. Ее любовь к мужу тронула и мужчин и женщин кишлака. Хотя не только обычаи, но и язык гостеприимных хозяев был другой, Анабиби и Базаркул быстро к ним привыкли. Бездомным пришельцам охотно давали работу. Собирая в горах хворост, Анабиби почувствовала недомогание. И призналась мужу, что она беременна. А Базаркул в отчаянии схватился за голову.

Анабиби родила семимесячного мальчика.

Мальчик остался жив, а мать умерла...

Солнце село. Бронзовый памятник потемнел.

— Отец выхаживал меня в меховой шапке,— сказал Азимджан.

— А я, чтобы вырастить Анабиби, двадцать лет гнул спину на бека. Я простил твоего отца. Если моя дочь любила его, значит, он был достоин ее любви. А зло, которое причинили моему народу, мы давно исправили. Правда, чтобы восстановить узбекский каракуль, исчезнувший в тот год, понадобилось много лет и ясная голова Джабая,— Ачил-бува протянул руку в сторону памятника.

— А мне казалось, что самой большой виной отца было то, что он лишил меня родных... Сделал меня скитальцем.

Ачил-бува взглянул на внука и ничего не сказал. У этого маленького, щуплого человека было большое богатство. А что еще? Ни жены, ни детей. Сидит, нахохлившись, невзрачный, как воробушек, обладатель огромных стад, которые ему оставил разбогатевший к концу жизни отец. Ачил-бува протянул руку и неожиданно погладил Азимджана по голове. Азимджана тронула эта невольная ласка, и он придержал руку деда, коснувшись ее щекой.

— Сколько детей у дяди Арифа, бобо? — спросил он.

— Детей?.. Как тебе сказать? У дяди Арифа одна дочь...

Шофер убрал дастархан. Дед и внук уселись на сиденье, и машина тронулась в ту сторону, где узкая полоска вечерней зари окрасила небо.

Быстро темнело. Фары освещали подъемы и спуски, рой мошканы, похожие на капли дождя. Дорога была почти безлюдной. Часам к одиннадцати спустились в долину. Шоссе то терялось среди улиц больших кишлаков, то пересекало полевые дороги, обсаженные тополями. Мелькали освещенные гузары, шумные чайханы. Запахло политой землей, шины бесшумно и мягко катили по хорошо наезженной дороге. На свет фар выскакивали собаки и с лаем кидались к задним колесам.

Перед районным центром снова начался асфальт. Улицы были освещены. Казалось, это был не кишлак, а благоустроенный город. Проехали плотину. С электрических проводов свисали клочья хлопка. В этом райцентре Ачил-бува еще не был, потому что сына Ариффа назначили сюда недавно. Бува только слышал, что это новый укрупненный район, вобравший в себя и старые горные районы и новые целинные совхозы в степи.

Машина притормозила. Под уличным фонарем мальчишки кололи фисташки.

— Дети, где дом Ариффа Ачилова?

— Дяди райкома? — переспросил один из мальчиков.

— Да, — подтвердил Ачил-бува. И тогда мальчишки заговорили, перебивая друг друга. — Не все сразу, не все сразу, — сказал Ачил-бува. — Значит, вон на том углу?

— Ну да... Вон калитка рядом с воротами гаража...

Калитка была открыта. С веранды, увитой виноградом, во двор проникал свет. Свет горел и в окнах комнаты. Как только выключили мотор, усталых путников окружила прохладная тишина, которой был наполнен двор. Ачил-бува подхватил с сиденья хурджуи и вместе с внуком пошел через двор к освещенной веранде...

Ачил-бува остановился на верхней ступени и приложил палец к губам. Через открытое окно комнаты был виден пожилой мужчина, очень похожий на Ачила-буву, с маленьким мальчиком на коленях. Двое подростков — мальчик и девочка — сидели за столом, склонив головы к тетрадам. Мальчик на руках у мужчины все время порывался помешать старшим. Все были увлечены и, очевидно, не слышали, как подъехала машина. Но когда шо-

фер снова завел мотор, заезжая в гараж, мужчина оглянулся. Какое-то мгновение недоуменно смотрел на Ачила-буву.

— Отец?! — С ребенком на руках мужчина вышел из комнаты.

Ачил-бува прижал к груди голову сына, и они постоянно в молчании. Старшие мальчики и девочка выпрыгнули на веранду через окно и ждали, когда настанет их очередь здороваться. Вдруг девочка увидела Азимджана в его необычном наряде, толкнула локтем мальчишку, и оба уставились на незнакомого человека, пока девочка, не поняв, что это неприлично, снова не подтолкнула мальчишку.

Ариф-ака тем временем говорил:

— Как себя чувствуете, отец? Зачем утруждать себя такой дальней дорогой? Я бы к вам сам приехал...

— Ты человек дела. А у меня теперь вся жизнь — отпуск. Азимджан, выйди на свет, покажись... Это твой племянник, Ариф. Приехал с того края света... Угадываешь, кто он?

— Постой, постой... Неужели он? Сын Анабиби?

— Он самый...

— Племяш, боже мой! — Ариф прижал Азимджана к себе, отстранил, снова прижал. — Он, конечно, он... Язык наш знаешь, Азимджан?

— Знаю, Ариф-ака...

— Что же мы стоим, входите... Анабиби, Анабиби! Где ты... Постели гостям курпачу<sup>1</sup>.

— Анабиби? Вы все это время помнили маму? — спросил Азимджан.

— А как же мы могли ее забыть?

Широкоплечий, огромный, как отец, Ариф, расторопно двигаясь, спрашивал, отвечал, давал распоряжения. Анабиби проворно открывала ниши. Запахло медом, халвой. Во дворе вспыхнул костер, и мальчишка говорил кому-то невидимому в темноте:

— Отец дяди Арифа приехал...

В суматохе куда-то исчез маленький мальчик.

— Где он? — спросил Азимджан.

Ариф-ака поискал глазами, засмеялся:

---

<sup>1</sup> Узкое ватное одеяло для сидения.

— Наверное, улизнул.. Это сын соседки, а во дворе его брат. Маленький—Ярмат, большой—Тимур. Малыш сейчас поднимет весь кишлак, растрезвонит, что ты приехал, отец...

— Ты преувеличиваешь мою известность, сын. Ну, а ты что скажешь? — Ачил-бува погладил по голове Анабиби.— Ты хоть меня знаешь?

— Конечно. Когда возводили купол неба, вы ведь подавали кирпич. Разве неправда?

— Ты ее научил? — спросил Ачил-бува сына, и оба засмеялись.

Когда гости, помывшись, вернулись на веранду, там уже кипел самовар и на железное блюдо-подставку вываливались горящие угольки. Ариф-ака, разламывая лепешки, поглядывал на Азимджана. Ачил-бува успел шепнуть сыну, что его племмянник богач, приехал на ленинградский аукцион посмотреть узбекский каракуль. Неожиданно в нише зазвонил телефон. Ариф взял трубку, и улыбка тотчас сошла с его лица...

— Хоп<sup>1</sup>, Марья Васильевна, но я против этого... Да, по-прежнему против... А я думал, что ты разберешься и перестанешь упрямиться... Хоп, хоп... Ты настояла, чтобы меня направили сюда... Да, да, вопрос стоит так: либо меня снимут с работы, либо тебя... Ты сама кричишь... Где твое сердце? Я тебе уже сказал, не держусь за секретарство. Я прежде всего человек... Делай все, что угодно, только не кричи,— Ариф бросил на рычаг трубку. На пороге с подносом замерла Анабиби.

— Марья Васильевна? Марьям? — спросил Ачил-бува.

— Да, отец... Эх, жаль, она не мужчина. Выругал бы и облегчил бы душу...

— Как ты смел так разговаривать с секретарем обкома? — Ачил-бува в гневе повысил голос.

Анабиби, присев на пороге, глотала слезы. Она столько рассказов слышала о деде и теперь не могла простить ему, что он кричит на ее отца. Азимджан как опустил голову во время телефонного разговора, так и не поднимал ее. Он понимал, что разговор, который он услышал, меньше всего предназначался для его ушей. И снова пе-

---

<sup>1</sup> Утвердительная частица: хорошо, ладно, идет.

ред ним встал вопрос: кто они такие, его родственники, если так уверенно чувствуют себя в своей стране? Вечер первого дня путешествия, который обещал быть по-родственному приятным, окончился так неожиданно. Но не спешите осуждать Ариффа, не выслушав повести о нем. А для начала...

## ЛЕГЕНДА О ВОСЬМОМ ЧУДЕ

В кишлаке Фараб жил человек по имени Абу Насер. Своей ученостью он прославил себя и свой кишлак на берегу Сыра. Среди величайших ученых он был самым ученым, среди признанных мудрецов его называли мудрейшим. Среди образованных мира сего он был первым после Аристотеля. Он прославился на все века под именем Аль-Фараби. Фараби изъездил всю землю в поисках мудрости и знаний. Слушайте и запоминайте. Вернувшись из путешествия к грекам, Фараби привез най — чудо-свирель. Увы, его возвращение на этот раз не было праздником, ибо некому было встретить его, омыть его ноги и ввести в дом. Враг в его отсутствие опустошил кишлак, угнав жителей в рабство. И любимый брат Фараби был угнан вместе со всеми в страну Билуджистан.

И много дней и ночей предавался Фараби печали в кишлаке на берегу Сыра. И только река подслушала его горе, доверенное свирели. Так родились печальные мелодии Чули Ирак. Слушайте и знайте. Настал день, когда в глазах больше не было слез, а сердце устало от боли. Тогда Фараби положил свирель в хурджун и пошел в страну Билуджистан к престолу шаха.

Он пришел в Билуджистан и увидел вереницы людей, передающих из рук в руки камни. Он увидел толпы людей, месивших ногами глину. Рядом ходили надсмотрщики, и длинные бичи свистели над головами. Плечи и спины рабов сочились кровью. Стоны и проклятья сотрясали небесные своды. И когда все это увидел Фараби, он забыл о своих страданиях и спросил:

— Что строите вы? Во имя чего они терпят муки?

И ответил палач-надсмотрщик, с плетки которого капля за каплей стекала кровь:

— Во имя аллаха и величайшего из великих шаха Билуджистана сотворается восьмое чудо света... Ты же, кто так похож на дервиша, исходившего весь мир, воздай молитву аллаху за нашего достославного шаха..

Ничего не ответил Фараби, повернулся к надсмотрщикам спиной и присоединился к толпе рабов. И куда бы ни пошел Фараби,

он видел несчастных, живых и умирающих. И те, кто умирал, не знали, от какой болезни умирают, и с каждым днем рабов становилось все меньше. И наступил день, когда встревоженный шах испугался, что не останется людей, чтобы достроить восьмое чудо света. Слушайте и запоминайте. Не для того, чтобы спасти от смерти людей, а для того, чтобы достроить восьмое чудо, шах повелел увеличить еду рабам и давать им раз в неделю сахарный миндаль и раз в месяц мясо. А чтобы надсмотрщики еще лучше пеклись о величии шаха стал больше платить им. Но рабы умирали... Все это узнал Фараби скитаясь среди несчастных, вместе с ними ложась и вместе с ними вставая и деля с ними бремя трудов их. Однажды его увидел палач-надзиратель.

— Я вижу, ты не дервиш. Кто ты и во имя чего добровольно избрал этот ад?

— Я Аль-Фараби!..

В этот же день пукеры<sup>1</sup> с почестом доставили Фараби во дворец шаха. И много часов, и много верст прошагал он по коврам, пока наконец не предстал перед шахом. Шах поднялся с трона и стоя приветствовал великого мудреца. Слушайте и знайте. Шахи с почестом встречают мудрость не потому, что уважают ее. Мудрость, как и плеть, должна служить властелину.

— Мы довольны, что мудрейший из мудрых Аль-Фараби посетил нас. Но почему ты заранее не известил нас о своем приходе?

— Мне ли отвлекать внимание великого, у которого и без меня много забот?— ответил Фараби.

По мановению руки шаха Фараби осыпали с подносов золотыми теньгами.

— Во имя чего милость твоя ко мне, великий из великих?— спросил Фараби.

— На преданных рабов наших напал мор. Я слышал, что ты не только великий мудрец, но и великий исцелитель.

— Остановить мор не под силу искуснейшему из искусных врачей. Я не в силах исцелить их.

— Кто же в силах?

— Ты, великий из великих.

Шах нахмурился. Великие не любят загадок.

— Объясни слова свои,— повелел он.

— Рабы твои мрут от тоски, великий шах. А тоска — от разлуки. Верни их на родину, и прекратится мор.

Мудрость, которая не преумножает славу великих, ничего не стоит.

---

<sup>1</sup> Воины, дружинники.



— Вся твоя учность в умении пустословить, — сказал шах. — Эй, стража! Взять его и заковать в кандалы. Поставить на самую тяжелую работу.

Дни составляют недели, недели складываются в месяцы. Это и есть время. Фараби покрылся язвами, стал таким же, как и все. И только глаза его не теряли блеска, и только душа сохраняла силу, которую дает мудрость. Слушайте и знайте. Наступил день, когда Фараби достал из хурджуна най — чудо-свирель. Он заиграл пролинутую болью мелодию Пешрави-дияр, что значит «предвестник родины». Люди, сначала слушавшие молча, постепенно заговорили:

— Вы слышите, это же волны Сыра глядят полынный берег...

— Это шумят сады Фараба!

— Нет, это ветер степей...

И закричали хором рабы:

— Это голос родины!..

И тогда выпрямились спины, заблестели глаза и больше никто из них не умирал, потому что они узнали в мелодии Фараби, что жива их родина!

Шах не сотворил восьмого чуда. Но чудо свершилось. Это чудо — чувство прекрасного, без которого человек не человек.

## ПОВЕСТЬ О КИШЛАКЕ ШИВИЛГАН

Я поклоняюсь красоте мира.

*Из Авиценны*

Была середина мая. Об этом можно было и не говорить. Весна жила в самом воздухе — теплом и чуть влажном, в раскатах грома и в крапающем дожде, после которого влажно пахла земля и сильнее билось сердце. Для Арифа это была двойная весна: одна в природе, другая в сердце. Нежданно-негаданно его назначили первым секретарем райкома в эти дорогие для его сердца места.

Привычка Арифа говорить правду в лицо часто доставляла ему и другим неприятности. И эти другие не знали, куда бы его запрятать, чтобы поменьше попадался на глаза несговорчивый подчиненный. И показалось, что самое подходящее место для Арифа — промышленный обком, на всю область всего два хлопкоочистительных завода. Сиди себе, подшивай бумажки... Тем приятней явилось для него новое назначение в крупный район. Оно состоялось по предложению его старого друга Марьи

Васильевны, или попросту Марьям. И ехал Ариф к новому месту службы с каким-то грустным нетерпением, как едут на свидание, хотя известно заранее, что это свидание не состоится. Дело в том, что его покойная жена Сарагуль родилась в горном кишлаке Шивилган, а кишлак этот входил в его район. У человека за жизнь может накопиться немало привязанностей к местам, где он жил. Но то, что связано с воспоминанием юности, с первой любовью, неизгладимо, как вечность, как самое прекрасное из того, что есть на земле. С мыслью, что он начнет знакомство с районом поездкой в Шивилган, Ариф-ака сидел на пленуме, на котором его утверждали в должности. Марья Васильевна знакомила с ним членов бюро. Ариф уважительно протягивали руки, а он в это время думал: «Завтра же в Шивилган».

Пепельного цвета газик, подпрыгивая, выехал на левую дорогу. Ночью пролился дождь, сады и улицы райцентра были мокры и пустынные — все еще спали. Никто из райкомовских работников не подозревал, что новый секретарь чуть свет отправился в кишлак, чтобы успеть вернуться к обеду. Наверное, только Марья Васильевна догадалась об этой поездке. Вечером после пленума, перед тем как вернуться в область, зашла она к нему в его новую, еще не обжитую секретарскую квартиру, вплела в косы Анабиби новую ленту, выпила пиалу чая. Они дружили с детства и никогда не теряли друг друга из виду. А время летит, и Марьям уже близко к пятидесяти. Внешне она как будто не устает и не очень поддается годам, но это только внешне. Прежнего здоровья, как он заметил, у нее не было. В улыбке появилась затаенная грусть от предчувствия глубокого и тайного недуга. А вместо ямочек на щеках, когда она улыбается, появляются морщинки. Но на работе она все та же. Смелая, спокойная, уверенная в своих силах. Ее побаивались за резкость и прямоту характера, не очень-то женственного.

— Учти, Ариф, район большой, тяжелый. Сразу же садись на новые совхозы. Они у тебя самый тяжелый участок, — сказала Марьям прощаясь. Ариф знал, она потому и сказала про совхозы, что догадалась — он не выдержит и помчится в Шивилган. Они друг о друге знали все, даже то, о чем никогда не говорили. Например, Ариф никогда не спрашивал, почему Марьям так и не вышла замуж.

Рассвело. Воздух промыло дождем, и с дороги видна была каждая складка гор. Когда-то эту извилистую дорогу Ариф исходил пешком, считая, от нечего делать, шаги от поворота до поворота... Много дорог изъездил Ариф-ака, но не видел места прекраснее этого. В бывшем Куйкинском районе (бывшем потому, что теперь его нет) каждый кишлак неповторим по своей красоте. Но среди всех кишлаков красивейшим был Шивилган. Он лежал среди горных скал, укрытый виноградными лозами, и гроздья «шивилгани» славились по всему Узбекистану. По улице кишлака с грохотом падал вниз в долину Шивилган-сай. И водяные брызги в самый сильный зной наполняли воздух ледяной прохладой. Ветер разносил эту прохладу по садам, и путник на дороге чувствовал близкий отдых. А когда человек заходил в кишлак, то невольно останавливался, глядя на водопад посредине гузара, окутанный водяной пылью. Через глинобитные дувалы свешивались на улицу усеянные гроздьями виноградные лозы, естественные плиты ступеней из белого мрамора всегда были влажными. На одной из улиц кишлака и встретил Ариф-ака свою Сарагуль...

Узенские улочки ныряли в туннели виноградных лоз, извивались меж каменных глыб, неожиданно кончались и начинались, и Ариф всегда удивлялся, как почтальоны находят нужные им адреса, и всегда боялся, дойдет ли его письмо. Сам он долгое время бродил по улицам, как по лабиринту. В горном воздухе смешивались самые разные запахи, начиная с аромата созревающих в садах плодов до запаха горных цветов, нежных и невзрачных на вид. Жители Шивилгана с детства постигали искусство выращивать виноград, а выращивать его приходилось на скалах. Постепенно и Ариф узнавал премудрость садоводства и вместе с этим изучил каждую тропинку, проложенную в фисташковых и ореховых рощах, которые сменили на склонах гор над кишлаком, точно в поднебесье. Теперь, спустя много-много лет, Ариф помнил, как Сарагуль, притворившись, что заблудилась, долго водила его по лабиринту улиц и троп, как за ними гнались разъяренные пчелы, как умывались они в студеных родниках, а потом, загадав, куда доплывет, пускали по течению потока венки из цветов, а потом, лежа над потоком, вымаливали у кукушки побольше лет. Когда же все это было и было ли?

Ариф-ака давно стоял у въезда в кишлак. Так давно, что мотор газика успел остыть. Вот этот иссохший скат горы и был началом когда-то прославленного кишлака. Часа два назад Ариф-ака проехал Сумбултамчи, бывший районный центр. Вы знаете, что такое сумбул? Не знаете? Тогда я вам расскажу. Сумбул — редкое вечнозеленое растение. Оно похоже на пряди женских волос, нежных и тонких, усыпанных, как блестками, темно-зелеными листочками. Это растение живет только там, где много родников и где ему удобно прятаться в тени камней. Представьте себе пещеру в огромной, высотой с трехэтажный дом, скале. Весь свод пещеры пророс длинными прядями сумбула. С каждого листочка капает родниковая вода. Уже возле входа в пещеру вы слышите падение капель, похожее на шум дождя, а заглянув внутрь, увидите радужное сияние — это лучи солнца отсвечивают в каплях воды. А в это самое время камни снаружи раскалены и дышат жаром и вам очень хочется пить... Вот теперь вы хоть немного представляете себе, что такое сумбул и как благодатно имя его для путника, мучимого жаждой. Там, где растет сумбул, все нетленно, все вечно... Сумбултамчи славился еще своими старцами, которым давно минуло сто лет. Ариф-ака любил поговорить с ними. Было в их словах нечто не от мира сего, роднившее с вечностью. Когда два часа назад газик запрыгал по ухабам дороги, Ариф вспомнил этих стариков. Откуда взялись ухабы? Ариф сбавил газ. От бывшего шоссе остались куски асфальта. Машина подскакивала, громыкала, кренилась набок. Ариф уже ни о чем не мог думать: разбитая, запущенная дорога овладела всем его вниманием. Мелькнула мысль, что, возможно, в Сумбултамчи провели другое шоссе, а это забросили. Но он тотчас понял, что такого не может быть: не так-то легко в горах проложить другую дорогу, да и зачем? Ариф попробовал вернуться мыслями к старикам, вспомнил, что дед Сарагуль был одним из них, но в это время газик въехал на прогнивший мост с проломанным настилом и все вылетело из головы. Сразу за мостом машина попала левым колесом в какую-то рытвину, и из-под него во все стороны разлетелись грязные брызги. Машина буксовала, и кузов все сильнее обливало смрадной жижей. Когда наконец газик выполз из колдобины, из палевого он стал грязно-серым... Да, похоже, что дорога давно заброшена и

по ней не ездят машины. Так было до самого Сумбултамчи. Нигде ни души, только у поворота старик с мальчиком пасли на выжженном склоне овцу.

Ариф-ака то останавливался, чтобы оглядеться, то сворачивал на грунтовые дороги для арб, и рев мотора эхом разносило по горным расселинам. Он уже давно понял, что и думать нечего вернуться в район к обеду. Ему показалось, что он подъехал к знакомому месту, от которого и произошло название Сумбултамчи. Ариф вышел из машины. Ничего похожего на то, что когда-то было. Вокруг родника месиво грязи со следами копыт, коровий помет, над которым вьются стаи зеленых мух. В жиже плавают пряди сумбула, точно косы утопленницы. У входа в пещеру буйно разросся шайтантарок — вонючий кустарник с густыми колючками. Из-за этих колючек его и прозвали «чертовой расческой».

...Ариф оставил газик на дороге и пошел в кишлак пешком.

Вот они, знакомые и неузнаваемые дороги... Казалось, он помнит каждый куст шиповника на обочине, каждый камень... Виден стал Шивилган. Глядя на опустевшие улицы, Ариф не мог представить кишлак таким, каким его хранила память. Он точно ступил на дорогой и кем-то поруганный порог. Ариф-ака продолжал идти, сясь отыскать хоть что-нибудь, что вновь бы наполнило его сердце радостью. Послышался шум водопадов, на скалах зачернели виноградники. Но ни человеческого голоса, ни человеческой тени. Жара, духота. Может, потому, что жара, на улицах не видно ни души? Ариф, перепрыгивая с камня на камень, вышел к началу улицы и посмотрел вверх. Вот с этого места увидел он на мраморных ступенях свою Сарагуль. Сейчас они были пустынные. Дома по обе стороны улицы полуразрушены, мрамор ступеней загрязнен перемешанной с саманом глиной, из которой обычно лепят заборы. Ариф стал подниматься вверх. Из проулка запахло нежилой плесенью, через дувалы свисали до земли виноградные лозы, и в худосочных листьях копошилась тля. Ариф-ака долго ходил по улочкам и переулкам мимо заколоченных наглухо или, наоборот, распахнутых, а то и сорванных с петель калиток. Заглядывал во дворы, заросшие зараженным тлей и одичавшим виноградом. Когда проглянуло спрятавшееся было солнце, сады Шивилгана вдруг окрасились в жел-

тое, как осенью. Ариф почувствовал тяжесть на душе, как будто на него давили прожитые годы, будто именно сейчас к нему подкралась старость.

В полуденной тишине откуда-то слышался стук. Ариф пошел на этот стук... Улица, на которую он свернул, буйно заросла метелкой. В проломе дувала Ариф увидел старика. Старик ходил между подгнившими виноградными подпорками и рубил топором толстые лозы. Ариф-ака остановился, и ему стало слышно дыхание старика в такт ударам. Ариф прислонился к столбу переплета виноградной беседки, — если узбек из Шивилгана рубит виноградник, значит, произошло невероятное.

— Ата!.. — позвал Ариф.

Старик неторопливо заткнул топор за поясной платок. Он был худ и невысок ростом, но в его поджарости чувствовались выносливость и сила. Поздоровавшись, старик опустил на рукав посланного на земле чапана, на полах которого сушился урюк, привычным движением бросил под язык нас.

— Гибнут... Грех, — сказал он, показав кивком головы на порубленные виноградные лозы. — Когда сад становится рассадником болезни, его надо уничтожить, — он словно объяснял смысл своей разрушительной работы. — Тля. Некому смотреть...

— Жителей переселили в степь?

— Да. В новые совхозы. Не только нас. Все горные кишлаки переселили.

— Люди переехали добровольно? — Ариф-ака присел перед стариком на корточки, положил на землю тубетейку, показывая этим, что настроен на беседу.

— Кто ты, сын? Чей? Я тебя что-то не узнаю, — сказал старик.

— Зовут меня Ариф. Когда-то давно я увез внучку Халима-аты Сарагуль. Может, помните?

— Э-ге-ге!.. Вон оно что. Слышал. Тебя самого не видел, но слышал. Сарагуль это девушка-врач?.. Она кажется... Да, война... Многих война унесла, многих осиротила. — Старик сплюнул табак, огладил белую остроконечную бороду. — Пусть будет долгой жизнь оставшихся... Да, добровольно, добровольно переехали... Сперва были недовольны. Даже возражали. Потом как стали писать газеты, как затрубили карнай и сурнай... А ты где служишь, сынок?

— В районе...

— Вот я и говорю: власти знают, что кому надо. В совхозе, говорят, неисчерпаемые сокровища. Те места, значит, очень выгодны государству.

— Что же, кишлак остался совсем пустым?

— Нет, не совсем... Осталось нас человек десять стариков. Наши сокровища и наши выгоды тут. Да вот только никак их не убереем, гибнут, а спасти сил нет... Пока можем, стараемся. А там ляжем рядом с отцами и дедами. Помню ли я Халима-ата, спрашиваешь? А как же мне его не помнить, когда он мне помог заложить этот виноградник, который я сейчас рублю...

— Те новые места тоже не чужие, ата,— сказал Ариф.

— Верно говоришь, не чужие. Ну, а эти? Разве эти чужие? Кому чужие? Ведь те, кто здесь жил, сюда, как в Мекку, приходят... Придут, увидят заколоченные калитки, запоганенные родники, покрытые тлей виноградники, заплачут, да и пойдут себе снова в степь искать свои сокровища. Не только сокровища — богатство, сынок. Сердечная привязанность — тоже богатство. Радость в глазах человека — богатство несметное.

— Может быть, лучше вернуться в родные места?

Старик быстро исподлобья глянул на Арифа.

— Зачем испытывать меня, сынок? Не надо. Стар я, значит, в районе работаешь?..— Старик поднялся.— В районе о нас знают, нам разрешено, спросите у начальства.

Ариф тоже поднялся. Он понял, что неосторожным словом испугнул старика и разговора больше не получится. Он пошел назад к машине и не мог выбросить из головы лицо старика, внезапно ставшее отчужденным и до странности маленьким.

Было еще светло, но Ариф проехал через бывший район с зажженными фарами. Под сильными прямыми лучами неровности дороги зияли черными провалами. О ветровое стекло бились бабочки, кузнечики, мошкара. Ночь подкрадывалась темная и душная. Часа через три голодный и усталый Ариф наконец выбрался на асфальт.

Поездка получилась безрадостной. В райкоме, наверное, гадают, куда девался новый секретарь. Уехал в неизвестном направлении да еще без шофера. Хочет, мол, свой демократизм показать... Но Арифу было не до этого. Переезд людей из горных районов в новые совхозы,

неприспособленность их к новым условиям не были для него новостью. Все это он слышал раньше, а кое о чем догадывался. Тяжелый осадок остался от разговора со стариком. Не сумел Ариф вызвать к себе доверия. Вот тебе и секретарь райкома. А старик наверняка помнил Сарагуль и мог рассказать, как она жила в трудные военные годы. Не зря он вспомнил войну...

Ариф, чтобы окончательно не расстроиться, постарался отвлечься. Анабиби, наверно, заждалась его. Слава богу, что у него есть Анабиби, иначе жизнь бы стала совсем одинокой. Он подумал о дочери и повеселел. Не будем вновь портить ему настроение воспоминаниями, но нам без них не обойтись.

Анабиби... «Ладно, покорми ее. Пусть имя ее будет Анабиби...» Было это пятнадцать лет назад. Ариф-ака вернулся из Белоруссии, после демобилизации его временно оставили там на партийной работе. Он сильно соскучился по жене и страшно торопился. На пороге дома Ариф услышал плач младенца. Откуда младенец, подумал он как-то со стороны и настороженно. А доктора говорили, что Сарагуль бесплодна. Но что это пришло в голову? Мало ли кто гостит в его доме с младенцем...

Появление в доме младенца объяснилось очень просто.

Умерла Кумри, одноклассница Сарагуль. Она работала в колхозе скотницей. Сарагуль была самой близкой ее подругой.

— Умерла во время родов. На прошлой неделе... Надо было спасти жизнь ребенка. Поэтому я взяла девочку раньше, чем тебе написала,— сказала Сарагуль.

— А где отец ребенка? — спросил Ариф.

— У нее нет отца.

— Как это нет отца?

— Конечно, у нее есть отец. Но он плохой человек. Кумри не знала, где он.

И тогда Ариф-ака сказал то, что говорят, когда принимают в дом сироту:

— Покорми ее, Сарагуль... Отныне ты ей будешь матерью, а я отцом...

— Все уже свершилось, Ариф... Я знала, что ты так скажешь...

Так появилась в доме Анабиби.

Сарагуль два года не работала. Девочка была сл



Венской и требовала много внимания. Никто не верил, что Анабиби выросла на тутовом варенье и халвайтаре— кашнице из муки с сахаром, поджаренной на масле. Все улыбались, когда ее видели, потому что крошечная кудрявая девчушка сама, не переставая, зачитывалась смехом по каждому поводу. Через два года Сарагуль вернулась на работу в свою больницу в Шивилгане, а Ариф уехал учиться в партийную школу. Работать ей было очень трудно — одна больница на несколько кишлаков. После войны не хватало врачей, лекарств, почти не было транспорта, и Сарагуль на одну сотню километров нашагала по горным дорогам, проехала верхом или на редких тогда попутных машинах. Сарагуль не жаловалась. У нее был любимый муж, судьба уберегла его для нее на войне, а теперь появился и ребенок: она всегда горевала, что не могла иметь детей. После работы в больнице она посещала больных на дому, возвращалась к себе нередко после полуночи. И как бы ни устала за день, немедленно садилась писать письмо мужу, подробно рассказывая, как прошел день, и какие новые слова сказала Анабиби, и все, что она делала.

Несчастье подкараулило в одну из таких ночей. Вернувшись домой, Сарагуль села за письмо и вдруг услышала тяжелое дыхание дочери. Осмотрев сонную девочку, она сразу определила, что у нее дифтерит.

Сарагуль побежала в больницу, противодифтерийной сыворотки в аптечке не оказалось. Санитар поскакал за сывороткой в район, а Сарагуль вернулась домой, и все бегом, бегом. Девочке было совсем плохо, а тут еще медицинская сестра сообщила, что Сарагуль вызывают к к тяжелобольному. Пока Сарагуль ходила туда, возле девочки оставалась сестра, она должна была ввести ребенку сыворотку, как только ее привезут. Но спасительное средство не привезли: его не было в районе. Это Сарагуль поняла, едва переступив порог.

— Звонили в область. Обещали завтра привезти,— сказала сестра.

— Завтра? — Сарагуль, захватив ватник, побежала на колхозную конюшню.

Конюх, седлая гнедого, говорил:

— Доктор-апа. На дорогах лед. Как поедете по ущелью?

Но Сарагуль ничего не слышала. Вдев ногу в стремя,

она вскочила в седло и погнала коня навстречу ледяному ветру. Конюх смотрел и качал головой.

К рассвету ребенок начал задыхаться и синеть. Когда соседи и медсестра совсем отчаялись, с улицы донесся конский топот. Выбежавшие соседи сняли с седла Сарагуль с окаменелыми от холода ногами и руками. Она привезла сыворотку, и, пока сестра делала укол, Сарагуль пыталась согреться. Утром у нее поднялась температура, и ее в бреду отвезли на попутной машине в область. Получив телеграмму, Ариф помчался в больницу. Главврач сказал:

— Делали все, что могли... Двустороннее воспаление легких и сильно ослабленный от переутомления организм...

Ариф остался один с больным ребенком на руках... Все это было давно пережито. Но когда Ариф вспоминал, что у Анабиби есть отец, он снова со всей остротой переживал прожитое. Но годы шли, никто не предъявлял на девочку родительских прав. Потом прошел слух, что отец Анабиби то ли умер, то ли попал за какие-то аферы в тюрьму, и Ариф-ака совсем успокоился. Сейчас он гнал машину, спеша поскорей увидеть дочь.

Машина вильнула, чуть не угодив в кювет. Ариф понял, что предельно устал. Он остановился, выключил мотор и, поставив машину на ручной тормоз, вышел на дорогу. На асфальте виден был длинный тормозной след. В небе перемигивались звезды, а в степи ползли огни не то трактора, не то комбайна.

Ариф-ака обошел машину, пробуя ногой скаты, постоял, вдыхая полной грудью воздух. Ночь была тихой и тревожной, как перед грозой. Немного встряхнувшись и поуспокоившись, Ариф снова сел за руль. Таким одиноким, как сейчас, он чувствовал себя лишь в первые два-три года после смерти жены. Постепенно чувство это притупилось заботами об Анабиби. Одинокому мужчине очень трудно вырастить ребенка. А тут еще частые смены работы и связанные с этим переезды, обживания новых квартир, не всегда удобных, поглощали много сил и внимания, не давая предаваться душевным горестям. Анабиби и Ариф-ака так привыкли друг к другу и так хорошо друг друга знали, что Ариф-аку ничего не стоило представить себе Анабиби, прикорнувшую на веранде в ожидании его. И как только он придет и она удостоверится,

что с ним ничего не случилось, она тут же заснет по-детски крепко и сладко.

Районный центр был погружен в ночную тишину. Мерно гудела электростанция маслобойного завода. На улицах и в городском парке погасли огни, и в темноте слышался то приглушенный смех, то говор — кому-то не спалось. Перекликались свистки ночных сторожей.

Ариф-ака поставил машину в гараж. В окнах комнаты не было света, и черные стекла поблескивали, отражая холодное мерцание звезд. Свет пробивался во двор только с веранды, выхватывая из темноты листья деревьев... Тихо, чтобы не скрипели, Ариф закрыл ворота гаража, прошел через двор и, не умывшись, не сняв сапог, присел на краешек супы. Ночь, тишина, как будто весь мир стал огромной и безлюдной пустыней. Ариф-ака провел рукой по лицу, ощутив у виска тугие толчки крови. Он постепенно приходил в себя, почувствовал, что голоден. Страшно захотелось курить. Обшарил карманы. Табачок не было. Зашел в дом, обыскал карманы плаща — ничего. Расстроился вконец, наскочил на стул, с грохотом его опрокинул. Он вошел в кухню и уселся было в темноте в каком-то безнадежном бессилии, и вдруг рука его что-то нащупала на столе. «Беломор», — догадался он. Ариф-ака покачал головой: собственно, отчего он расклеился? Приятно пахло чем-то сладким. В кухне зажегся свет. На пороге стояла сонная Анабиби.

— Ата! Вы приехали, а я не слышала, заснула, — виновато и радостно сказала Анабиби. — Я вам сейчас согрею шавлю. — Девочка потерлась щекой о плечо Арифа, блаженно шурясь. Ариф-ака положил в пачку уже размятую папиросу и тотчас вспомнил, что не умылся, не снял грязных сапог и что сейчас все это увидит Анабиби и, став строгой, сделает отцу выговор. Но, видимо, Анабиби очень хотела спать. Накрывая на стол, она то и дело что-то роняла. Ариф подумал: «Хорошо бы выпить». Но разве в этом доме найдешь спиртное? Давно уже у него не собирались веселые компании друзей скоротать досуг за рюмкой вина.

Анабиби, приготовив отцу поесть и не заметив ничего необычного, ушла спать. Ариф поковырял ложкой любимую шавлю — есть раскотелось... Он вышел на улицу. На втором углу от его дома был магазин сельпо. На крыль-

це магазина, соорудив из мешков сури, сидел ночной сторож по прозвищу Мустафа Чулак, то есть Мустафа Хромой. Каждую ночь вот уже десяток лет сидит Хромой на этом крыльце, обхватив руками незаряженное ружье. Но, разумеется, как новый человек, Ариф-ака этого не знал.

— Салам, старик,— сказал Ариф, подходя.

— Ассалам алейкум, дорогой,— независимо ответил сторож.

— Чекушки не найдется? — спросил Ариф-ака.

С подобными просьбами к Хромому обращались довольно часто. Но чтобы ночью у него просил выпить большой начальник, такого не бывало. «Забавный парень наш новый секретарь»,— подумал старик.

— Есть чекушка, как же не быть. От бессонницы лучшее лекарство.

Мустафа извлек из-под мешков четвертинку водки, налил гостю в стакан, а сам, предварительно чокнувшись и пожелав здоровья, выпил из горлышка. Ариф-ака поблагодарил, пошел побродить по городу. Рассвет застал его в парке. Сторожа ведрами поливали дорожки. Ариф-ака уже знал, что в городе не хватает воды, и снова вспомнил водопады Шивилгана. Парк не понравился Ариффу, сплошь акации — рассадник тли. А какие парки на юге страны! Почему? Разве там благодатнее климат? Или, скажем, в Крыму больше воды? Просто там специально думают о красоте и создают ее, а не разрушают. Клумбы роз были загорожены диаграммами.

Ариф-ака вышел к пруду. Здесь плакатов было особенно много. На деревьях висели лозунги. В человеке в ковровой, очень яркой тубетейке, который одиноко сидел на садовой скамье, Ариф-ака издали узнал Назарова, редактора районной газеты. Назаров удивленно приглядывался к подходившему Ариффу, как бы не веря собственным глазам.

— Страдаете бессонницей? — спросил Ариф-ака.

— Давняя привычка — посидеть раненько, подумать,— сказал Назаров.— А я смотрю, вы это или не вы?

— Редакция поблизости? — спросил Ариф.

— Совсем рядом. Вон напротив водхоза.

— Водхоз есть, воды нет,— сказал Ариф-ака, приеживаясь на скамью.

В пруду плавал какой-то плакат, видно, сорвало ветром. Возле чайханы на другом конце парка сгружали факсаул. Чайханщик и арбакеш громко незло переругивались.

— Газету нашу еще не читали, Ариф-ака? — спросил Назаров.

— Читал... Газета как газета, в любом районе точно такая. Разве что в вашей чувствуется особая любовь к разного рода кампаниям. Переселение в степь — кампания, кукуруза — кампания, здравоохранение — кампания, зеленые насаждения — тоже кампания.

— Это хорошо или плохо, Ариф-ака?

— Я пока не хочу давать оценок, дорогой. Но скажу, что мы, пожалуй, излишне регламентируем жизнь...

— Не понял, Ариф-ака...

— Вот прочтите плакат, который напротив: «Шире внедрим в жизнь комплексную механизацию...» «Шире внедрим!» Это как же шире? В каком смысле?

— Так и в газетах пишется... Так, в общем, принято.

— Знаю. Комплексная механизация вещь хорошая, в газетах о ней писать надо, но не вообще, а конкретно, по-деловому... А вот в парке... не знаю... В парк приходит отдохнуть, погулять. Представьте, идет парень с девушкой. Ему хочется сказать, как он ее любит, а перед глазами «шире внедрим». В лучшем случае он просто не обратит на лозунг внимания.

— Не знаю, Ариф-ака. Как-то в голову не приходило...

— Об этом я и говорю. У нас немало чиновников от пропаганды. Вместо настоящего дела они попросту тратят государственные деньги, чтобы создать видимость дела.

Назаров неопределенно улыбался, наверное, не принимал всерьез замечаний секретаря.

— Мы стали смотреть на наглядную агитацию, как на украшение... В вашей газете вчера так и было написано: «Портал районного клуба был украшен лозунгами и плакатами».

— Да, но вчера был слет.

— Я знаю, слет... Но все равно, лозунги и плакаты — и украшение...

— А как же надо?

— Пока не знаю. Буду думать... Вы тоже должны думать. Помните, во время войны был плакат «Отомсти!»?

— Да. Женщина-мать...

— Вот именно... Это был великолепный плакат. Мимо него невозможно было пройти, потому что на вас смотрела родина глазами матери и требовала действий. А где он висел, помните?

— Нет, Ариф-ака. Не помню.

— Вот в этом все и дело. Не помните, потому что он висел не для украшения...

Назаров как бы впервые разглядывал давно примелькавшуюся «наглядную агитацию». Сколько уж лет он, проходя через парк, сидя на этой скамье, смотрел на лозунги, ни разу вдумчиво, со вниманием не прочтя их... Значит, он заведомо знал, что они написаны не для него... А для кого же?

— Пожалуй, вы правы. Но что же делать, Ариф-ака? — снова спросил Назаров, но на этот раз требовательно, раздраженно, точно секретарь райкома был обязан, как человек, занимающий более высокое положение, знать все на свете.

И Ариф-ака ответил на этот раз более резко:

— Не знаю... Думайте... — и чуть смягчаясь: — Помому, мы прежде всего должны быть сами собой. Если мы что-то решаем, то должны решать так, как если бы мы сами были исполнителями решения и сами бы пользовались его результатами. А если мы в чем-то хотим кого-то убедить, мы обязаны поставить себя на место того, кого убеждаем... И при этом, повторяю, необходимо оставаться самим собой, не стараясь казаться умнее, чем есть на самом деле.

Ариф-ака посмотрел на часы.

— Ого! — сказал он. — Давно пора быть на работе... Что это вы улыбаетесь, товарищ редактор?

— Странный вы, оказывается, «райком», Ариф-ака...

— Это вам так кажется, — ответил Ариф и пошел по аллее.

Ни в этот день, ни на другой, ни через неделю Ариф-ака по существу не начинал работать. Он просто не знал, с чего начать. Он сам себе задавал те же вопросы, с которыми к нему обращались люди. Но, не решив их для себя, он не мог диктовать решений другим. Ариф повто-

рял себе давно запомнившиеся ему слова: найти звено, за которое можно было бы вытащить всю цепь. Как найти это звено? Где его искать? А время шло, и он все острее и острее понимал, что дальше так продолжаться не может, что настанет день, когда придется начать действовать, и плохо будет, если он не встретит этот день во всеоружии. А пока он вызывал одного за другим заведующих отделами, подолгу беседовал с ними. Когда ему принесли на утверждение повестку дня очередного пленума, он все хозяйственные вопросы отправил в райсовет, а над вопросами идеологическими предложил поразмышлять широкому кругу лиц. Он хотел знать, что думают люди, как относятся к порученной им работе. Зайдя однажды в сельскохозяйственный отдел и застав там совещание, он молча просидел на нем до конца только для того, чтобы послушать, что говорят работники с мест, которых он еще не знал. Уже не один Назаров называл нового секретаря странным, и только самые проникательные говорили: «Погодите. Он себя покажет. Похоже, на этот раз нам повезло».

А тем временем секретарь райкома продолжал изучать людей, с которыми сталкивался по работе. Как-то, приняв начальника железнодорожного вокзала и проверяя вместе с ним график перевозки грузов, Ариф-ака вдруг сказал:

— Я видел, на вокзале вот такими буквами написано: «Комната депутатов». Такая большая комната и почти всегда пустая. Объясните, кому она нужна?

Начальник вокзала, оказывается, никогда об этом не задумывался и, разумеется, по этой причине ничего объяснить не мог. Ариф-ака, все больше раздражаясь, говорил:

— Одну комнату легче содержать в порядке?

— Но ведь не я эти комнаты придумал... Везде так, товарищ секретарь,— сказал растерянный начальник вокзала.

Ариф-ака обычно спохватывался и корил себя: «Что это я, в самом деле, дергаю людей. Сам не могу в чем-то разобраться, а на них отыгрываюсь...» Но эти разумные мысли приходили позже, а в разговоре Ариф-ака оставался безжалостным.

— Должности занимают не бревна, а люди. Здесь, в нашем городе, должны думать и решать мы с вами.

Нам доверили, с нас спросят. Идите думайте,— отпустил он окончательно сбитого с толку начальника вокзала.

А вечером, подводя итоги, снова убедился, что ничего конкретного и за сегодняшний день не сделано, что вся жизнь района и вся работа идет своим чередом, по инерции, так, как шла до него.

Иногда у Арифа возникала мысль, что, может быть, его подчиненных одолевают не менее сложные вопросы, что, может быть, и они, идя к нему, ищут на них ответы? Неужели обязанности секретаря состоят только в том, чтобы спрашивать с людей, выполнил или не выполнил? Но ведь делать эту нехитрую работу может и автомат. Надо нам создать в райкоме такую обстановку, когда люди будут приходить с любым вопросом, по любому волнующему их поводу, не боясь, что их одернут, не поймут. Постепенно у него зрела мысль, что мешает ему не извечный вопрос, с чего начать. Он, пожалуй, знал, с чего начинать. Но хотелось начать так, чтобы с первых же шагов из стиля работы районного комитета партии был исключен формализм. Трудно ему было потому, что присутствие или отсутствие формализма зависело не только от него. Так появилось желание поехать в обком к Марье Васильевне. Оно окончательно окрепло как-то вечером, когда Ариф-ака прилег после работы почитать газеты, невольно прислушиваясь к разговору на веранде Анабиби и Тимура.

Тимур был рассудительным мальчиком. Он учился с Анабиби в одном классе и во всем ее опекал. Арифу нравилась их дружба. Эмоциональная Анабиби и спокойный, склонный к философствованиям Тимур.

— Вай!.. Капнуло. Теплая-претеплая. Ну, давай же руку,— нетерпеливо требовала Анабиби. Шел дождь, и Ариф представил, как Анабиби с веранды выставила ладонь. Но склонного во всем искать глубокий смысл Тимура дождь, по-видимому, интересовал совершенно с другой точки зрения.

— Нет, ты лучше посмотри: на некоторые камни не упало ни одной капли. Камни совсем сухие,— говорил Тимур.— Никто не может предвидеть, на какой камень упадет следующая капля... Даже когда кончится этот дождь, какой-то камень окажется сухим, а потом дождь пойдет снова, и тот камень, который был сухим, станет мокрым. Люди называют такое чудом. На самом деле



это закономерность. Правда, она возникла вследствие случайностей. Случайно ветер дует в этом направлении, а не в том, случайно вон та ветка оказалась на пути дождевых капель. Переменится ветер, и все может произойти наоборот, но опять будет закономерным... Из миллионов случайностей рождается закономерность. Значит, что такое дождь?

— Дождь — это теплые и очень приятные капли... Они щекочат мою ладонь, и мне хочется смеяться, — ответила Анабиби и действительно рассмеялась.

— Все-таки скажи, что такое дождь?

— Ах, оставь, пожалуйста, мы этого не проходили.

— Глупая, это же не урок...

— Я глупая, а ты скучный. «Случайность», «закономерность»... А дождю на это наплевать. Мне тоже... Понюхай, как пахнет моя ладошка. Нет, ты понюхай...

Ариф очень хорошо знал, что смуглые пальцы дочери всегда хранят запах ореха или горького миндаля. Наверное, в этом же убедился и Тимур, понюхав протянутую ему ладошку. Так это или нет, Ариф не видел, но спор на веранде больше не возникал. Ариф-ака подумал, что нет и не может быть неразрешимого спора, если люди по-настоящему близки и если их связывают одни и те же интересы.

Стены кабинета Марьи Васильевны украшали образцы разных сортов хлопка, диаграммы урожаев, таблицы экономических показателей. «Украшали» — другим словом трудно было определить их назначение. Человек, придя на прием к секретарю обкома, вряд ли будет изучать сорта хлопка или вникать в экономику области по таблицам. Ариф-ака как взглянул на стены, так сразу же забыл простые теплые слова, с которыми шел. Обстановка кабинета настраивала на деловой тон, когда словам и даже голосу невольно придается оттенок официальности.

Но за столом сидела женщина, знакомая Арифу с детства, приветливая и внимательная к своему давнишнему товарищу. По ее глазам Ариф понял, что она рада его приходу.

До нее уже дошли слухи о странностях нового секре-

таря, а ведь его назначили секретарем по ее рекомендации.

Марья Васильевна пополнила с годами и потому казалась ниже своего среднего роста. Ариф-ака помнил ее стройненькой девушкой-рабфаковкой. Но лучше не вспоминать, кто и как выглядел в юности, наверное, и Ариф-ака не был таким сосредоточенно угрюмым, с явно обозначенным вторым подбородком и начавшими оплывать щеками.

Когда Ариф вошел, Марья Васильевна разговаривала сразу по двум телефонам. Прижав трубку ухом к плечу, она освободила руку и протянула ее Арифу...

— Хош,<sup>1</sup> чем могу служить? — спросила она, кладя одну из трубок на рычаг, а другую прикрыв ладонью.

— Ничем. Просто зашел поговорить.

У Марьи Васильевны чуть заметно дрогнули брови, но она закончила разговор и лишь потом спросила:

— Как это так ничем? Со всех сторон только и слышу: помоги да помоги, а ты — «ничем». — Марья Васильевна пробовала шутить.

— А я, представь себе, зашел просто так, без всякого определенного дела... Просто зашел поговорить. Нельзя?

Марья Васильевна внезапно рассмеялась. Ее жестковато-энергичное лицо сразу похорошело, став мягким и женственным.

Ариф-ака невольно тоже рассмеялся.

— Просто так поговорить! Ну, ты шутник, Ариф, — сказала Марья Васильевна. — Ты, наверное, перепутал обком с чайханой на гузаре.

— Марьям, смех тебе, конечно, очень идет, но сидение с утра до вечера в этом кабинете добром не кончится.

— А что будет?

— Совсем смеяться разучишься.

Марья Васильевна больше не улыбалась. Сухо, не без вызова посмотрела на Арифа, сложила на столе перед собой руки, сказала:

— Рассказывай, как работается...

— Никак... До сих пор не могу начать по-настоящему работать.

— Что же тебе мешает?

---

<sup>1</sup> Хош — ну; так, да.

— Не знаю, Марьям, не знаю... Если бы знал.

— Загадки загадываешь. Ты не знаешь, а я должна знать? Увидела тебя, обрадовалась... Думала, услышу интересные предложения от умного человека...

— А если у меня нет предложений? Если я пришел душу тебе раскрыть?

— Маленький ты, что ли? Обком же тут.

— Вот теперь я все понял,— Ариф-ака поудобней устроился в кресле.— Теперь у меня есть предложение: надо завести в обкоме, да и во всех партийных органах порядок, чтобы человек мог прийти просто так, чтобы высказать, что у него на душе, поделиться своими сомнениями...

Марья Васильевна пристально смотрела на него. Она знала этого человека много лет. Знала его так, как он сам себя не знал. Так знать может только женщина, о многом догадываясь сердцем. Ариф не бездельник, но именно поэтому она не понимала, что с ним происходит, и, опасаясь за него, за его будущее, держалась суровее, чем ей самой хотелось.

— Говори, Ариф, говори. Разве я сказала, что нельзя говорить о своих сомнениях? Я тебя слушаю...

— Я был в Шивилгане...

— Слыхали,— Марья Васильевна умышленно сказала «слыхали», чтобы подчеркнуть, что о его поездке известно не только ей.

— Напрасно ликвидировали горный район.

Марья Васильевна с трудом сдержалась.

— Для тебя это новость?

— Нет. Но я не знал, что тем самым ликвидировали богатства этого района: сады, виноградники, родники...

— Ариф, я готова понять твои чувства... Но подумай, кого ты винишь?

— Пока только тебя. Как ты могла? Ты ведь прекрасно знаешь эти места.

— Замолчи, Ариф... Это твоя слабость, слабость простительная в разговоре со мной... Но не дальше, понимаешь, не дальше. Нельзя смешивать личные эмоции с делами.

— Хорошо, пусть личное, но это личное я же не могу выбросить, если оно сидит во мне... Объясни, почему для создания нового необходимо разрушать то, что уже создано?

— Никто не хотел ничего разрушать... Но пойми, каждый новый совхоз в отдельности, а их семь, может экономически дать больший эффект, чем весь бывший горный район. Я тебя предупреждала, обрати внимание на новые совхозы. Начиная с них. В этом году перед совхозами поставлена задача стать самоокупаемыми. Ты должен эту задачу решить. А ты: «Ах-ох, сады, родники...»

Марья Васильевна подошла к Ариффу, уже сожалея, что не сдержалась, и положила руку ему на плечо.

— Ты права, Марьям...

По коридору с деловым видом ходили из двери в дверь озабоченные девушки и степенные молодые люди — представить их детьми было просто невозможно. Ариффа-ака прошел по коридору, не поднимая головы, чтобы невзначай не увидеть знакомого. О чем он думал? Что может думать человек, которому доверили серьезную работу, а он еще к ней не приступал? До сих пор не был ни в одном совхозе. «Сады, родники». Хорошо еще, что Марьям не знала, как он пил водку с хромым сторожем. На улице Арифф вытер тыльной стороной ладони потный лоб. Все. Кончено. Надо брать себя в руки.

Машина стояла в тени акации. Арифф захлопнул за собой дверцу и включил зажигание.

Когда Арифф въехал в совхоз, уже стемнело. От усталости он ничего и никого не видел, да и видеть не хотел. Дул удушливый, неприятный ветер, от которого сразу охватывала тоска. В конторе он застал человека в грязной, замусоленной кепке. Человек этот, оказавшийся председателем рабочего комитета Узаировым, поначалу отнесся совершенно равнодушно к появлению Ариффа-ака, но, когда выяснилось, что это секретарь райкома, мгновенно переменился. Пока Арифф выходил на улицу, Узаиров позвонил в гостиницу, на продуктовую базу и еще в два или три подобных места. Причем сделал это настолько молниеносно, что Ариффу не пришлось его долго ждать.

Узаиров присоединившись к Ариффу, как ни в чем не бывало заговорил о плане, называя на память цифры,

и всячески старался произвести впечатление делового и осведомленного в хозяйстве человека. Когда Ариф-ака спросил, реальна ли установка о переводе совхоза на хозрасчет, Узаиров уверенно ответил: раз надо, значит, сделаем.

Узаиров привел Арифа в гостиницу. Ариф мыл руки. Узаиров держал наготове чистое полотенце, одновременно покрикивая на дежурную.

— Где директор совхоза, парторг? — спросил Ариф-ака.

Оказалось, что директор в области, а парторг — аспирант и, по словам Узаирова, больше занят своей диссертацией, чем совхозными делами.

Ариф-ака позвонил в райком, чтобы его не ждали. После этого он поговорил с Анабиби. Девочка привыкла к частым отлучкам отца, она только просила его по возможности вовремя есть.

Утром возле стола дежурной Арифа ждал смуглый человек, совсем еще молодой. Этот человек был тем самым аспирантом-парторгом, который занят своей диссертацией, звали парторга Туляган.

— Я приехал вчера, — сказал Ариф. — Но мне сказали, что вы заняты, и я решил вас не беспокоить.

Ариф-ака предложил Тулягану обойти поселок. Тот покорно, с какой-то обреченностью согласился, точно говоря: никуда не денешься, приходится водить партийное начальство. Это задело Арифа, но он сдержался.

В воздухе стояла красноватая пыль. Она была такой плотной, что застилала горизонт, скрадывала широкие просторы степи.

— Ветер до сих пор не улегся, — сказал Ариф-ака.

— Вчера только начался.

— Это и есть афганец?

— Да...

— И долго он будет дуть?

— Не меньше трех дней и трех ночей.

После этого они шагали молча вдоль единственной улицы, застроенной по обе стороны домами. Дворов и усадеб не было, все дома одинаковые, двухэтажные, с двумя маленькими верандами, каждый на две семьи. В десяти шагах от дома уборная, через десять шагов снова дом, потом снова уборная. Все как в строю... Пять,

десять, сто, двести домов и уборных, а между домами сухой, тревожный, пыльный и душный афганец...

— Как люди умудряются узнавать свой дом?

— Куда денешься... Научились. Дети, бывает, путают.

Километра через полтора Туляган остановился:

— До конца поселка еще столько же... Пойдем?

Ариф-ака мельком взглянул на него, спросил:

— А где производственные службы?

— На другом конце...

Они повернули назад. Теперь ветер дул в спину и можно было на ходу разговаривать.

— Почему же вы сразу не повели меня в том направлении?

— Откуда мне знать, что вы хотели посмотреть,— ответил Туляган.— Обычно водят по этому маршруту...

Арифу очень любопытно было, о чем думает этот похожий на араба молодой человек.

— Есть семья, детишки? — спросил Ариф.

— Жена, дочь... совсем маленькая,— сказал Туляган.

На коздворе РТС парень-ремонтник, как только появился Ариф-ака в сопровождении Тулягана, громко сказал:

— Если не захочу, меня никто не заставит работать. Зарплату два раза в месяц платить должны, а всегда разве платят? Придешь получать, а касса пустая. Но я работаю. Совхоз бедный, надо понимать. Почему работаю? Вот об этом подумайте.

Парень швырнул в угол замасленную тряпку, которой вытирал руки, подошел к Арифу.

— Вы комиссия, ака? Пишите.

— Зачем писать? Я и так запомню,— возразил Ариф-ака.

— В прошлый раз я кой-чего сказал одному корреспонденту. Он на свою память не надеялся, записывал. Читаю газету, а там все наоборот. Фамилия моя, слова вроде бы мои, а повернуты не туда. Хотите — пишите, хотите — запоминайте, но чтобы одно было ясно: сегодня степь, ветер, работа, завтра степь, ветер, работа — в этом вся жизнь, да? А что будет потом?

Щеголеватый парень в гладкой тубетейке сидел с пиросой на сломанном сури, закинув ногу на ногу.

— А что будет? То же самое и будет,— ответил он вместо Арифа.

Подобные разговоры Туляган слышал ежедневно.

— Я не комиссия, а секретарь райкома. Ваши заботы — мои заботы. Продумайте все, что вы хотели бы мне сказать, и приходите в гостиницу. Я еще побуду в совхозе несколько дней,— сказал Ариф-ака парню-ремонтнику и тут же вспомнил, как вчера ворвался в кабинет Марьи Васильевны, не очень-то зная, о чем будет с ней говорить.— Обязательно приходите. Найдем о чем побеседовать,— добавил он.

Когда вышли со двора, Ариф спросил:

— Кто этот, чистюля в тубетейке?

— Убайдуллахан. Временно исполняющий обязанности завклубом. Главная его работа — крутить пластинки,— ответил Туляган.

Обедал Ариф в рабочей столовой. Туляган разговаривал с заведующим.

— Почему не обедаете? — спросил Ариф.

— Меня дома ждут... Дочка болеет.

— Идите домой,— сказал Ариф.— В пять часов встретимся в гостинице. Ступайте, ступайте,— настойчивее повторил он, видя, что Туляган медлит в нерешительности.

Ариф так и не определил, что за человек парторг, но интуитивно этот молодой молчаливый человек с ясным вдумчивым взглядом Арифу нравился.

В пять часов они вновь отправились бродить по совхозу.

— Плохо, когда говоришь с людьми на ходу. Еще хуже отрывать их от дела,— сказал Ариф.

— Может быть, хотите к кому-нибудь зайти? — спросил Туляган.— Сейчас рабочие уже дома.

Проходили мимо веранды, на которой сквозь пыльные стекла видны были старик и куча детей за дастарханом.

— Спросить, не помешаем ли? — показал Ариф на старика.— Только пусть не стесняется.

Туляган ушел и очень скоро вернулся, приглашая Арифа войти.

Уже на пороге веранды Ариф-ака подумал, что старик вроде бы ему знаком. «Шивилганский»,— догадался он.

— Алейкум ассалам, просим гостя к чаю,— ответил на приветствие, сказал старик. Собственно, вблизи Ариф-ака засомневался, старик ли он или его старят борода и платок, повязанный и скрученный по-дехкански в жгут на голове.

-- Тесновато живете,— сказал Ариф-ака, присев на ступеньку и взяв предложенную ему хозяином пиалушку чая.

— Проклятый ветер, из-за него дети сидят взаперти, поэтому кажется тесновато.

— Вы горец?

— Угадали, гость, мы с гор.

— Удивительно, ака,— сказал Ариф, дуя на чай.— В совхозе много переселенцев из бывшего Куйкинского района. Как вы, прожив всю жизнь на чистом воздухе, садоводы из поколения в поколение, выносите условия этих мест?

Хозяин вопросительно посмотрел на Тулягана.

— Это новый секретарь райкома, Мансур-ата,— сказал Туляган.— Я бы на вашем месте высказал все, что на душе.

— И на душе нелегко, и сказать об этом тоже нелегко. Мы думаем, что если власти что-то делают, они знают, зачем и для чего... Мы переселились пять лет назад.

— Не стану спорить, власти действительно знали, что делали... Подсчитано, что экономический эффект от новых совхозов может оказаться во много раз выше, чем то, что давал горный район. Но власти не могут учесть желания и стремления каждого. Лично вам лучше известно, чего вы хотите... Мне почему-то кажется, что вы скучаете в этих местах, томитесь, тоскуете по Шивилгану...

— Тоскую, ака,— просто признался Мансур.— Дети вот привыкают, а я тоскую... Все думаем о наших зеленых кишлаках, и не я один, многие... Только мы понимаем ответственность и сидим здесь, а немало таких, кто сбежал...

— Бегство не делает им чести... Дезертир есть дезертир. Но я не могу понять, как вы, садоводы, живете на этой голой земле?

— Вы вроде корите нас?

— Нет, удивляюсь... Вы ведь дехкане. За семь лет, что существует совхоз, если не сады, то хотя бы палисадники перед домами можно было бы вырастить?



Мансур-ака, сдерживаясь, довольно долго молчал; сполоснул пиалу, собрал с дастархана крошки и мял их заскорузлыми пальцами.

— Род наш испокон веков садоводы, товарищ секретарь, это вы правильно сказали. Нелегко в мои годы приобретать новую профессию, отказавшись от прежней, любимой... Это все равно, что ноготь вырвать из пальца. Вот вы говорите, сады, саженцы... Думаете, это мне не приходило в голову? Попробовал я посадить два персика под окном... После работы таскал ведрами воду, на меня глядели и смеялись. Думали, что на работе я не устал, вот и занимаюсь ерундой. Я бы, конечно, на это не посмотрел, но ведь вырастить дерево там, где оно не росло, не так-то просто. Дали бы нам участки, помогли подвести воду, можно было бы справиться с природой, оградив эти участки от ветра. Но ведь совхозы хлопковые, саженцами не прокормишь вот этих... В Шивилгане кормил, а тут не прокормлю... Тут зарплата, а получают ее за хлопок.

— А жить?.. Жить-то ведь тоже надо? — тихо сказал Ариф-ака.— Спасибо за чай, за откровенную беседу.— Он поставил на дастархан пиалу.— Не обижайтесь, что растревожил. Я ведь это не из любопытства. Будем думать, что делать дальше...

— И вы не вините меня, коль что-то и не то сказал. Я говорил, что думал... Давно так не говорил с посторонним, да еще с начальством...

Туляган провожал Арифа до гостиницы, хотя тот и настаивал, чтобы он шел домой. Ариф-ака впервые за много дней чувствовал умиротворение, еще весь во власти искренней беседы с Мансуром.

— Все наши беды от любви к кампаниям. А надо к важным хозяйственным делам относиться как к серьезной перемене в образе жизни, в хозяйственном укладе, который складывается десятками лет, а то и веками. Теперь, конечно, поздно говорить, теперь надо действовать. Но правильно действовать можно, только поняв ошибки... Нельзя было переселять людей скопом. В каждом горном кишлаке было немало таких, кто хотел уехать, кого не привлекала тихая, налаженная жизнь в отчем доме, пусть бы эти и ехали. Так-то вот, Туляган. Не знаю, согласны вы со мной или нет,— говорил Ариф-ака.

— Вполне, товарищ Ачилов,— ответил Туляган.— Премахи, ошибки очень трудно исправлять на ходу. Все,

кто приезжает, требуют: давай, давай обеспечить самокупаемость, возмести затраты государства. Причем требуют только с нас, с низовых работников, как будто мы одни виноваты в том, что совхозы до сих пор не оправдывают себя.

— Но ведь и мы виноваты,— сказал Ариф-ака.

— Виноваты. Но когда с низового работника спрашивают больше, чем он может дать, он, на все махнув рукой, начинает ловчить, выкручиваться, втирать очки.

— И вы так делаете? — спросил Ариф.

— Стараюсь так не делать,— ответил Туляган.

Они попросились, крепко пожалав руки, как бы молча признаваясь в симпатии друг к другу. На другой день они договорились с утра засесть в бухгалтерии и в плановом отделе, чтобы Ариф-ака получил полное представление о делах совхоза.

В бухгалтерии они проработали до вечера, сделал всего один короткий перерыв, чтобы пообедать. Начали работу в расчетном отделе, и тут выяснилось, что Туляган знает досконально не только все возможности совхоза, но и содержание любой папки с бумагами. Они с Арифом-ака быстро поняли друг друга, вернее, Туляган сразу уловил, что интересуется Арифом, потому, что сам в свое время прошел весь этот путь поисков. Оба, и Ариф-ака и Туляган, анализировали, как затраченный рубль оборачивался в хозяйстве. Выводы были печальные — плохо оборачивался. Просто растворялся и часто исчезал безвозвратно. Тысячи рублей уходили, как вода в песок. В чем же причины этого?

Бухгалтер и финансист отнеслись поначалу довольно безразлично к посетителям и их занятию. Всякий раз, когда Туляган брался за очередную папку, они лишь переглядывались, как бы говоря: «Аспирант, он и есть аспирант. Ему бы поиграть цифрами, а нам работать мешает». Первым встревожился бухгалтер, когда Ариф-ака спросил:

— Вы знаете, что несете ответственность за каждый истраченный рубль? Не только за то, истрачен он по назначению или нет, но и за то, с какой степенью отдачи истрачен, насколько рентабельно его вложение.

Все это, конечно, бухгалтер теоретически знал, но он не думал, что от него кто-то вдруг потребует ответ за все вложенные в хозяйство деньги. Потом подошло время

краснеть и финансисту. Он, не раз споря с Туляганом по его диссертации, говорил, что в науке одно, а на практике другое, что если Туляган даже получит ученую степень, то все равно его знания не пригодятся на практической работе. Но разговоры, которые при нем вели Туляган и Ариф, как раз и подтверждали, что разрыв между теорией и практикой приводит к пустой трате денег.

На четвертый день прекратился ветер. Осела поднятая им пыль, очистились горизонты. И степь с возделанными полями перестала казаться Арифу неприглядной.

В конце недели приехал директор совхоза.

— Зиям Зияевич,— сказал Туляган, увидев его из окна конторы.

Ариф-ака подошел к окну. Дом директора был на той стороне улицы. Как только «Волга» остановилась, директорские дети и тот самый Убайдуллахан, который только и делал, что крутил пластинки, принялись переносить в дом какие-то коробки, ящики, пакеты. Ариф-ака задумчиво смотрел на всю эту кутерьму.

Зияханов был бывшим секретарем райкома. Ариф-ака присутствовал на пленуме, когда его снимали с работы. Говорили о нем плохо. Сам он жил в городе, а в районе появлялся наездами, чтобы «дать руководящие указания». Сейчас этот полный человек стоял на крыльце дома и следил за разгрузкой.

Ариф-ака вернулся в гостиницу, а через полчаса туда пожаловал Зияханов. Он извинился, что дела задержали его в городе. Он был моложе Арифа, но выглядел на много старше из-за болезненно одутловатого, землистого цвета лица и плешивой головы.

— Я не хотел вас тревожить прямо с дороги,— сказал Ариф.— Но раз зашли, поговорим...

— Пока секретарствовал, не думал, какой горький хлеб у директоров совхозов. Туляган, чаю!

Ариф-ака удивился властному тону директора и с интересом ждал, как отнесется к такому распоряжению парторг совхоза. Через некоторое время Туляган вошел в комнату и спокойно подсел к столу.

— Я просил чай,— тихо сказал директор и вопросительно посмотрел на Тулягана.

— Скоро принесут,— ответил Туляган по-прежнему спокойно, и это спокойствие очень понравилось Арифу.

— Чай будем пить после, а сейчас поговорим о деле.

Зияханов, вы сами были партийным работником... Да нет, пожалуй, никогда не были, если можете требовать от секретаря парткома подносить вам чай.

— Я вас слушаю,— сказал Зияханов, и морщины собрались на его лбу.

— Вы поняли, за что вас сняли с партийной работы?

— Думаю, что понял. Сняли меня за мягкотелость, чувствительность. А мы живем в суровую эпоху. Прочили меня крепко. Мы строим величественное здание будущего, строим на века. Всякое проявление мягкотелости неуместно и только вредит делу. Недоедай, недосыпай сам и не щади других.

— Как вы будете жить сами, ваше личное дело, а вот насчет других — простите. Другие имеют право жить так, как живут советские люди, и вы, руководитель, обязаны это обеспечить.

— Мы на службе у государства, товарищ Ачилов.

— Согласен. Но государство — это люди, наши, советские люди. Значит, вы на службе у людей, в конечном счете. Вот с этих позиций, если у вас нет возражений и будем строить наши планы.

— Совхоз прежде всего должен окупать себя,— сказал директор.

— Верно... И в этом прежде всего надо заинтересовать рабочих совхоза. Мы им много говорим про клад, который зарыт в этих землях, пора им этот клад показать...

— Подскажите, как это сделать, товарищ секретарь райкома.

— Попробую подсказать. Вот перед вами сидит парторг совхоза, поговорите с ним как со специалистом, а не заставляйте разносить чай... Поговорим вместе.

Все трое уселись за круглым столом. Женщина в белом халате принесла на подносе чай, задернула на окнах, через которые заглядывало, слепя глаза, солнце, занавески.

— Определим цель нашей работы,— говорил Ариф-ака.— На протяжении всей своей истории человечество и каждый отдельный человек стремились к тому, чтобы лучше жить. Поэтому не будем удивляться, что наши люди хотят хорошо жить. Рентабельность совхоза и улучшение условий жизни — это взаимосвязано. Каждый ра-

бочий должен быть заинтересован в том, чтобы самоокупаемость была достигнута уже в этом году.

Зияханов взглянул на Тулягана и почесал лысину.

— Пока возьмем исходные цифры. Товарищ Туляган, садитесь поближе.— Ариф-ака достал блокнот и карандаш.

Вскоре подошли вызванные Узаиров и бухгалтер.

— Я начну с недостатков райкома,— говорил Ариф-ака.— Наш недостаток в излишнем администрировании. А надо в масштабе всего района искать экономические рычаги, чтобы сбалансировать экономику района, маневрируя внутренними средствами. Я обещаю этого добиться. Вам же необходимо в совхозе сбалансировать собственные отрасли хозяйства. Дело это не совсем новое, и то, что я сказал, не мое изобретение... Такую работу я видел в одном из колхозов Самаркандской области. Одному человеку такая работа не под силу. У них в колхозе создан экономический совет, работой которого руководит председатель колхоза. Задача этого совета готовить научно обоснованные рекомендации, практически проверенные на отдельных участках. Начали с того, что изготовили карты урожайности по каждому полю и перестали исходить из ложной посылки, что раз одно поле рядом с другим, то и земля на них одинакова. Нет, земля не одинакова и требует соответствующей обработки, удобрения и так далее. Короче говоря, экономический совет выносил на правление обоснованные предложения с точным расчетом затрат и прибылей. Практически внедряли эти предложения в жизнь рядовые колхозники, и они же первые ощущали на себе выгоды. Это привело к тому, что каждый человек стал заинтересован в том, чтобы на своем участке работать рентабельно... Теперь конкретно, я предлагаю продумать создание у нас здесь экономического совета и поручить его организацию Тулягану. Ваше мнение?

— Вы говорили об опыте колхоза, товарищ Ачилов,— сказал Зияханов.— А у нас совхоз.

— Я говорю об анализе возможностей, о самоанализе, о привлечении к этому делу всех рабочих совхоза. Какая же разница — колхоз, совхоз?

Зияханов с сомнением покачал головой. Ариф-ака так и не смог понять, что беспокоило директора. Страх, что будут ограничены его директорские права? А может

быть, он просто усмотрел в Тулягане соперника? Но раздумывать над этим у Арифа не было времени.

Когда Ариф-ака, проведя еще четыре дня в других совхозах, вернулся домой, усталый, обросший черной с проседью бородой, дочь со слезами прижалась к его груди.

— Что случилось, мать моя? — спросил Ариф-ака. Он всегда называл ее так, когда дочь бывала чем-то расстроена.

Дома было чисто прибрано, в лучах вечернего солнца уставшим глазам Арифа все казалось покойным и мягким.

— Что случилось? — снова спросил он.

— Ничего не случилось, — сказала Анабиби, но тут же всхлипнула и закрыла лицо. — Вас вызвали в школу, ата...

«Всего-то?» Ариф облегченно вздохнул. Может быть, оттого, что он всегда был на руководящей работе, его никогда не вызывали в школу. Внешне он сохранил серьезность: неуместно улыбаться, когда человек плачет.

— Что ты такое натворила?

— Ничего... Учительница собиралась прийти к нам, а я сказала, что вы сами придете. Все папы приходят...

Арифу хотелось прижать к себе свою девочку, успокоить, но он решил, что было бы непедагогично успокаивать Анабиби, прежде чем он выяснит причину, из-за которой его вызывают.

На следующий день Ариф-ака до работы зашел в школу.

В кабинете заведующего учебной частью его встретила классная руководительница Шафигулина.

— Речь идет, как вы, наверное, догадались, о строптивом характере Анабиби, — начала учительница, после того как они поздоровались.

— Вот как? Как раз об этом я не догадывался. Что же она натворила?

— Как бы вам сказать? Да вот, прочтите сами. На прошлой неделе их класс писал по литературе сочинение на вольную тему «Наша семья».

Ариф-ака, присев на диван, волнуясь, внимательно читал сочинение дочери. Анабиби писала, что не все се-

мы хорошие, подробно рассказывала о том, как умерла ее мама, а отец даже перед смертью не хотел ее видеть. Где он сейчас, она не знала, но была уверена, что он недостоин называться советским человеком. Кончалось сочинение так: «Из-за него у меня нет семьи. Нет, как у других, мамы, тети или брата. Ну нет даже сестреночки... Правда, сейчас я живу у очень доброго и хорошего человека, которого считаю своим отцом...»

Ариф-ака почувствовал, как у него повлажнели ресницы: дела, дела, бесконечные дела помешали ему познакомить Анабиби с его многочисленной родней, ввести ее в семью. Даже Ачил-бува еще ни разу не видел девочку. Ариф-ака задумался и не сразу услышал слова учительницы:

— Теперь вы понимаете, что я должна была поговорить с вами?

— Простите, вы о чем? — спросил Ариф-ака.

— О сочинении вашей дочери...

— Ах, да, да, слушаю.

Учительница как-то странно посмотрела на Арифа.

— Мы должны воспитывать детей в духе возвышенных, чистых чувств. Наш долг научить их видеть нашу счастливую действительность...

— Погодите, погодите, — прервал ее Ариф-ака. — Я думал, вас взволновало душевное состояние Анабиби.

— Значит, вас не беспокоит представление девочки о нашей жизни, о наших людях?

— Послушайте, как можно обобщать? Она же рассказывает об определенном человеке. Вы бы хотели, чтобы она написала не то, о чем думает, что ее мучает?

— Вы посмотрите на сочинения других детей. Все они просветленные. Дети не вникают в склоки родителей. Они пишут с гордостью о счастливых семьях, о счастье. — Говоря, Шафигулина перебирала стопку сочинений, подкладывая некоторые Ариф-ака.

— Что вас волнует? — спросил Ариф. — Все, что написала Анабиби, правда.

— Товарищ Ачилов, наш долг оберегать детей, воспитывать высокие чувства.

— Не понимаю... Именно эти высокие мысли и чувства я вижу в сочинении дочери. Она рассматривает поступки своего отца, осуждает их, как человек высокой морали...

— Товарищ Ачилов, деликатность помешала мне сказать вам прямо то, ради чего я затеяла этот разговор. Вы говорите, Анабиби написала правду. Допустим. Но разве то, что ваша жена погибла, спасая девочку, неправда? А разве то, что делаете для нее вы, неправда? Почему об этом она не пожелала написать? А ведь вы не просто ее приемный отец, вы секретарь райкома. Было бы очень полезно, чтобы Анабиби рассказала детям, к примеру, о вас...

— Но ее не это волновало. Мне было очень интересно прочесть, что моя дочь думает обо мне, однако, наверно, я что-то недоучел в наших с ней отношениях, что-то делал не то и не так, чтобы вызвать у нее желание писать обо мне. В общем, позвольте в этом нам с ней разобраться...

— Как знаете, товарищ Ачилов, как знаете. Вы на ответственной работе, дома бываете редко. Девочка одинока, предоставлена сама себе. Я считала своим долгом обратить ваше внимание на то, что кажется мне ненормальным, так сказать, пробелом в ее воспитании.

— Что ж, за вашу заботу спасибо. За то, что предупредили меня, тоже благодарю, но остаюсь при своем мнении, хотя еще раз продумаю ваше. Вам, по-моему, тоже следует подумать...

Ариф-ака, сунув под мышку свою киргизскую шапку, вышел. Дома он не знал, что сказать Анабиби, хотя и видел, что девочка тревожится, не решаясь ни о чем спрашивать. Попало безропотному Тимуру, ни с того ни с сего она прогнала его с веранды. Ариф-ака, не найдя слов, просто обнял Анабиби. И Анабиби в ответ обняла его за шею и все крепче и крепче прижималась к груди, как бы боясь, что он захочет заглянуть ей в лицо.

После разговора с Марьям и поездки в совхозы Ариф-ака работал много и с увлечением. От прежней нерешительности не осталось и следа. Зато домашние тревоги не проходили. Чем больше он работал, тем меньше виделся с Анабиби. Нет, отчуждения между ними не возникло, но и прежней ясности и простоты не было. Он понимал, что написанное в сочинении не каприз избалованной вниманием девочки. Раз Анабиби об этом заговорила, значит, ей не хватает сердечности в доме, зна-



чит, он чего-то не может ей дать. Ариф-ака сознавал, конечно, что девочке не хватает матери. Но, понимая это, он все равно не мог примириться с тем, что Анабиби нужен кто-то еще, кроме него.

Как-то после областной конференции, на которой выступала Марья Васильевна, Ариф зашел к ней домой.

Вместе с Марьям жили ее тетя, которая вела хозяйство, и двое детей погибшего на войне брата. Жили они в трехкомнатной квартире, очень скромно обставленной. Марьям только что вышла из ванной. Свободное платье, она носила его только дома, скрывало полноту, влажные волосы были уложены вокруг головы. Чуть порозовевшее лицо посвежело. Она была умиротворенной и приветливой, довольная тем, как провела день.

— Хорошо, что зашел,— сказала она.— Хотела тебя пригласить. Но ты сразу куда-то исчез. Эти наши долгие собрания, бесконечные поездки в район... Бывает, что даже чаю некогда выпить.

— На этот раз не буду мучить тебя эмоциями.

Марья Васильевна прикрыла уши ладонями.

— Никаких разговоров о делах. Ты у меня в гостях, а ну садись,— сказала она, расставляя стулья.— Тетя!

— Сейчас, Маша,— ответила тетя по-русски.— Гость выпьет? — спросила она из кухни.

— Выпьешь? Выпьет, выпьет,— Марьям не стала ждать, что ответит Ариф.

— Так... Дома о делах не говорить? Дома одно, а на работе другое. Дома будем говорить о том, что думаем, на работе — так, как принято думать?

— Поехал,— сказала Марья Васильевна совершенно спокойно.— С тобой скоро невозможно станет встречаться — сразу кидаешься кусать.

— Прости, Марьям, я становлюсь надоедливым...

Тетя принесла в тарелках грибной суп, приправила его сметаной, положила рядом с тарелками деревянные ложки. Слышно было, как в кухне шипели на сковороде котлеты. Хорошо, что хоть это было слышно. Молчание становилось невыносимым. Марья Васильевна размешала сметану, совсем по-детски облизнула ложку.

— Что ж, говори, если не терпится... Ты имеешь в виду мой доклад?

Ариф-ака смотрел в тарелку, улыбался.

— Чему улыбаешься?

— Оказывается, угадала... Очень хорошо. Было бы хуже, если бы не догадывалась.

— Темно что-то говоришь. Нельзя ли пояснее?

— Я говорю, хорошо, что мы еще не потеряли способность быть самими собой... дома. Но дома одно, на работе другое.

— Выходит, я двуличная...

— Ну зачем так резко? Твой доклад был риторичен и высокопарен, а где анализ? У тебя этого нет. Не у тебя лично, а у тебя — докладчика.

— Что ж, продолжай, продолжай... Только не забывай сам об анализе...

— Не забуду. Вот пример: ты говорила, что восемь тысяч патриотов переселились из горных кишлаков в степь, но умолчала, что почти одна десятая часть этих переселенцев сбежала. Ты говорила, что эти люди вдохнули жизнь в голую степь, но умолчала, что угасла жизнь горных кишлаков. Ты сказала с трибуны, что семь совхозов, созданных руками богатырей, дали государству дополнительно столько-то тысяч тонн хлопка, но умолчала, что эти совхозы до сих пор убыточны, а жизнь этих чудо-богатырей дехкан до сих пор не налажена. Ты знаешь, как трудно строить коммунизм, но представляешь дело так, будто построить его не сложнее, чем вытащить попавший в тесто волосок. Ты сама этого не думаешь, а по твоему докладу все именно так. В каждом хорошем деле есть свои трудности. Смысл нашей работы — их преодолевать. А в твоём докладе их нет. Но самое страшное — это то, что мы, люди с мест, сидящие в зале, знаем истинное положение дел, но все равно слушаем тебя и аплодируем.

— Хо-оп! Допустим, я бы сделала такой доклад, какой хочешь ты. Что бы тогда было?

— Было бы ясно истинное положение дел. Мы бы видели, над чем надо работать. Все вместе решили бы, как работать... Ты говорила, что дадут выпить.

— Тетя, — крикнула Марья Васильевна, — ты забыла вино... Мы что-то делаем, — продолжала она, — у нас есть определенные успехи. Разве их нельзя признать? Разве не нужно доказывать, что они есть?

— Кому?

— Наконец, наша обязанность — вести агитацию,

пропаганду достижений среди народа. Это ты тоже не признаешь?

— Только на словах — не признаю. У нас достаточно достижений, и, говоря о них, мы можем, не боясь, анализировать свои ошибки. Я против словесных парадов.

— Это тоже слова, а где анализ дел?

— По-моему, размышления — та же работа, работа мысли. Та предварительная работа ума, без которой невозможна практическая деятельность. Для руководителя умение размышлять и особенно чувствовать, умение угадывать душевное состояние людей и понимать их природу — настоящее дело, без которого немисливо никакое другое. Мне один дехканин сказал: «Не только материальные ценности составляют богатство, радость в глазах человека тоже богатство...» Понимаешь? По-моему, о радости в глазах человека мы думаем недостаточно...

— Вот что, Ариф-ака, я слушала вас внимательно. Теперь послушайте меня. Вы говорили много и красиво. Но если будете только красиво размышлять, будете ходить да «чувствовать», а совхозы в течение этого года не станут рентабельными, мы вас снимем с работы, и я первая внесу это предложение, так как я была первой, рекомендовавшей вас на пост секретаря...

Марья Васильевна этим неожиданным в их отношениях «вы» дала понять, насколько серьезно задела ее рассуждения Арифа. Она налила себе водки и выпила полрюмки, что тоже для нее было необычным.

— Спасибо за откровенность, Марьям. Я с тобой буду тоже предельно откровенным. Я считаю ликвидацию Куйкинского района, поголовное переселение административным путем населения в степь ошибкой. Это нарушило вековой экономической уклад жизни...

— Снова этот Куйкинский район! — почти крикнула Марья Васильевна. — Это же был экономически слабый район, без каких-либо перспектив на развитие. Земли под сады и виноградники не расширишь, одни скалы и горы, а фрукты и виноград не стоили хлопка, выращенного самым захудалым колхозом. Гнездо частной собственности. Базары, долины вечно полны были шивилганцами. Степные же совхозы — опора государства. Все это понятно детям, но почему-то не ясно тебе...

— Не почему-то, а именно потому, что я не дитя.

Я знаю, что степной хлопок мы могли выращивать без садоводов, для которых сад святое наследство отцов, не ликвидируя горных кишлаков. У нас большой опыт по освоению целины. Я верю в конечный успех наших новых совхозов, но очень хочу, чтобы базары долины были полны фруктов и винограда. Прежде говорили: «Куйки — украшение долины». Теперь эти слова звучат как насмешка. Смеются надо мной и над тобой, Марьям. Что бы ты сказала о девушке, которая свою красоту оценивает деньгами? Не это ли делаешь ты, когда говоришь об экономической бесперспективности Куйкинского района?

— Чепуха. Пример с девушкой, может быть, и хорош с точки зрения восточной поэзии, но звучит неубедительно в серьезном разговоре.

— Ну что ж, если тебе красота не кажется убедительным доводом, я должен сказать, что Крыму или Черноморскому побережью Кавказа повезло больше, чем нам, там нет тебя.

— Грубо, очень грубо... Но что делать, я хозяйка дома, а ты мой гость... Ешь котлеты, а то совсем остынут.

Ариф-ака выпил, кажется, уже четвертую рюмку. Марья Васильевна не считала, она просто видела, как Ариф побледнел. Он всегда бледнел, когда выпьет, это Марья Васильевна хорошо знала.

Они просидели за столом довольно долго. Тетя и дети давно легли спать. Улицы погрузились в ночь, и уже горели большие уличные фонари...

— Мы должны создать материально-техническую базу коммунизма, Ариф. Вся страна занята этим. Ты слышал об этом? Человек впал в сентиментальность...

Ариф-ака молчал, уставившись в тарелку.

— О чем ты задумался? — спросила Марья Васильевна.

— Так, кое-что вспомнил... Вернувшись с фронта, я первым делом съездил к Ачилу-буве, потом поехал к Сарагуль. Но и у нее долго не задержался. На второй же день помчался в Сумбултамчи. Как только увидел издали пещеру, в голову пришла мысль: если бы не остался живым, никогда бы больше не увидел Сумбултамчи. Подумал и испугался, а на фронте, где, как известно, могут убить, никогда не испытывал такого ужаса... Ради

того, чтобы вечно была подобная красота, стоило жить. Сумбултамчи — моя молодость. Может быть, это он сделал меня таким вот странным... Бывало, ночью идем в разведку по неизведанным тропинкам. Тихо. Смерть рядом. А ночь и эти тропинки кажутся нескончаемыми. Вдруг солнце! Незнакомое, как будто увиденное в первый раз. Мы возвращаемся из разведки. И на этот раз возвращаемся живыми. И вот то ли под березой, то ли на берегу ручья или среди руин я натыкаюсь на цветок, чистый, бирюзовый, точно небо, цветок, или на одинокую, неведомо откуда залетевшую пчелу, и я плачу и не стыжусь слез: я вспомнил Сумбултамчи... Разве красота не стоит таких слез? И разве красота не помогает жить?

Марья Васильевна притронулась к его плечу и не спешила убраться руку. Хотела сказать: «Поздно уже. Пора спать» — и не сказала.

— Я близко знал Туйчи Эрийгитова, — заговорил Ариф, не отрывая глаз от стола. — Он был настоящим коммунистом, образованным, думающим. Таким его знали многие, но мало кто знал, и ты тоже не знаешь, что у него была страсть — составлять букеты цветов. Если удавалось собрать особенно удачный букет, он страдал оттого, что не может сохранить его навечно, потому что цветы вянут... Как, по-твоему, о чем он думал перед тем, как броситься на дзот?

Откуда было Марье Васильевне знать, с какими мыслями герой Отечественной войны Туйчи Эрийгитов совершал свой подвиг. Необычный разговор ее утомил.

— Ты же тоже можешь только догадываться об этом, — устало сказала она.

— И все же, мне кажется, я знаю. Любовь. Большое сердце. Он не мог вынести, что вокруг гибли его друзья...

Марья Васильевна, сжав ладонями голову, сказала:

— Ты очень последователен. Все, что ты говоришь, верно. Но если с таким настроением надеешься вытянуть свой район, мы от тебя вместо плана в лучшем случае начнем получать букеты цветов.

— Ты тоже последовательна, Марьям...

Ариф-ака понимал, что пора уходить, и продолжал сидеть. Удивительные метаморфозы происходят с людьми. Тридцать пять лет назад он ни за что бы не мог представить Марьям такой, какой она стала, так же как сейчас не мог увидеть девочку, всплывшую, как по-

рох, и отходчивую, смешливую и резкую. На рабфаке она была на курс младше Арифа, он всегда нравился ей, она, не скрывая, ревновала его к другим девчонкам. Кажется, году в 1929-м в Арифа влюбилась одна девушка, совсем еще девчонка-первокурсница. Звали ее Назми. Она написала ему письмо. Оно каким-то образом попало к директору. То время почему-то не считалось подходящим для любви. Директор созвал общее собрание. Ариф понимал, что, если он будет защищать Назми, его обвинят в том, что и он сам неравнодушен к ней. Если не вмешаться — девушку могут исключить с рабфака. В то время очень боялись слов «буржуазные предрассудки». Письмо Назми рассматривали с высоты этого понятия. Собрание было бурным. На сцене переполненного зала появилась Марьям. Зал притих. Все ждали, что скажет эта русская девушка. Снизу, из зала, Марьям почти не было видно из-за трибуны, за края которой она крепко держалась руками. Из всего сказанного тогда Марьям Ариф запомнил первые фразы: «Узбекская девушка открыто сказала «люблю». Этому же не знает история, это то, на что ей дала право революция, а вы собираетесь ее судить!»

«Марьям, Марьям, где все это?» — думал Ариф, а Марья Васильевна устало говорила:

— Мы перестали друг друга понимать, Ариф... Если хочешь, зайди к первому, расскажи о наших разногласиях.

— Подумаю. А тебе скажу, Марьям: как секретарь обкома, ты не на своем месте.

Ариф-ака снял с вешалки пиджак, попрощался, уже стоя в дверях, и вышел на лестничную площадку, осторожно прикрыв за собой дверь.

Марья Васильевна, проводив его, прислонилась лбом к холодному косяку и долго стояла. Проснувшаяся тетя подошла и накинула ей на плечи шерстяной платок.

На улице было пустынно. В темноте шелестели невидимые листья. Во всем большом доме только в окна Марьи Васильевны горел свет. Впору было вернуться, попросить прощения за свою резкость. Он смотрел на окна, и в это время в них погас свет. На стоянке автомашин одиноко темнел газик. Ариф сел, и стук захлопнутой дверцы, как выстрел, прозвучал на пустой площа-

ди. Постовой милиционер, минут через пять заглянувший в машину, увидел там спящего человека.

Ариф-ака проснулся. Во сне видел плачущую Анабиби. Девочка всхлипывала и говорила: «Хотя бы сестреночку мне». Дома Анабиби оставалась совсем одна. Тимур уехал на время каникул пионервожатым в лагерь. На руке Арифа лежал солнечный луч, чуть изломанный ветровым стеклом. Хрипловатый по-утреннему голос прокричал по-русски:

— Хозяйка, биноград чканка!

Ариф-ака открыл дверцу и выглянул, чтобы посмотреть, кто это кричит, но никого не увидел. Зато прямо перед машиной, ухватившись за подол впереди идущего, улицу переходили детишки не старше четырех-пяти лет. Они шагали молча и сосредоточенно; мелькали ножки, смуглые, белые, смуглые... Последним шел малыш на кривых ногах. Загляделся на машину, потерял кончик подола, испугался, пробежал вперед и вцепился в спасительный подол. И вся цепочка малышей благополучно перешла улицу. Мелькнула мысль: «Может, удочерить «сестренку» Анабиби?» Но мысль эта так же быстро исчезла, как и появилась. Поодаль, шурша, взлетали струи городского фонтана, дробясь, опадали. Ариф пошел к фонтану.

Умывая лицо студеной водой, он снова услышал:

— Хозяйка, биноград чканка!

Ариф вытер носовым платком лицо, руки, как замороженный идя на голос. Того, кто кричал, увидел на углу возле ворот дома. Ариф-ака узнал шивилганского дехканина Эргаша по прозвищу Столб. Вернее, прозвали так не самого Эргаша, а его отца. К Эргашу прозвище перешло по наследству. Искуснейший садовод, отец Эргаша как-то попал впросак из-за своей наивности. Он увидел на столбе монтера. Железные когти на ногах человека, как и сам столб (электрификация кишлаков только что начиналась), привели старика в изумление.

— Что делаешь, добрый человек? — спросил он монтера.

— Посадил столбы, да не на том месте. Теперь не знаю, куда их деть

— Продай!

— Купи...

Вот так закупил старик «на корню» все столбы и от-

считал монтеру сполна деньги. Правда, монтер оказался человеком с совестью и запросил за столбы недорого. Но все равно обидно: старик срубил осенью на дрова собственный столб и угодил в милицию. Оттуда, разобравшись, его быстро выпустили, но с тех пор к нему и его потомству прочно прилипло прозвище Столб. Вместе с прозвищем старик передал сыну искусство виноградаря.

Столб во втором поколении стоял возле закрытых ворот, заглядывая в щель, и кричал:

— Биноград... чканка!

— Что вы здесь делаете, Эргаш?

Эргаш отскочил от ворот, точно ему дали пинка. Он был в белом халате, опоясанном множеством скрученных в жгуты платков, за которые были воткнуты садоводческие инструменты: обоюдоострые ножи, пинцеты для прививки, ножницы. Большие ножницы с длинными рукоятками висели, как раздвинутый циркуль, на плече.

— Ариф-ака?! Говорят, вы стали райкомом, Ариф-ака.

— Нехорошо, Эргаш, зубы мне заговаривать. Я слышал, что вы переселились в степь.

— Переселились, ака. Переселились...

— Так в чем же дело? Душа к степи не лежит?

— Правда ваша, ака, не лежит...

— А переселились добровольно.

— Добровольно, ака.

— А теперь удрали из совхоза, ходим по дворам и делаем чеканку винограда?

Ариф-ака, разговаривая, шел по улице, и Эргаш послушно брел за ним. Лицо обросло черной бородой, и это подчеркивало его бледность.

— Болееет виноград, ака. В\*какой двор ни зайдешь — больной виноград. С гор спустилась тля,— оправдывался Эргаш.

Они дошли до базара. Ариф-ака взял две касы кислого молока.

— Хош. О винограде болит душа, а хлопок пусть сам собой растет? Удрал, не вытерпел?

— Я вытерплю, ака. Все вытерплю. Вот смотрите...— Он вытянул натруженные, в мозолях ладони, пропитанные зеленым соком лозы.— Я этими руками не деньги защибаю. Спасая виноград. Дайте мне сад, райком-ака. Дайте мне землю под сад в степи— вернусь...



— Вернитесь и опять сбежите...— Ариф-ака повернулся и пошел к машине. Шел и мучился: за что накричал на человека? Знает его чуть не с детства, работяга, наивный, бесхитростный. Если такой решился уйти, значит, действительно стало невмоготу. Ариф-ака не мог уехать, оставив его так.

Эргаш стоял на том же углу, удрученный, ко всему безучастный.

— Вы, кажется, закладывали нас<sup>1</sup>, Эргашвай? Если есть, угостите,— сказал Ариф.

— Да, да... Есть, как же не быть,— Эргаш Столб суетливо рылся в поясных платках. Даже табакерка, отделанная медью, позеленела от сырости тли.

— Трудно будет справиться с тлей,— сказал Ариф, кинув в рот щепотку наса.

— Сейчас еще ничего, можно справиться. Плохо будет, когда она распространится по долине. Не приведи бог, как плохо...

— Слушайте, Эргаш! Возвращайтесь в Шивилган. Сегодня же возвращайтесь...

— Как возвращаться, Ариф-ака?

— Возвращайтесь, возвращайтесь. Совсем возвращайтесь...

— Не надо шутить, Ариф-ака. Мне трудно понять шутку.

— Я не шучу, Эргаш. В Шивилгане остался кое-кто из стариков.

— Я знаю, Ариф-ака. Они совсем старые. Им разрешили остаться.

— Вам я тоже разрешаю. Вернем и Мансура-ату... Насколько хватит сил, восстанавливайте сады. Я буду добиваться, чтобы постепенно вернуть садоводов.

— Ариф-ака, райком-ака, как хорошо! Вай, как хорошо!..

Эргаш пошел по улице, размахивая руками. Он смеялся и напевал:

Как хорошо, райком-ака,  
Вай, хорошо, Ариф-ака...

Из города Ариф-ака поехал прямо на работу и пришел домой только вечером. Двор был полон детей. Они

<sup>1</sup> Вид табака, который закладывают под язык.

с криком атаковали машину, ворвались в кабину, залезли в кузов. Анабиби кинулась на бушующую ватагу. Она быстро разогнала всю компанию.

— Прямо басмачи,— сказала Анабиби и бросила прутик, который держала больше для устрашения. Потом принялась убирать со двора табуретки, стулья, примус — принадлежности игры в «паровоз-паровоз».

Ариф-ака вышел во двор без майки, полил горстями из ведра вокруг сури. Во дворе сразу стало прохладней и запахло мокрой землей. Потом сели ужинать, и Анабиби выясняла, что делал отец за те сутки, что они не виделись.

— У тети Марьям были, папа?

— Был. Передал от тебя привет. Она тоже шлет тебе привет.

— Только привет?

— Не только. Она еще просила тебя поцеловать...

— Так вы поцелуйте...

Ариф-ака, смеясь, поцеловал дочь. А она продолжала расспрашивать:

— Вы в гостинице ночевали?

— Да...

— В новой? С большими окнами? На каком этаже?

— Кажется, на четвертом, мать моя. Точно не помню.

— Там были ковры? Красивые? А вам было весело?

— Как тебе сказать, по-разному. То весело, то грустно...

— Правда, правда,— обрадовалась Анабиби.— На душе всегда так бывает — то весело, то грустно... А вот словами этого не выразишь.— Анабиби поудобней усе-лась на курпачу, подобрав под себя длинные тонкие но-ги.— Тимур как-то похвастался, что может передать словами любые чувства. И сказал, что такое счастье, что такое любовь, душа...

— Что же именно он говорил?

— Вай, разве запомнишь? А наша Камила-апа его тут же проучила. Мы очень любим ее уроки, потому что они очень интересные. Ну что же, сказала она, ты объяс-нил нам, что понимаешь под словами «любовь», «сча-стье». О таких вещах трудно спорить. У каждого свои представления. А вот опиши нам запах розы... Тимур попробовал, и ничего не получилось. Так ему и надо. По-думаешь, всезнайка...

— Да, трудно передать словами не только запах розы. Бывает, что не можешь рассказать, что у тебя на душе... Я пойду поработаю, дочка...

У себя в комнате Ариф-ака достал подшивки районной газеты, которые взял в библиотеке. Он просмотрел подшивку того времени, когда создавались степные совхозы. Листал до тех пор, пока не дошел до фотографии Эргаша. Фотография была напечатана в середине полосы. Ее-то и искал Ариф. Ему хотелось проверить свою память. В газетных статьях говорилось о покорителях пустыни, о чудо-богатырях, готовых схватиться один на один с природой. Но интересовала Арифа статья, подписанная Эргашем Столбом. Эргаш призывал односельчан переселиться в степь: «Хватит цепляться за старину, пора прокладывать новые дороги», «Я счастлив, что нашел в себе силы стать в ряды с теми, кто, как львы, преодолевая коварство степи, вышел на поля сражений за новую жизнь...» С фотографии на Арифа смотрели растерянные глаза Эргаша, точно спрашивали: «Ну что вам еще от меня нужно?» Ариф-ака выписал в блокнот то, что его интересовало, записал номер газеты, дату ее выпуска. Неужели он один чувствует фальшь этих громоздких слов? Неужели Марьям не понимает разрушительную силу противоречия между показной стороной дела и действительностью? А если понимает, то почему обманывает себя и других? Нет, жизнь сложна, ее нельзя упрощать. И человек сложен. Человек не всегда может сам сказать за себя то, что жизненно необходимо сказать. Тем большая ответственность лежит на тех, кто берет на себя смелость говорить от имени человека.

После разговора с учительницей и Марьей Васильевой Ариф лишний раз убедился, что сложности не следует упрощать, если действительно хочешь делать что-то полезное. Он знал теперь, что Анабиби не так беззаботна и счастлива, как ему раньше казалось. Девочка решала какие-то свои нравственные проблемы, и он, оказываясь, не сумел прийти к ней вовремя на помощь. Больше того, он не догадывался, что девочку что-то тревожит.

На работе Ариф-ака уже вовсю включился в дела. Он не знал устали, изумляя своей работоспособностью издававших виды райкомовцев. Палевый газик секретаря

райкома видели на всех дорогах, во всех хозяйствах. Ариф никого понапрасну не тревожил вызовами — везде, где было нужно, бывал сам. Точно так же люди приходили и приезжали в райком по мере своих надобностей. Нового секретаря любили или не любили; но людей, которые бы относились к нему равнодушно, в районе не было.

Однажды, вернувшись на рассвете из дальнего хозяйства, Ариф-ака пришел на работу с опозданием. В приемной было много народу. Ариф-ака, как обычно, пригласил в кабинет всех сразу.

В маленькой комнате в беспорядке стояли стулья, дверцы шкафов были приоткрыты, книги разбросаны на столе, на подоконнике между цветочными горшками. Кабинет секретаря райкома был больше похож на комнату холостяка.

Ариф-ака, не дойдя до стола, подсел на диван к Тулягану.

— Как дочка?

— Поправилась, Ариф-ака, спасибо. Я получил разрешение отложить защиту диссертации. Вот телеграмма,

— Почему? — Ариф-ака внимательно читал телеграмму. Туляган провел рукой по шишковатому лбу, посмотрел по сторонам, точно прикидывал, стоит ли говорить при посторонних. Все, кто был в кабинете, невольно прислушивались. — Так почему же? — снова спросил Ариф-ака.

— Все из-за вашего экономического совета. Это же целый институт.

— Очень хорошо.

— Хорошо. Но мне стало ясно, что вся моя диссертация просто самодеятельность. Мы были слепыми, бродили на ощупь. Ваш внутривладельческий расчет вроде дрожжей. На нем такие дела вырастают! Научились определять, кто из-за кого недополучил свою долю, где она осела: в автопарке, у механизаторов или авиаторов, у поливальщиков или полеводов. Обнаружили, например, что водхоз давал участкам в полтора раза меньше воды, чем считалось. Вчера поставили счетчики на воду, как на электроэнергию. Уже наметились источники, которые помогут снизить в совхозе себестоимость... Если на будущий год план не увеличат, сможем окупить себя.

— Если не увеличат план? — переспросил Ариф.

— Да.

— Об этом подумаем.

— Ариф-ака, товарищ Ачилов, — сказал кто-то, — со всех сторон слышу: экономический совет...

— Слушай, Туляган, — перебил Ариф говорившего. — Вы должны, во-первых, обломать крылья афганцу. Посоветуйтесь с учеными, прикиньте свои возможности. Во-вторых, к совету надо привлечь садоводов, создать им условия, пусть закладывают сады в городке совхоза...

— Что это за совет, в конце концов?

Тому, кто спрашивал, ответили, заговорили все сразу.

— Вашему совету поручение райкома, — продолжал Ариф, не обращая внимания на шум. — Надо выработать обоснованные оценки в соревновании...

Зазвонил телефон. Ариф-ака обошел стол и взял трубку.

— Лаббай?<sup>1</sup> Кто? А-а, Столб! — Не стоило, конечно, громко повторять прозвище. Ариф-ака смущенно оглянулся, но никто ничего не заметил. — Слушаю вас, Эргаш... Как сады? Что, что? Кто? — Ариф на мгновение умолк, побледнел. — Когда?... В больнице?.. А где он теперь? Не знаете... так.

Ариф-ака положил трубку. Попытался вспомнить, на чем прервал разговор с Туляганом. Увидел перед собой Назарова, пошутил:

— Ваш герой Эргаш... Энтузиаст, покоритель степи...

Назаров не понял. Шутка не получилась. Кто-то спросил:

— Товарищ Ачилов, почему в нашем хозяйстве нет экономического совета?

— Можно самим организовать совет или ждать решения райкома?

— Все это сами обсудите... Туляган вам объяснит. Я, к сожалению... Мне придется уйти... очень срочное дело, — сказал Ариф-ака.

Он вышел на улицу. Куда идти? Зачем? Он знал, что идти куда-то надо. Необходимо что-то делать. Но что? Домой! Прежде всего увидеть Анабиби. Эргаш позвонил из Шивилгана. В кишлаке побывал человек по фамилии Исраилов. Назвал себя отцом Анабиби, наведаясь в род-

<sup>1</sup> Лаббай? — вопросительная частица.

дом, в Совет, брал какие-то справки и грозил отнять у Арифа дочь.

К дому Ариф-ака почти бежал. Калитка была подперта изнутри колом, что почему-то очень его испугало. Он просунул в щель руку и хотел откинуть кол. Ничего не получилось, руки Арифа дрожали.

— Анабиби! — закричал он. Никто не ответил. Он рванул калитку, и она неожиданно распахнулась. Ариф шел через двор. На крыльцо веранды вышла заспанная Анабиби. Она с тревогой спросила:

— Что случилось, папа? Почему вы так рано? Смотрите, вы совсем мокрый... Заболели? А я заснула. Закрыла калитку от этих басмачей и заснула...

Ариф-ака ничего не говорил, он только гладил голову дочери.

На другой день после бессонной ночи Ариф-ака решил поехать в Шивилган. Было воскресенье.

Он миновал уже знакомый кусок разбитой дороги. Не доезжая до кишлака, остановился долить в радиатор воды. Места эти по-прежнему были пустынные: заросшие тропинки, глухая тишина. Ариф поднялся на скалу и присел покурить. Внизу переливалось над зелеными зарослями заброшенных садов легкое марево, а острые вершины тополей вдоль дороги издали казались зубчатой стеной древней крепости. Неожиданно на дороге что-то сверкнуло, слепя глаза. Ариф-ака разглядел свернувший с дороги в кусты «Москвич». Кто мог заехать в эти места на машине? Прыгая с камня на камень, обходя трещины и выступы скалы, Ариф спустился вниз. Над самой дорогой увидел между камней Марию Васильевну. Она медленно шла, оглядываясь по сторонам, наклоняясь, рвала цветы. На ней было короткое платье без рукавов, легкие туфли на голых ногах. Белая косынка прикрывала от солнца голову.

Ариф-ака остановился в тени и смотрел, пока Мария Васильевна, распрямившись, не увидела его. Они постояли, разглядывая друг друга: Ариф-ака с улыбкой, Марьям серьезно.

— В городе можно задохнуться от жары. Решила использовать выходной день, — Марьям заговорила первая, даже забыв поздороваться.

— Ладно, Марьям. Приехала, уже хорошо. В хорошем поступке не надо оправдываться. — Ариф спустился,

и они пошли рядом, обходя камни. Тропинка пропадала в буйных зарослях, ныряла в плотную тень могучих каштанов. На крутых подъемах Ариф-ака поддерживал Марьям за локоть, и она всякий раз благодарила его.

— Ну что ты все улыбаешься? Почему улыбаешься? Думаешь, я без тебя не знаю, что такое природа? Воображаешь, что открыл мне глаза? Ах, Ариф, Ариф, до чего же ты самоуверен!

Оба засмеялись.

— Ладно,— сказала Марья Васильевна.— Ты увлекся экономикой. Изобрел даже экономический совет, а я решила приобщиться к лирике.

— Я и сам не ожидал, что идея экономических советов окажется такой плодотворной.

— В совхозах все дела забросили. Сидят и считают... Про депутатские комнаты тоже слышала. На все тебя хватает...— В словах Марьи Васильевны хоть и не было одобрения, но не было и осуждения. Она попросту констатировала то, что самой ей было внове, и она еще не решила, как к этим новшествам относиться, поскольку неизвестны результаты, к которым они приведут.

Они поднялись на перевал и сели отдохнуть на ствол поваленного бурей тополя. Роса еще лежала на травах, на камнях и цветах. Под голубым, совершенно чистым небом расстилалась долина, между скал там и сям сверкали родники, и воздух был наполнен запахом трав и меда.

Марья Васильевна разглядывала, точно видела впервые, широкий лист. Она поворачивала его так и сяк, любовалась ажурными жилками.

— Смотришь, как причудлив рисунок листа?— сказал Ариф.— Причудлив и совершенен, не правда ли? Закономерен и необходим каждый изгиб, отсюда совершенство. Друг Анабиби Тимур утверждает, что любая закономерность порождена цепью случайностей.

Марья Васильевна не ответила.

— Я читал где-то, что некоторые ученые рассматривают все сущее на земле, в том числе человека, как соединение расположенных определенным образом электронов. На этом основании предполагают, что если когда-нибудь через тысячи или миллионы лет повторится случайно прежнее расположение электронов, повторится и человек.

— Хорошее утешение,— сказала Марьям.

— Да, ты знаешь, появился отец Анабиби...  
— Что ты говоришь?— Марья Васильевна встревожилась.  
— Мне сказал об этом человек, которому можно верить. Отец Анабиби будет пытаться ее забрать...  
— Ну, это ерунда...  
— Ты думаешь?  
— Уверена. Анабиби уже исполнилось шестнадцать лет?

— Исполнилось.  
— В этом возрасте ребенок сам решает, с кем ему жить. Но я бы на твоём месте поговорила с её отцом, выяснила бы, чего он хочет...  
— Ни за что.  
— Почему?  
— Он подонок.  
— Вот оно что!.. А кто без устали говорит о человечности? Кем бы он ни был, он отец. И не считается с этим бесчеловечно.

— Все равно я не могу говорить с этим человеком, это выше моих сил...

Они спустились вниз на дорогу. Солнце стояло в зените, когда они подошли к машине Марьям.

— Славно отдохнула. Даже на душе легче стало,— сказала она. Она позвала шофера, который поодаль собирал боярышник. Точно вспомнив нечто важное, тихо сказала:— Я очень изменилась. Годы нас не красят. Много с годами утратила. Знаю. Но когда? Где? Этот вопрос задал ты. Теперь я спрашиваю себя сама...

Она села рядом с шофером, и машина тотчас тронулась.

Ни Ариф-ака, ни Марья Васильевна в тот воскресный день не знали, что их дружба-вражда пройдет еще одно испытание.

Расхождения во взглядах между Арифом и Марьей Васильевной давно перестали быть тайной для партийных работников района и области. Было немало таких, кто с интересом ждал, кто кого «съест». Причем в Ачилове видели человека, который хочет свалить Марью Васильевну, чтобы стать на её место. Так думали его недоброжелатели и люди, подобные Зияханову. Но были и такие, для кого борьба Арифа стала их собственной



борьбой. Открытое столкновение произошло на районном активе.

В своем докладе Ариф-ака сказал, что жизнь больше не терпит показухи, пустопорожней болтовни, прикрывающей неспособность некоторых руководителей к творческой работе. Такие руководители, по мнению Арифа, давно превратились в механизмы, «изрекающие указания».

— Больше всего вредит нашему делу,— говорил Ариф,— когда люди сталкиваются с руководителем, на словах пекущимся об их благополучии, а на деле озабоченным лишь тем, чтобы сохранить под собой руководящее кресло, угождая вышестоящим товарищам...

Марья Васильевна прервала Арифа:

— Товарищ Ачилов, нельзя ли конкретней? Выходит так, что, кроме вас, никто не думает о народном благе. Давайте поговорим об интересах государства.— В зале захлопали. Не дружно и не сильно, но захлопали.

— Очень опасно судить о партийном работнике по тому, сколько раз он произнесет слова «интересы партии и государства», считая, что чем больше, тем лучше. Больше того, недопустимо, когда человек, занявший пост, немедленно причисляет себя к непогрешимому защитнику государства, словно одному ему известны и дороги государственные интересы. Государство — это все мы, сидящие здесь, и все те, кого мы здесь представляем. И если это так, то каждый из нас вправе считать себя представителем интересов государства и защищать их. Пока по тому или иному вопросу не принято решения большинством, каждый вправе защищать свою точку зрения. Преимущества нашей жизни в том, что интересы человека и есть интересы государства.

— Наоборот!— не очень громко, но внятно, так, что услышал весь зал, сказала Марья Васильевна.

— Согласен. И наоборот. Человек, отделяющий одно от другого, или обыватель, или бюрократ.

— Правильно. Первый — это вы,— так же негромко и внятно сказала Марья Васильевна.

— Хоп. Значит, второй вы...

В зале стало тихо. Зияханов поднялся со своего места, и слышно было, как заскрипел стул. Опытный, немало повидавший на своем веку демагог, он мгновенно оценил обстановку. Неторопливо прошел к трибуне.

— Мы все не первый год принимаем участие в совещаниях и собраниях актива. Но такого, когда вместо делового обмена мнениями уважаемые руководители просто бранятся, лично я не видел. Если между ними испорчены отношения, то при чем здесь мы? Товарищ Ачилов дошел до того, что совершенно открыто назвал секретаря обкома бюрократом. Может быть, это и верно, может быть, неверно. Но допустить подобный выпад на активе?! На каждом собрании мы становились свидетелями их распрей. Пора с этим кончать. Теперь по существу дела. Наши патриоты, наши рядовые рабочие совхозов, освоившие степь в невероятно трудных условиях, сегодня дезориентируются Ачиловым. Ачилов при посещении совхоза поддержал отсталые настроения тех, кто проявил малодушие и дезертировал или готов дезертировать из совхозов. Ачилов своей властью разрешил рабочим совхоза, бывшим дехканам из горных кишлаков, вернуться к своим садам, тем самым нанес ущерб интересам государства. По-моему, это наглядный пример того, как Ачилов понимает взаимосвязь личного и общественного.

Тут же взял слово Туляган. Он говорил так, как будто ничего не произошло. Начал с того, что коммунисты совхоза убедились — переход на самокупаемость хозяйства возможен, если в течение двух лет совхозам не будут повышать план. Привел в качестве доказательства первые выводы и рекомендации экономического совета, который был создан по предложению товарища Ачилова.

— Наша партийная организация ясно и четко представила себе объем и направление работ, после того как совхоз посетил товарищ Ачилов,— говорил Туляган.— В споре, свидетелями которого мы стали, я на стороне Ачилова. Нельзя работать для блага человека, не считаясь с этим человеком. Я глубоко убежден, что для создания целинных совхозов совсем не нужно разрушать веками сложившуюся экономику Куйкинского района. Цифры текучести рабочей силы в совхозах показывают, что за семь лет в них переменилось рабочих почти столько же, сколько было привлечено с гор. Это значит, что вполне можно было обойтись без дехкан из горных кишлаков. Наоборот, текучесть рабочей силы можно было бы остановить, создав более подходящие условия жизни, прежде всего ликвидировав гармсель — ветер пустыни.

Это посильная задача. Вот для решения ее следовало бы привлечь горных садоводов, и за эти семь лет наши совхозы стали бы зелеными оазисами. Тех, кто хочет, я могу познакомить более подробно с планом озеленения, выработанным экономическим советом. Я считаю, что товарищ Ачилов прав, ставя задачу создать совхозы рентабельными, одновременно восстановив экономику горных кишлаков. Повторяю, задачи эти реальны и посильны, если в течение двух лет оставить неизменным хозяйственный план совхозов...

Мнения тех, кто выступал в прениях, разделились: одни поддержали Арифа, другие высказались против его предложения.

После собрания Ариф-ака и Марья Васильевна пили в фойе лимонад. Назаров чуть подвинулся, чтобы освободить место у буфетной стойки.

— Провалили актив,— сказала Марья Васильевна. Она была бледной.

— Да, с точки зрения Зияханова,— кивнул Ариф-ака.

— Мне тоже кажется, что собрание прошло хорошо, интересно,— сказал Назаров, сдувая с пива пену.— Куда полезнее и лучше тех гладеньких собраний, на которых много говорят, но после которых никто ничего не делает. Не хочется делать.

Вечер был душный, а может быть, он казался таким Ариффу. На лбу у него выступили крупные капли пота. Провожая Марью Васильевну к машине, Ариф пригласил ее выпить пиалу чая.

— С ума сошел. После всего, что было, пойти к тебе пить чай? Будем лучше готовиться к бюро обкома,— устало сказала Марья Васильевна.

— Что ж. Это к лучшему, там наконец будет решен наш спор.

— Будет, будет. Слова Зияханова сегодня же дойдут до первого.

— Кто-кто, а Зияханов погрееет руки на наших распрах.

— Каким образом?

— Теперь его не так-то просто снять с работы,— сказал Ариф.

— Надо снять?

— Надо. Он ничему не научился. Партийной организации приходится преодолевать не только объективные

трудности, но и сопротивление Зияханова, не желающего сойти с проторенной бюрократической дорожки.

— А для чего это ему, для чего?— чуть ли не крикнула Марья Васильевна.

— Ты действительно не понимаешь, для чего?— недоверчиво спросил Ариф.— На бюрократическую дорожку толкаешь его ты, ты и будешь в ответе в случае чего. А дорога, по которой пошел Туляган, выбрана самостоятельно, и отвечать будет тот, кто по ней пошел, сам за себя. Зияханов больше всего боится отвечать.

— Очень болит голова,— сказала Марья Васильевна.— Прощай!— Она протянула Арифу руку и села в машину.

Слухи о партактиве распространились по области. Арифу стало известно, что первый секретарь обкома затребовал тезисы его доклада, сказав, что дальше так продолжаться не может и что придется расстаться либо с Марьей Васильевной, либо с Ачиловым.

Эти события на время приглушили тревогу за Анабиби и заставили забыть Исраилова. Но тот сам напомнил о себе, подав на Ачилова в суд. Ариф-ака узнал об этом от областного следователя, который позвонил ему в райком. Следователь просил Арифа принять его. Сообщил, что приехал выяснять обстоятельства удочерения Анабиби.

— Почему этим делом занимается область, а не район?

— Видите ли...— следователь замялся.

— Понятно. Боитесь, что я превышу свою власть? Неплохо же вы обо мне думаете.

Следователь пожал плечами, сказал:

— Для меня, товарищ Ачилов, обе стороны равны.

— Равны? Я равен ему? Он бросил умирающую жену с новорожденным ребенком. Он не появлялся все эти годы, не интересовался девочкой. Моя жена умерла, спасая ребенка... Девочка как бы вторично обрела жизнь...

— Не волнуйтесь, товарищ Ачилов. Мы выслушаем мнения обеих сторон, ознакомимся с документами...

— У меня есть один документ — моя дочь! Я ее отец. Только она вправе решить, хочет она быть моей дочерью или нет!

— Спросим, конечно, спросим... Но что может сказать ребенок, не знавший раньше своего отца? У девоч-

ки могут быть превратные представления о нем. Позвольте, я кое-что запишу...

Когда следователь, выполнив все положенные формальности, ушел, Ариф-ака схватился за голову. Не хватало только, чтобы именно теперь его сняли с работы. Первое, что пришло в голову, это позвонить Марье Васильевне и посоветоваться. Но он так и не позвонил. С трудом досидел до конца рабочего дня.

Анабиби встретила его во дворе.

— Дададжан!— крикнула она.— Тимур приехал. Посмотрите, как мы уложили ваши книги...

— Значит, Тимур приехал? А больше никто не приходил?

— Приходил, приходил... Какой-то человек приходил. Спросил, знаю ли я своего отца... Ну, того... Я сказала — нет. Потом спросил, люблю ли я вас. Я сказала — очень... Он спросил, найти ли мне того отца? Я сказала — не знаю. А если тебе найдут того отца, с кем ты захочешь жить? Что с вами, отец?— крикнула Анабиби.

— Ничего, ничего,— Ариф вытер платком вспотевший лоб.— Что ты сказала тому человеку?

— Папа, дада, папочка, что с вами? Не надо, папочка! Вы мой дада. С кем же мне жить, как не с вами...

Ариф обнимал дочь, терся щекой о ее головку, вдыхая запах ее волос.

— Вай, какие мы глупые... Ах, какие мы глупые. Забудь все, что говорил тот человек. Пойдем смотреть книги. А где Тимур? Он поправился в лагере? Ах, как вы хорошо сложили книги! Теперь, если книга понадобится, ее ни за что не найдешь.

Анабиби взвизгнула от удовольствия.

— Ариф-ака!— позвала со двора соседка.

Когда Ариф и Анабиби вышли на веранду, соседка протянула блюдо с пловом.

— Из кишлака невестка приехала, Арифджан. Плов варили. Это ваша доля.— Соседка была бабушка Армата и Тимура. Она поставила на сури завернутое в дастархан блюдо.

— Очень кстати плов, спасибо,— сказал Ариф.

Они поели, и Анабиби, видимо нахлопотавшись и наволновавшись за день, уснула тут же на сури. Ариф сидел, задумчиво курил. На соседнем дворе приехавшая из кишлака гостья говорила:

— Ваш Ярмат вылитый отец...

Чтобы не услышать невзначай того, что не предназначено для посторонних ушей, Ариф-ака ушел в дом. Слова женщины почему-то западали в память. Через некоторое время он снова вышел на веранду, присел на край сури и осторожно провел рукой по волосам спящей Анабиби, коснулся губами ее лба. Покойная мать Анабиби была всего лишь миловидной. Откуда же эта яркая красота девочки? Если Ярмат вылитый отец, то почему не могла походить на отца Анабиби? Но Ариф не мог допустить, что Анабиби похожа на этого подонка Исраилова. А если все-таки похожа и будет всегда напоминать Арифу своего отца? Нет, лучше никогда с ним не встречаться, не видеть его лица, не чувствовать себя обязанным ему за то, что есть Анабиби, горячо любимая дочь Арифа Ачилова.

Через несколько дней тот же следователь пришел в райком, задал несколько вопросов, а уходя, положил на стол конверт с повесткой в суд и попросил расписаться в ее получении. Гражданин Ачилов вызывался в областную суд в качестве ответчика.

— Многого захотели,— сказал Ариф-ака следователю и, когда тот ушел, разорвал повестку на мелкие клочки.

Прошло еще несколько дней. Никто не напоминал Арифу о суде. Время быстро бежало в повседневных заботах. А вечера Ариф проводил дома с Анабиби, Тимуром и Ярматом. В один из таких вечеров, как вы уже знаете, к сыну приехал Ачил-бува с Азимджаном. Что было в тот вечер, вы тоже знаете, а теперь узнали все, что произошло к тому моменту, когда Ариф-ака разговаривал с Марьей Васильевной по телефону.

— Это не оправдание твоей грубости,— сказал Ачил-бува.— Тебе никто не дал права говорить с секретарем обкома в таком тоне и в таких выражениях. Теперь объясни, что она сказала?

— Завтра бюро. Будут рассматривать мои грехи. Доклад по этому вопросу поручили сделать Марьям.

— Хош. Утро вечера мудренее,— сказал Ачил-бува.— Тем более, что до утра осталось не так много времени.

Спать отправились почти на рассвете. Дольше всех не мог уснуть Азимджан. Он размышлял над тем, ради

чего дядя Ариф рисковал своим благополучием. До сих пор он знал, что так бескорыстно поступают только святые. Но так как в бога Азимджан не верил, он не верил и в бескорыстие святых. А вот его дядя коммунист опрокинул все представления Азимджана о благоразумии и при этом совершенно не претендовал на роль святого. К тому времени, когда Азимджан заснул, у него распухла голова от дум.

Утром всех разбудил Тимур.

Пока Ачил-бува хлопотал с завтраком, Анабиби, Тимур и Азимджан разговаривали в кабинете Арифа.

— Дада, оказывается, Анабиби имя моей тети?— спросила, выйдя оттуда, Анабиби.— Почему вы об этом мне никогда не рассказывали?

— Неужели не рассказывал?— удивился Ариф-ака.— Значит, к слову не пришлось.

Следом появился Тимур.

— Ваш гость не знает простых вещей! Не может понять роль денег при социализме. Совсем темный человек,— мрачно изрек он и спросил, не надо ли чем-нибудь помочь. Ариф-ака послал его купить свежих лепешек.

Ачил-бува наставлял сына:

— Быть вежливым и тактичным — это не значит соглашаться с тем, к чему не лежит твоя душа. Это значит, что ты не считаешь себя всезнающей и с уважением относишься к мнению других, если даже не можешь его принять. Кричит только тот, кто неправ.

Ариф-ака попросил накормить завтраком гостей, а сам, сославшись на дела, которые необходимо сделать перед отъездом, отправился в райком.

Выйдя на улицу, Ариф-ака заглянул в почтовый ящик. В нем была повторная повестка в суд. Ариф повертел в руках зеленую бумажку. А он-то надеялся, что все кончится само собой. Не думают же они, на самом деле, что он отдаст дочь?

Никаких дел у Арифа в райкоме не было. Он вызвал машину, подписал бумаги, которые мог подписать и через день, и через два, и выехал в город пораньше, чтобы иметь в запасе часа два времени. На бюро он пришел, тщательно обдумав, как себя вести: если будут обсуждать нарушение им партийной этики, он извинится

перед Марьям и скажет, что дальнейшие разговоры на эту тему считает излишними, что вопрос должен решаться по существу его предложений, сделанных им на активе, что если эти предложения неверны и неприемлемы, значит, он не может руководить районом.

Бюро началось совсем не так, как ожидал Ариф.

Начало заседания задерживалось — опаздывал первый секретарь. Он вошел, занял место за своим столом, сказал:

— Марья Васильевна не может присутствовать. Начнем со второго вопроса. Чтобы не было кривотолков, сообщаю: у Марьи Васильевны сердечный приступ. Он случился в степном совхозе, и там она пока осталась. К ней выехали врачи...

Ариф сидел расслабленный и безучастный. Кажется, говорили о работе РТС, когда первый спросил:

— Что вы думаете, товарищ Ачилов, ваше мнение?

Ариф ответил:

— У меня нет мнения...

— Странно. Вопрос важный и должен был бы вас интересовать.

В перерыве Ариф вышел на улицу, постоял в тени акаций, снова вернулся в вестибюль. Больше всего ему хотелось повидать Марьям. Но что-то удерживало его. Он сел в машину и поехал домой. Зачем? Он и сам не знал. Беспокойство, похожее на предчувствие беды, гнало его. Дома, как назло, никого не было. Он обошел пустые комнаты. Сел на кровать Анабиби, бессмысленно уставившись в пол. Сердечные приступы бывают разные. Бывают такие, что сразу уносят человека.

Куда же все пропали, в конце концов?

Ариф-ака почувствовал себя никому не нужным, жалким, бессильным.

— Какого черта я сижу?!— громко сказал он, заставил себя встать и вышел на веранду. Тут же скрипнула калитка. Через двор шел Ачил-бува в длинной, до колен, рубахе, в запыленных сапогах. На веранде он не спеша поднял ведро воды и напился через край, утер ладонью намокшую бороду. Его спокойная неторопливость успокаивающе подействовала на Арифа. Они вошли в комнату.

— Где вы были, отец?

— Навестил Марьям...



Ариф-ака, обойдя стол, неожиданно для себя обнял отца за плечи.

— Глупыш... Весь пропах пылью,— сказал Ачил-бува.

— Как она?— спросил Ариф.

— Ей лучше, перевезли в больницу.

В глубине дома кто-то заплакал навзрыд.

— Анабиби!— Ариф-ака выбежал из комнаты. Анабиби нигде не было. Но плакала Анабиби. Ошибиться Ариф-ака не мог...

— Арифджан, поди сюда,— позвал Ачил-бува. В голосе старика было что-то такое, что заставило Арифа бегом вернуться к нему.— Эта бумага лежала на столе. Читал?

Ариф-ака взял из рук старика бумагу. Это был судебный приговор. Ариф-ака хотел сразу ухватить его суть — ничего не получилось, пришлось читать все подряд. Суд, выслушав аргументы обеих сторон, тщательно ознакомившись с документами, пришел к нижеследующему решению. Гражданин Ачилов Ариф, взяв девочку в грудном возрасте, вырастил и воспитал ее, чем проявил присущее советскому человеку благородство. Но гражданин Исраилов Мухаммадамин, являющийся ее истинным отцом, в свое время был незаконно осужден и на долгие годы лишен возможности воспитывать родившуюся в его отсутствие дочь. К этому следует добавить, что, по свидетельству педагога Шафигуллиной, которая выступила на суде как представительница школы, где учится девочка, гражданин Ачилов по роду своей работы находится в частых разъездах, что мешает нормальному воспитанию Анабиби, и девочка большую часть своего времени предоставлена самой себе. Гражданин Исраилов, ныне реабилитированный и восстановленный во всех правах, имеет семью и все условия для воспитания дочери. Принимая во внимание все вышензложенное, областная суд решил удовлетворить гражданский иск Исраилова и вернуть ему дочь...

— Анабиби!— закричал Ариф.— Где ты, Анабиби? В комнату вбежал Тимур.

— Где вы были, Ариф-ака? Мы искали вас по всему городу. Вы не пришли дважды в суд, дядя Ариф. Вы не захотели защитить Анабиби!

В это время в калитку вошли хорошо одетый мужчина и с ним красивая женщина средних лет. Калитка

осталась открытой, и видны были часть улицы и стоящее на той стороне такси. Мужчина и женщина постояли в нерешительности и пошли к веранде.

Мужчина переступил порог комнаты, поздоровался, неторопливо достал из внутреннего кармана толстый бумажник и из бумажника извлек лист бумаги, точно такой же, какой перед этим читал Ариф. Ариф-ака очень бы хотел найти в лице мужчины черты, которые бы свидетельствовали о его порочности, но мужчина выглядел безукоризненно. И женщина рядом с ним тоже казалась вполне интеллигентной.

— Я приехал за своей дочерью,— сказал мужчина.

В комнату ворвалась Анабиби, бледная, с заплаканными глазами. Лицо ее в потеках слез было грязным, в руке она держала узелок, который бросила к ногам Арифа. Она выбежала, хлопнув дверью с такой силой, что с антресолей слетел чемодан и из него посыпались елочные игрушки.

Ариф-ака не помнил, как дошел до калитки. Исраилов что-то говорил ему, кажется, благодарил за воспитание дочери и выражал надежду, что он и Ачиллов останутся друзьями. Анабиби перебежала дорогу и, с силой рванув дверь, села в такси. За ней неторопливо уселись Исраилов с женой. Тимур, как забытая хозяевами собака, бегал вокруг такси. Машина тронулась.

Ариф-ака вошел в комнату. Под ногами захрустели игрушки. Прежде Ариф-ака забрасывал подальше невзначай найденное стекло, чтобы об него не обрезалась Анабиби. Теперь он прошел по стеклу, поднял брошенный узелок. В нем были новое платье Анабиби, купленное неделю назад, и с детства любимая кукла.

— Отец!— крикнул Ариф и прислушался.

Ачил-бува ходил по двору. Он не пошел на зов сына: что он мог ему сейчас сказать? Через некоторое время Ариф снова позвал:

— Отец!

Ачил-бува неторопливо поднялся на веранду, остановился в дверях, заложив за пояс большие пальцы рук, и смотрел на сына.

— О чем ты говорил с Марьям?

— О ее здоровье. О чем еще можно говорить с больным человеком? Она просила передать тебе это пись-

мо.— Ачил-бува вынул из-за поясного платка письмо и отдал его Ариффу.

Ариф-ака бросил конверт на стол, не распечатав. Ачил-бува потихоньку вышел во двор, прошел в другой конец по дорожке, увитой виноградом, как по коридору, осматривал тугие розоватые гроздья. Виноград был хорош — никаких признаков тли. Недаром Ариф повозился с ним весной. Ачил-бува повернул обратно к веранде. Сквозь виноградные листья пятнами пробивалось солнце. Вдруг Ачил-бува ускорил шаг, чувствуя, как у него на голове зашевелились волосы.

— Отец! Ха-ха-ха! Вай, отец!

Ариф-ака хохотал, лежа на маленькой кровати Анабиби. Одной рукой он прикрывал глаза, в другой держал письмо.

— Вай, глупышка! Ну, глупышка! Помните, отец, как она хлопнула дверью? А как швырнула мне узелок! Ну, глупышка!.. Что вы смотрите на меня, отец! Думаете, сошел с ума? Возьмите, читайте!

«Я узнала о твоём деле в облсуде,— читал Ачил-бува письмо Марьи Васильевны.— Мне приготовили справку об Израилове, но я не успела ее тебе передать. Суть ее вкратце в следующем: Израилов аферист, неоднократно осужденный за спекуляцию. Документы, представленные им в суд, фальшивые. Этим сейчас занимаются соответствующие органы... Он отсидел в общей сложности двенадцать лет. Совсем недавно совершил новую аферу — дело по ней только начато. Очень жалею, что не поставила тебя в известность сразу, надеялась все рассказать при личной встрече, но, к сожалению, встреча эта откладывается на неопределенное время. Когда выйду из больницы, не знаю. С приветом М.»

— Вай, глупышка эдакая! Как хлопнула дверью, а?— говорил Ариф-ака. Он достал в нише казан, высыпал на стол рис и стал его перебирать.— Порох! Без спички взорвалась!— Ариф-ака перехватил взгляд отца, сказал:— Нехорошо радоваться тому, что кто-то оказался подлецом, отец? Но разве я этому радуюсь, отец? Я просто радуюсь, а чему, сам не знаю.

Во двор вошел Тимур.

— Вот он знает причину моей радости, Тимур-философ! Тимур-ака все знает. Тимур, живо разводи огонь, будем варить плов.

Не понимая, что произошло, но видя, как радуется дядя Ариф, Тимур кинулся в сарай за щепками саксаула. Во дворе неведомо откуда появился Азимджан в своем шелковом халате.

— Азимджан, добеги на угол до магазина, купи тмину.

— Будет исполнено, дядя. А то самое? Как у вас говорят, чекушку?

— Молодец, племянник! Здорово соображаешь! Обязательно носи, что за веселье без чекушки?.. Обиделась, маленькая моя, правильно обиделась...

Ариф-ака с кочергой в руке орудовал в очаге. Сладковатый дымок саксаула потянулся через дувал, оповещая соседей и улицу, что у Арифа-райкома варится плов.

— Ай, глупышка, ну, глупышка,— сказал Ариф-ака и в раскаленное сало бросил лук.

В плове, который варил Ариф-ака, были и радость и грусть. Радость оттого, что вернется Анабиби, и грусть прощания Азимджана с дядей. На этом и кончается повесть о кишлаке Шивилган, повесть о красоте человеческой души, о сокровищах, смысл которых в человеческой радости.

Рано поутру к дому Арифа подъехала машина, чтобы отвезти Ачила-буву с внуком на аэродром.

Азимджан смотрел на дядю, точно хотел запомнить его на всю жизнь.

— Если не суждено больше свидеться, будь здоров, племянник! Возвращайся благополучно в свою страну, и да будет светлой твоя судьба,— сказал Ариф.

Ачил-бува заметил слезы в глазах внука, крепко хлопнул его по плечу.

— Теперь мы поедem к Камиле,— сказал он.— Потом завернем к Акбарали. Я не был у него давненько. Он у меня вырос без отца, а мама его совсем слабенькая. Почему бы и тебе не навестить его в ближайшее время?— спросил Ачил-бува Арифа.

— Ты прав, отец, надо навестить. Обязательно навещу, а пока передай Акбарали, как говорят, премного теплый и многократный салам,— сказал Ариф.

Машина, оставляя в пыли следы новых шин, выеха-

ла с широкой улицы районного центра на полевою доро-  
гу. Еще не высохла роса, а ветер вдаль взвихрил и по-  
гнал в степь столбы пыли. Они стремительно пронеслись  
по горизонту и рассеялись. По всей долине лежали из-  
древле обрабатываемые под хлопок поля. Зеленые кусты  
хлопчатника достигали подножия далеких гор. В этом  
зеленом море перламутром сверкали треснувшие коро-  
бочки.

Безлюдные в период созревания хлопка поля ожили,  
начиналась предуборочная страда. Миновали хирман<sup>1</sup>,  
на котором под гром запущенного на полную мощь ди-  
намика парни трамбовали площадку, а чуть поодаль в  
тени полевого стана девушки гляделись в зеркало, кра-  
сили брови. Машина промчалась, и позади остались гром  
динамика, босые, точно пляшущие парни, веселые де-  
вушки, махающие вслед платками... В стороне от доро-  
ги низко пролетел самолет, и за ним тянулся белый  
шлейф химикатов. Ядовитая пыль медленно оседала на  
хлопчатник, а через день опыленные кусты сбросят  
листья, которые мешают уборке.

Рябоватый шофер, уроженец этой долины, влюблен-  
ный в свою степь не меньше, чем Эргаш в горы, гнал ма-  
шину с ветерком.

Азимджан несколько раз переспросил:

— Как, как вы сказали?

— С ветерком. Когда едешь быстро, мы говорим, с  
ветерком,— охотно пояснил шофер. Ему было любопыт-  
но разговаривать с капиталистом и хотелось, чтобы  
Азимджану понравилась степь.

— Сейчас ни то ни се,— говорил он.— А вот через  
недельку...

Осень — самая прекрасная пора в Узбекистане. В Рос-  
сии говорят «золотая осень», имея в виду «в багрец и  
золото одетые леса». Такая осень стоит в Узбекистане в  
горных лесах, в садах и парках, а здесь, в степи, осень  
белая, как первый выпавший снег. Ее тоже зовут зо-  
лотой, потому что хлопок — «белое золото». Это все  
пояснил гостю шофер.

— Листья осыплются,— говорил шофер.— А коро-  
бочки раскроются. И если мы проедем по этим местам

---

<sup>1</sup> Место, куда свозят с полей хлопок.

дня через три, все вокруг будет покрыто белой пеной, снежные горы заблестят на хирманах. На ветвях тутовника, на телеграфных проводах повиснут хлопья ваты, по дорогам помчатся автопоезда с хлопком, похожим на белые облака, и над улицей полетит серебряная пәутина...

Рябоватый парень знал, что Азимджан вряд ли возвратится в эти места, и он очень старался помочь заграничному гостю увидеть их такими, какими видел сам в осенние недели хлопкового изобилия.

Чем холоднее ночи, тем громче раскрываются коробочки. Карты<sup>1</sup>, подчистую убранные накануне, к утру снова белым-белы. А там подступает поздняя осень, и хаузы за полевыми станами наполняются прозрачной водой, и по воде плывут листья карагача... Когда настанет эта пора, соберите зерна «петушиных гребешков», что растут тут же на берегах, высыпьте их в клетку с тыквенным дном, и ох как запоет на рассвете куцехвостая перепелка. К утру в шалашах тяжелеют от росы одеяла, по всей бахче потрескивают дыни-босволди, и хорошо пробежать в это время босыми ногами по мягкой земле и, подсев к треснувшей дыне, разломить ее и впиться зубами в холодную мяготь, хранящую сладость солнца и свежесть этого неповторимого утра.

Шофер, рассказывая, причмокивал от наслаждения, предвкушая близость этих благодатных дней. Азимджан смеялся и тоже цокал языком.

— Замолчите, или я нкуда отсюда не уеду,— заявил он.

— Вы едете с бувой! Вас ожидает впереди очень много диковинного,— сказал шофер.

В аэропорту Азимджан с большим сожалением пожал пареньку руку. Он успел заметить, что в этой стране самая для него неприятная вещь — расставание. Всякий раз что-то обрывается в душе, как вот сейчас, когда, повернувшись, уходит паренек, с нарочитой беззаботностью покручивая на пальце ключи от машины. Женщины и мужчины, молодые с рюкзаками и старые с хурджунами, все здороваются, прощаются, целуются. Азимджан в жизни не видел, чтоб у людей было столь-

---

<sup>1</sup> Хлопковые поля разбиты на участки, которые называют картами.

ко родственников. Мимо них прошли стюардессы, направляясь на летное поле. С узкими бровями, накрашенными ресницами, в коротких платьях из маргиланского атласа, они, точно Фатима и Зухра, сошли на эту землю со страниц книги.

Азимджана всегда поражали просторы: простор летного поля, необъятное небо. Под темнеющим небом, над белыми сугробами облаков — все вечное, как мир. И бува рядом с Азимджаном в мягком удобном кресле тоже кажется древним и вечным, и это на какое-то мгновение отдаляет от него Азимджана. Но когда он приглядывается к белым насупленным бровям бувы, его дубленому лицу в глубоких морщинах, мимолетное ощущение отчужденности исчезает. В глазах бувы те же земные тревоги, радости, волнения, и от этого Азимджан испытывает прилив нежности к старику.

Они пообедали перед самой посадкой. Едва выпили чай из пластмассовых пиал, как внизу открылась широкая бетонированная полоса. Самолет коснулся земли, как бы соединив воедино землю и небо.

Переезд из аэропорта в город, устройство в гостинице заняли остаток дня. Когда Азимджан вышел на балкон своего номера, был уже вечер. Против театра шуршали фонтаны, и в россыпях водяных брызг радужными цветами отражались уличные огни, а на скамьях вокруг цветников не было ни одного свободного места... С высоты пятого этажа видны были отблески неоновых реклам и множество по-вечернему праздных людей на площадях и улицах. Снизу доносился слитый гул голосов, смех. Шум огромного города после тишины районного центра — и все в один день. Азимджан думал, что делает его дядя. Странно, еще совсем недавно неизвестный ему человек уже вошел в его жизнь. Азимджан думал, как сложится его судьба. Вернется ли к дяде дочь? Останется ли он на работе? Как это ни покажется удивительным, но дела дяди волновали Азимджана.

— Мальчик мой, иди пить чай, — позвал из комнаты Ачил-бува.

Чай с лепешками был необыкновенно вкусным.

— Я так и не смог понять, друг или враг дяде Арифу эта русская женщина? — спросил Азимджан.

Ачил-бува рассмеялся и огладил бороду.

— Марьям?— спросил старик.— Она и твой дядя никогда, ни при каких обстоятельствах не могут стать врагами, малыш. Меня не удивит, если Марьям станет матерью Анабиби...

— Матерью Анабиби, значит, женой дяди Арифа?— спросил Азимджан.

— Ты правильно понял, сынок...

Азимджан остановился в открытых дверях балкона. Теплый ветер доносил снизу, как шум прибоя, людской говор, чуть шевелил легкую прозрачную занавеску.

— О чем ты думаешь, малыш?

— О дяде Арифе и этой женщине.

— Тебе трудно их понять?

— Трудно, бува.

— Они служат одному делу, которое для них выше собственного благополучия. А родство человеческих душ выше любого другого родства. Чтобы тебе было легче понять, послушай одну историю...

#### РАССКАЗ ОБ АЧИЛЕ-КУЗНЕЦЕ, ХАЙБОЛЕ И РУССКОЙ ДЕВОЧКЕ КИЗИМКЕ

На городской площади было тихо, как на кладбище. А людей много. Так много, что яблоку негде упасть. Изредка в гулкой тишине гремел одиночный выстрел, и эхо от него прокатывалось из одного края площади в другой. Площадь казалась вымощенной огромными камнями, но это не камни, а человеческие спины, согнутые и плотно пригнанные друг к другу, в тряпье и голые, худые и полные, горбатые и прямые — спины шести тысяч людей. Лиц не видно. Людям приказано стоять на коленях, пригнув головы к земле. Тот, кто поднимал голову, получал пулю. Каждый выстрел, который перекатывался через площадь, уносил человеческую жизнь. Шесть тысяч опущенных голов — это все, что сохранилось от населения мятежного города, разрушенного пушками. Большинство оставшихся в живых — женщины, дети, старики и совсем немного взрослых мужчин. Площадь, на которую их согнали, называется по-узбекски Каппонсахни, что значит Мучной ряд. Среди согнутых спин, там и сям стоят солдаты с ружьями с прижатыми штыка-



ми Это карательный отряд, присланный для подавления восстания. Солончаковая земля зимой и осенью сочится подпочвенной влагой. Летом площадь просыхала, и на ней солдаты из крепости стреляли по мишеням, кололи чучела, а праздные жители от нечего делать глазели с дувалов<sup>1</sup>, окружавших площадь.

Сейчас отряд солдат стоял у подножия холма. Командир — коренастый офицер с жесткими усами и в шегольском мундире на ладной фигуре — потирал руки в белых перчатках. Солдаты и он продрогли на сыром ветру.

Время от времени офицер командует:

— На месте бего-ом марш!

Жители Джизака хорошо знают этого офицера, его прозвали Жесткие Усы. Но дело, конечно, не в усах, а в жестокости офицера. Говорят, офицер зарубил топором собственную жену. В крепости на холме командир карательного отряда советуется со старым генералом, как поступить с теми, кто на площади. А Жесткие Усы поглядывает по сторонам красными от водки глазами, ждет, не поднимет ли кто-нибудь голову. Была бы его воля, он расстрелял бы всех.

Сверху все кажется неподвижным и мертвым. А внизу, скрытая спинами, теплится жизнь, слышится шепот.

— Город сровняли с землей, Мадумар, — сказал Ачил-кузнец своему соседу гончару. У Мадумара-гончара зоб, он мешал сгибать шею и сильно болел. Но думал гончар не о себе, а о единственном сыне, который стоял рядом с ним.

— Не поднимай головы, — то и дело шепчет он и на всякий случай не выпускает из рук косичку сына, притягивая его голову к земле. Мальчику уже исполнилось пятнадцать лет, и по шарияту косичку пора было отрезать. Но только в этом году гончар скопил нужные для обряда деньги и собирался совершить паломничество к Шахи-Зинда. — Не поднимай головы! — шепчет Мадумар сыну. — Увидишь лицо уруса, и тебя поразит проказа.

Гончарный ряд в городе рядом с кузнечным. Мадумар с большим уважением относится к искусным мастерам. Об Ачиле-кузнеце он говорил, что тот сродни самому Давуту — покровителю кузнецов. И если бы не

---

<sup>1</sup> Ду в а л — глинобитный забор.

слепая ненависть Мадумара к русским, Ачил-кузнец дружил бы с ним.

Кто-то горько шутит:

— Привалило работки ангелу смерти Азраилу...

Кто-то говорит:

— К полночи всех перестреляют...

— Стольких не перестреляешь,— возражают ему.

— Пусть сначала уберут трупы на улицах.

— Они сейчас ищут главарей.

— За что я мучаюсь?— спрашивает какой-то старик.— Все мои сыновья взяты мардикорами<sup>1</sup>. Я даже на улицу не выходил.

— Замолчи. Бороду отрастил — ума не нажил. Тут тысячи, а он о себе думает...

Над площадью прогремел выстрел. Все стикло, а через минуту снова шепот:

— Не поднимай головы!

Ачил-кузнец незаметно поглаживает поясницу своего десятилетнего, такого же, как он, выносливого сына. Мальчик все понимает и молчит. Ачил-кузнец думает, что так не может кончиться восстание, что слишком много пролито крови и что такого еще не бывало на узбекской земле.

А Мадумар знай шепчет:

— Не поднимай головы...

Наступил вечер. Похолодало, взошла луна. Солдаты и казаки грелись у разведенных костров. Жесткие Усы, позванивая шпорами, выбивает ногами дробь. Неподалеку лицом в землю уткнулась умершая старуха в парандже, и муж ее, шевеля бескровными губами, читал молитву. В полночь пуля ударила в висок сына Мадумара. Мальчик не выдержал напряжения, поднял голову и в упор посмотрел в лицо стоявшему неподалеку солдату. Ачил-кузнец крепко нажал на плечи Мадумара, готового вскочить и кинуться на солдата. Мадумар неожиданно смирился и не шелохнулся до рассвета.

На рассвете из крепостных ворот вышли офицеры в золотых погонах. Они одновременно выстрелили вверх из револьверов, после чего забили барабаны и офицер в очках прочитал приказ.

---

<sup>1</sup> Узбеки, взятые на тыловые работы в первую мировую войну.

Именем его величества белого царя, несмотря на тяжчайшее преступление против его престола, восставшим сохраняется жизнь. Но чтобы в будущем не допустить подобные мятежи, уцелевшее население изгоняется в степь, и ни один город, ни один кишлак под страхом полного уничтожения не имеет права приютить изгнанников...

Площадь зашевелилась. Люди подняли головы с красными от прилива крови глазами. Многие не могли разогнуть занемевшие спины и стонали от боли. Даже те, кому удалось встать на ноги, качались и не могли сделать ни одного шага. Поднять тела мертвых не разрешили. Мадумар срезал косичку сына и положил ее за пазуху.

На рассвете людей выгнали из города. Ачил-кузнец никого не узнавал, так изменились за ночь лица. Шли, окутанные удушливой пылью, и слышны были свист казачьих нагаек, ругань и окрики конвойных. Ачил-кузнец шел, крепко сжимая руку сына, то и дело спрашивая проходивших мимо:

— Где Мадумар-гончар? Никто не видел Мадумара?

Но ему не отвечали. То ли оглохли от пыли, забившейся в уши, то ли никому не было дела до другого.

В утренней панике во время сборов в дорогу кое-кто успел сбежать, кое-кого расстреляли. Ходил также слух, что толпу на площади разделили на несколько частей. Наверно, поэтому с Ачилом-кузнецом шло намного меньше людей, чем было вчера на площади.

Чем выше поднималось солнце, тем труднее было идти без воды и пищи по сухой и голой, растрескавшейся земле. Старые женщины, путаясь в парандже, едва брели, дети плакали от голода и жажды. Кое-кто, обессилив, падал. Мужчины поднимали их и вели, поддерживая под руки.

Казачьи, их было восемь, все меньше обращали внимания на пленников. Они, сняв рубашки, покачивались в седлах, подставляя солнцу волосатые спины. Им нечего было опасаться — эта обессиленная толпа уже не способна была ни на какое сопротивление. Ближе к вечеру казаки съехались в кучу и остановились, предоставив несчастным двигаться дальше одним.

Мадумар, — он шел до этого впереди — поравнялся с Ачилом.

— Ускакали, — сказал он, глядя назад.

Черные точки верховых скрылись за пыльным горизонтом. Странно, но после того, как ускакали казаки, люди почувствовали себя обреченными.

К ночи одолели небольшой привал и спустились вниз. Голодные, измученные, повалились спать. А утром старики узнали это страшное место. По толпе поползло:

— Мирзачуль — Великая пустыня.

Нужда делает человека деятельным. Стали собирать по утрам росу. Выкопали колодцы и пили солоноватую воду, смешанную с песком. Ходили за десятки верст к подножию холмов, подбирали на сжатых полях оброненные колосья пшеницы. Ночи были холодные, дни теплые. Ачил и Мадумар велели людям рыть землянки. Оба они были самыми сильными и потому стали во главе. Быт постепенно налаживался: женщины приносили для очагов траву и саксаул, старики плели циновки из камыша, дети с утра брели за колосьями.

Сын Ачила-кузнеца каждый вечер возвращался, едва волоча окровавленные ноги, и всякий раз за пазухой у него было все меньше и меньше колосков. А однажды сын не принес ничего. Рыдая, мальчик упал на циновку. Ачил предвидел такой конец и припас репу. Он сварил ее и накормил сына.

Почти каждую ночь кто-нибудь умирал. У живых не хватало сил хоронить мертвецов, и они лежали в землянках и не пахли, настолько тела их высохли при жизни. О каждом умершем говорили почти с завистью:

— Отмучился...

По вечерам зажигали общий костер и сидели вокруг.

Кто-то сказал:

— Неужели не вспомнят о нас? Были ведь и у нас друзья.

— Может быть, смилостивится царь или его наместник?

— Надо уходить отсюда — близко зима.

— Куда?

— Туда, где живут люди...

— А что будет с ними? Их же казнят из-за нас...

— Даже о прокаженных заботятся.

Такие разговоры возникали каждый вечер. Однажды из камышей вышел какой-то человек.

— Да это же дивона<sup>1</sup>. Как он сюда попал?

Это действительно был городской юродивый, хромой и горбатый, без возраста человек. Он, как всегда, мурлыкал по-русски песенку: «Маруса холера, много околе-ла», коверкая при этом незнакомые слова чужого для него языка. За руку юродивого держалась русская девочка. Она осмотрела лица сидевших у костра и, когда увидела сына Ачйла-кузнеца, подбежала к нему:

— Хайбола!<sup>2</sup> Хайбола! Я думала, не найду тебя.

— Кизимка?<sup>3</sup>— удивился мальчик.

— Я, конечно, я...— Девочка быстро скинула мешок, привязанный за спиной, в нем оказалась еда. Такой же мешок был на горбатой спине юродивого.

Так русская девочка разыскала попавшего в беду товарища своих игр, сына кузнеца Хайболу.

— Хорошо, что пришла. Ай, как хорошо, что пришла. Алмат-новча и Мукамбар-хола совсем умирают,— Хайбола назвал двух знакомых, которые уже не выходили из землянок.

Расшвыряв ослабевших людей, к костру прорвался Мадумар.

— Это же дочь Жестких Усов!— крикнул он, и глаза его горели.— Дайте мне ее, дайте мне ее!— Он схватил цепкими пальцами плечо девочки. Его зоб посинел и надулся от ненависти. Ачыл-кузнец вырвал у него ребенка.

— Мадумар, опомнись!— крикнул он.

Мадумар, казалось, ничего не слышал. Он крался к девочке, не спуская с нее безумевших глаз.

— Опомнись, Мадумар!— снова крикнул кузнец. И тогда несколько рук схватили и удержали Мадумара.

— Чем виноват ребенок, Мадумар?— спросил Ачыл, когда гончар немного пришел в себя.

— А в чем провинился мой сын?

— Ты хочешь уподобиться ее отцу?

— Ты защищаешь эту тварь, потому что она пришла к твоему сыну. Ты чужой среди нас.

<sup>1</sup> Д и в о н а — одержимый, юродивый.

<sup>2</sup> Мальчик.

<sup>3</sup> Девочка.

Ачил-кузнец действительно приехал в Джизак за шесть лет до восстания, но приехал не мешать джизакцам, а помогать им.

— Забудь свои негодные слова, Мадумар. Разве не разделил Ачил с нами нашу судьбу?— закричали вокруг.

Ачил, взяв за руки сына и девочку, увел их в землянку. Пищу, которую принесла она и юродивый, разделил поровну между всеми.

Хайбола уступил девочке свою постель, а сам лег с отцом.

Кизимка быстро уснула и всхлипывала во сне. А девочка она была смелая. Когда под крепостной стеной играли в ушки-дерушки, она кидалась в кулачные потасовки, а потом гордо носила полученные в честном бою синяки. В стрельбе из рогатки она уступала только Хайболе, а в беге ей не было равных. Как-то раз Хайбола и Кизимка обменялись кошками. Кошки пожили немного у новых хозяев и вернулись — каждая к себе домой. Но новые хозяева им также пришлись по душе, поэтому кошки ходили от Хайболы к Кизимке и от Кизимки к Хайболе. Мальчик и девочка пользовались этим, чтобы посылать подарки друг другу. Хайбола отправлял со своей кошкой рогатку, а Кизимка в ответ пабрикон пряник — фабричные пряники. С тех пор Хайбола очень их любил. К сожалению, из всех принесенных сегодня пряников Хайболе достался только один.

Утром Ачил сказал Кизимке:

— Теперь ты должна вернуться.

— А разве мне нельзя остаться?

— Нет, нельзя. Нам будет очень плохо, если твой отец найдет тебя здесь.

— Пусть тогда со мной идет Хайбола.

— Хайбола не может уйти с тобой. Ему нельзя жить в Джизаке.

У входа в землянку собрались все, кто мог ходить. Ачил-кузнец говорил Кизимке:

— Тебя проводят до перевала. Дальше пойдешь на трубу кирпичного завода и ночью войдешь в город. Знаешь церковь на Бешкуваре?

— Конечно, знаю.

— А звонаря Матвея знаешь?

— Дядю Матвея? Знаю.

— Звонарь! Урус!— закричал Мадумар.— Вы слы-

шите, правоверные, Ачил-кузнец зачем-то посылает змееныша к урусам. Почему ты веришь им, Ачил?

Кто-то не выдержал, крикнул:

— Замолчи, зобатый! Кто нам сейчас может помочь, кроме русских? Все боятся к нам подойти, будто мы прокляженные.

Ачил-кузнец, не слушая, продолжал говорить:

— Скажешь звонарю: дядя Матвей, Ачил-кузнец просил передать — люди голодные, воды нет, скажешь, что умерло больше ста человек. Остальным тоже грозит смерть. Поняла?

Девочка кивнула головой. Те, кто толпился вокруг землянки, молчали. Молчаливо и почтительно пропустили они девочку, а женщины закричали ей вслед:

— Пусть легким будет твой путь. Да хранит тебя аллах...

Хайбола сунул девочке в руку яблоко, которое досталось ему вчера при дележе.

— Если ты не хочешь, чтобы мы все погибли, в том числе и Хайбола, ничего не говори своему отцу. Главное, он не должен знать, что ты будешь говорить с дядей Матвеем... — продолжал Ачил.

Когда Ачил с сыном и Кизимка ушли вперед и те, кто шел сзади, не мог их слышать, Ачил сказал:

— Скажешь звонарю, только ему: вам, дядя Матвей, нужно побывать в бане Ерофея. Ну, знаешь хромого Ерофея, он живет в Каменной махалле.

— В переулке?

— Умница. Все знаешь. Скажи звонарю, чтобы он обязательно зашел к Ерофею, обязательно в баню...

Девочка и юродивый ушли. Все, кто помоложе, косили камыш, постарше цедили из мокрой земли воду, только Мадумар и те, кто был вокруг него, ничего не делали. Они продолжали ворчать на Ачила-кузнеца, а когда тот прошел невзначай мимо них, Мадумар сказал:

— А если змееныш наведет казаков?.. Тяжкий грех берешь на душу, Ачил! Имей в виду, если увидим завтра конных, сразу же возьмем тебя за горло.

— Бык, которого должны зарезать, не боится топора, — ответил Ачил. — Братья, я сделал все, что мог, для нашего спасения. Нам осталось ждать.

Но ждать пришлось три дня. Только на четвертую ночь Мадумар поднял спящих. Со стороны пустыни при-

ближались огни. Какие-то люди шли с факелами, но почему со стороны пустыни? Кто-то, наученный Мадумаром, схватил Ачила за руки и завел их назад. Ачил не стал сопротивляться. Уже были видны дымки над факелами и причудливо освещенные фигуры пешеходов.

— Эй, джизакские!— Это крикнул оттуда по-русски один из пришедших.— Есть кто-нибудь живой?

Ачил приказал зажечь костер. Несколько человек по-прежнему держали его за руки. К костру стали подходить бородатые мужики с мешками. Они сбрасывали мешки на землю, тушили факелы.

— Кто из вас Ачил?

— Я.— Ачил легко оттолкнул от себя тех, кто держал его за руки.

— Здорово,— сказал рослый мужик.— Мы из хутора Балашовка. Нам до рассвета надо успеть вернуться... Вот тут в мешках сало, сухари, соль, лук, джида. А теперь прощайте!

Мужики повернулись и ушли.

— Стой, товарищ! Прими наш рахмат, наше спасибо,— говорил Ачил, идя за ними вместе с высыпавшими из землянок людьми.— Скажите, кого нам благодарить?

— Такое нам было поручение. А от кого, не знаем. Мы тоже прибыли в эти места ссыльными лет двадцать назад,— сказал старший, после чего они ушли за черту света и исчезли в ночи.

А утром к землянкам изгнанников все же прискакали казаки. Они застали людей врасплох, и Мадумар успел только крикнуть:

— Продал нас, продал!..

Но вели себя казаки как-то странно. Они тоже спросили Ачила. А когда тот вышел к ним, казачий урядник сказал, что он и его отряд из Самаркандского гарнизона, что Самаркандский комитет партии большевиков приказал им проводить изгнанников до Хаваса, а там передать железнодорожникам.

До Хаваса шли два дня в сопровождении казаков. Когда проходили русские селения, жители говорили:

— Казаки, гонят джизакских в Сибирь.

В Мирзачуле оставили у ссыльных больных и на второй день к вечеру пришли на железнодорожную станцию.



Огни реклам над городом погасли. На площади опали и потухли фонтаны. Азимджан как замороженный сидел на балконе.

— Ачил-кузнец — это были вы, бува! Хайбола — дядя Ариф, а Кизимка...

— Ты правильно понял рассказ, мой мальчик: Кизимка и есть Марьям. Теперь, наверное, и ты понимаешь, что Ариф и Марьям никогда не станут врагами...

Утром, после завтрака, Ачил-бува сказал:

— Мне надо побывать в Центральном Комитете. Тебе тоже будет интересно...

— Что такое Центральный Комитет? — спросил Азимджан.

— Если сказать коротко — это мозг и сердце нашей республики...

Вызвали такси. На вопрос шофера, куда ехать, Ачил-бува назвал всего две буквы «ЦК», и этого оказалось достаточно. Быстро доехали до трехэтажного голубого дома на тенистой улице, обсаженной старыми тополями и карагачем.

— Я Ачил-бува, а это мой внук, — сказал бобо молоденькому милиционеру в вестибюле. И по тому, как милиционер с готовностью ответил:

— Хоп, хоп, пожалуйста, Ачил-бува, — Азимджан решил, что все-таки его дед человек очень значительный.

Милиционер не только разрешил им пройти, но сам проводил Ачила-буву и Азимджана на третий этаж. Они вошли в очень большую светлую комнату — приемную секретаря. Их встретила красивая молоденькая девушка. Таких девушек много работало в ЦК, и потому Ачил-бува не мог упомянуть их имена и называл всех внучками.

— Доложи секретарю, внучка, что к нему зашел Ачил-бува, — сказал бобо.

Девушка сказала, что секретарь занят, — готовится к собранию на заводе, но тут же позвонила кому-то по телефону.

— Подождите немного, — сказала она, вешая трубку. А через минут пять зазвонил телефон у нее на столе, и девушка почтительно несколько раз повторила: — Поняла. Хорошо, хорошо... Секретарь вас примет перед собранием, — сказала она Ачилу-буве, положив трубку.

Секретарь принял их в кабинете — в большой комнате было много солнца. Ачилу-буве не понравилось, как выглядел секретарь, и старик тут же озабоченно спросил о его здоровье.

— Сердце пошаливает,— сказал секретарь.

— Надо, чтобы посмотрела моя Умида,— сказал Ачил.— Девочка стала хорошим доктором.

— А это ваш заграничный внук, Ачил-бува?— спросил секретарь, здороваясь с Азимджаном.— Насовсем приехал?

— Нет. Приехал повидаться. Вот вожу его, знакомлю с родственниками.— Ачил-бува сел в удобное кресло, положив рядом хурджун.— Я зашел к тебе, брат, по делу Арифа...

— Догадываюсь,— сказал секретарь.

— Пустили слух, что не сможет работать вместе с Марьям. И в обкоме, кажется, с этим согласились. Это ошибка. Подскажи, брат, кому следует, чтобы их не трогали. Ты же знаешь их обоих...

— Не так хорошо, как вы, бува. С предложениями Арифа Ачилова я познакомился. Они кажутся очень интересными.

— Марьям и Ариф должны работать вместе,— сказал Ачил-бува.

— Вы зря не станете просить, бобо. Я вас хорошо знаю. Что ж, посоветуемся с обкомом.

— Вот об этом я и хотел просить. Спасибо, что принял. Мы пойдем, чтобы не задерживать собрание.

— Куда вы теперь, бобо?

— В аэропорт. В Ходжейли живет моя внучка Камила. Давно у нее не был, пора навестить...

Прощаясь, Ачил-бува и секретарь обнялись, попробовали сдвинуть друг друга с места.

— Мне перед вами не устоять. В ваших руках сила пяти джигитов, а стан ваш строен, как чинара, Ачил-бува,— сказал секретарь, тяжело дыша.

— Нет, брат, нет... О, где мои девяносто лет!

Все трое захохотали.

На пороге Ачил-бува остановился, сказал:

— Умиду обязательно пришлю. Из нее вышел очень большой доктор.

— Да, чуть не забыл,— сказал секретарь,— скажите Арифджану, по его предложению Верховный Совет

рассматривает вопрос о восстановлении Куйкинского района.

В аэропорту они прямо у жаровни съели по шампуру шашлыка и через полчаса вылетели в Нукус.

Азимджан вместе с родственной любовью испытывал к деду необыкновенную почтительность.

— Бува, можно приравнять секретаря к шаху? — спросил Азимджан.

— Нет!

— А к главному визирю?

Бобо привык к наивным вопросам внука, но все равно с трудом сдерживал смех.

— Нет, нельзя, — сказал он.

— Кто же у вас самый главный, самый большой?

— Тот, кто мудрее и справедливее.

— А секретарь?

— Секретарь — очень большой человек. Но не потому, что он секретарь, а потому, что он мудр и справедлив, его избрали секретарем.

— Если так, то и дядя Ариф большой человек?

— Нет. Дядя Ариф всего лишь хороший человек.

— Что значит хороший человек?

— Это значит прежде всего добрый человек, любящий детей и красоту.

Этот разговор деда и внука не имеет прямого отношения к внучке Ачила Камиле. Но мы не властны запрещать им разговаривать о том, о чем они хотят. Пусть себе говорят. Мы встретимся с ними у Камилы, а пока они летят к ней, послушаем, что говорит легенда о Стране любви...

## ЛЕГЕНДА О СТРАНЕ ЛЮБВИ

Где эта страна? Слушайте и знайте, она везде, где два человеческих сердца любят друг друга. Какая она? Самая разная, такая, как те, кто в ней живет. Где проходят ее границы? Она не имеет границ, но жить в ней могут только влюбленные. Он и Она любили друг друга. Он был царевичем, а Она царицей в Стране любви. И у них был верный страж, который стоял у врат их страны. Не слишком ли много для двух сердец целая страна? Нет, страна эта не велика

**и не мала. Она такая, в какой может поместиться любовь. Любовь Его и Ее была очень большой.**

Слушайте и знайте, верный страж стоял у врат их любви. Однажды лихой удалец появился перед стражем и заявил:

— Хочу видеть царевну!

— Нет!— ответил страж.

— Почему?

— Она не для тебя.

— Но если она не для такого молодца, как я, то для кого же она?

— Для того, кого избрало ее сердце.

— Но я принес ей целый мир в своем сердце.

— Не пушу!

Страж не пустил молодца. Но перед воротами, едва ушел он, появилась женщина с глазами, полными любви и в то же время тоскующими и страдающими.

— Куда?— спросил страж.

— К ним! Я мать их. Они нуждаются в моей любви,— ответила женщина.

— Тебе так только кажется.

— Но это жестоко,— сказала женщина.

— Ты была такой же в своей стране,— ответил страж.

— Пусти!— молила женщина.

— Не пушу даже бога,— ответил неподкупный страж.

Женщина ушла, а перед воротами остановился бог.

— Куда?

— Мне таких вопросов не задают,— сказал бог.

— Не могу пустить,— ответил страж.

— Но я тот, кто сотворил и тебя, и их, и то, что они называют Страной любви... Как же ты смеешь не пустить меня?

— Не пушу,— ответил страж.

Слушайте и знайте! Страж не пустил бога!

Бог, склонив голову, ушел той же дорогой, по которой пришел. Довольный собою страж любовался безоблачным голубым небом, кустами благоухающих роз и прозрачными родниками. И в этот благословенный час полного умиротворения могучий взрыв уничтожил Страну любви. Ни любви, ни влюбленных, ни безоблачного неба... чад и дым там, где были родники и кусты роз.

Слушайте и знайте. Не разгневанный бог уничтожил Страну любви. Ее разрушил муравей. Сердобольный муравей решил, что влюбленным грозит голод. И пока страж оберегал врата, муравей проник через священные границы и приволок в Страну любви маленькое зерно на своей спине...

## ПОВЕСТЬ О РЕЧНОМ КАПИТАНЕ

Этому причастны только двое,  
Третий, кто бы он ни был, лишний.

*Не помню — откуда*

В город, где жила Камила, Ачил-бува и Азимджан добрались засветло.

Ачил-бува, сняв пестрый хурджун, полный подарков для правнуков, опустил его на землю. Он оглядел двор, стоя в тени. Высокие глинобитные дувалы охраняли покой и тишину дома. Вдоль дувала протекал арык, обсаженный по берегу молодыми тополями. Большую часть двора занимал сад: яблони, абрикосы, алыча, персики, а между рядами деревьев — грядки помидоров, капусты, хорошо политые и ухоженные. Там, где не было деревьев, стояла, примыкая к веранде, проволочная клетка — курятник, чуть поодаль сарай для дров, коровник... На веранде под потолком на капроновых нитках висели головки сушеного перца, початки джугары, большие глиняные касы со сливками. Ачил-бува улыбнулся, представив мужа Камилы — хозяйственного Саттара и его прижимистую, скуповатую мать. С Саттаром Ачил-бува познакомился на свадьбе Камилы, слышал, что у них родились дети, но Саттара и Камилу с тех пор не видел.

— Эй, кто есть! Уякун! Тулкун! — позвал он, вспомнив имена правнуков и думая, сумеет ли узнать их по фотографиям, которые ему прислали года два назад...

На веранду, ведя за руку мальчика, вышла мать Саттара Анзират. Она в молодости осталась вдовой и до сих пор хранила следы былой красоты. Поверх вдовьего черного шарфа она кокетливо, чуть набок, повязала пеструю косынку, туго стянув ею лоб. Увидев гостей, Анзират не спеша опустила подол платья, заткнутый за пояс шарф.

— Здравствуй, Анзират. Кто же этот мальчик? Уякун? — спросил Ачил-бува. — Э-э-э, похоже, ты не узнаешь меня?

Азимджан почувствовал эту более чем холодную встречу. Он стоял растерянный, не решаясь опустить на землю хурджун. Его деда, которого узнавали на улицах, в аэропорту, в Центральном Комитете, держали у калитки и не пускали в дом.

— Узнать-то я тебя узнала. Да что толку?— сказала Анзират.

Ачил-бува больше не обращал на сватью внимания. Он поднялся на веранду, опустился на корточки перед Учкунуом, протянув мальчику руки. Учкун, босой, в шелковом чапане — пальтишке, перевязанном под грудью поясным платком, пригнув голову, смотрел на незнакомого старика.

— Я твой аппак-бува<sup>1</sup>... Подойди-ка, подойди. Со всем большой парень. Ну-ка, дядюшка, открывай хурджун. Посмотрим, что там есть для Учкунбая...

Анзират взяла мальчика за руку, сказала:

— Оставьте его в покое, дорогой. Слава богу, у моего внука достаточно игрушек...

— Может быть, наконец, объяснишь, в чем дело, сватья?

— Была сватья, да вся вышла. Не называйте меня больше сватьей. Иди ко мне, карапузик мой, птенчик мой ненаглядный, иди в комнату, играй,— говорила Анзират.

Учкун послушно ушел в дом и подглядывал, просунув нос в приоткрытую дверь.

— Где Камила? Что случилось? — спросил Ачил-бува.

— Где ваша Камила и что с ней случилось, не знаю и знать не хочу. С нами, слава богу, ничего плохого не произошло, живем в достатке, как и раньше жили...

— Я спрашиваю, где твоя невестка и моя внучка Камила?

— Нет у меня никакой невестки, так же как у маленьких крошек нет матери. При живой матери остались сиротами. Ушла твоя Камила. У вашей хваленной внучки, оказывается, издавна был любовник! Убежала к нему, опозорив моего сына, да поглотит ее земля! — Последние слова Анзират кричала криком.

Ачил-бува поискал глазами, где бы присесть. Азимджан, сбросив с плеча хурджун, поддержал деда, помог ему сесть на сундук.

— Ну ладно, хватит,— сказал Ачил-бува.— Это двоюродный брат Камилы. Мы устали, и уже поздно. Постели мурпачу, покорми, а за едой обо всем спокойно поговорим.

Анзират не желала говорить спокойно.

<sup>1</sup> Прадедушка.

— О вашей Камиле больше ни слова! — кричала она. — Думает, что нагуляется вволю и вернется, а мой дурачок Саттар ее простит. Так вот, запомните, не бывать этому. Пусть попробует переступить порог этого дома, развратница!

Ачила-бува смотрел на свою сватью, закрыв ладонями уши. И когда она умолкла, спросил:

— Где Саттар?

— Где и положено быть мужчине, на работе... Слава богу, сохранил себя и свою силу сын мой. Даст бог, женю его на девушке, как гранат, с косами до пяток. Еще нагляжусь на его счастье.

Никто не заметил, как во двор вошел мальчик лет десяти с ученическим портфелем. Он стоял и слушал, что говорит Анзират, и, вдруг побледне: закричал:

— Нет, нет!

Это был Тулкун. Ачила-бува, не желая снова оконфузиться, даже не пытался его приласкать. Старик отвернулся, чтобы не видеть, как дрожат у мальчика губы. Камилка, Камилка, что же такое она выкинула, любимая внучка, дочь его сына, знаменитого капитана Амударьинской флотилии Алимтая?

— Где все-таки сейчас Камилка?

— Спросите у ее любовника, где она.

— А где он? Кто он?

— Не беспокойтесь, не арбакеш, как мой Саттар. Они, видите ли, мулло<sup>1</sup>, работают в филиале академии, денежки получают большие. На деньги эти польстилась, негодная. Деньги на пользу ей не пойдут. Говорят, что он, слава богу, чахоточный.

Ачила-бува не поднимал отяжелевшей головы. Екал в такую даль повидать любимую внучку, посмотреть правнуков, новых представителей его большой семьи. Он заранее гордился тем, как будет знакомить с ними Азимджана. И вот познакомил! Лицо бувы постарело, осунулось. Того, что сделала Камилка, не бывало во всем роду Ачила-бувы, и старик не мог с этим примириться. Он как сел, так и сидел на сундуке, Анзират ходил по комнатам, рассыпая проклятия. Мальчики где-то прятались, а Азимджан не знал, как утешить деда. В горе бобо был таким же беспомощным, как все старика.

<sup>1</sup> В данном случае ученый.

В это время Камила на капитанском мостике парохода «Арал» читала телеграмму: «Защита назначена в среду. Целую. Матнияз». «Арал» чуть покачивало на рейде в порту Чарджуй. Камила спрятала в карман кителя телеграмму, оглядела порт, тесно заставленный пароходами. Сквозь гудки пароходов и катеров с трудом прорывались нервные голоса диспетчеров, усиленные рупорами. Вот уже десять дней бок о бок с «Аралом» стоят на рейде грузовые пароходы, ожидая, когда можно будет подойти к причалу. Если ждать очереди, то «Арал» ставет под разгрузку в лучшем случае через несколько дней. Она думала о том, как попасть в Нукус вовремя. Успешная защита диссертации — цель жизни Матнияза, значит, и Камилы, его жены. Защита должна была быть громкой. У Матнияза появилось много противников, и среди них авторитетный профессор Шуман. Матниязу будет очень трудно, а раз так, Камила должна быть рядом с ним.

На масляной воде качаются баржи. Скрипят краны, не смолкают ни днем ни ночью надоевшие крики «вира», «майла». Камила проследила глазами полет чайки, ловко вырвавшей рыбу из клюва зазевавшейся товарки. Команда «Арала», несколько молодцов, томилась на палубе от безделья. Все они, кроме штурмана Каипбергана-ака, были преданы своему капитану и готовы идти за ним в огонь и в воду. А вот штурман — команда зовет его «стариком» — недолголюбивает Камилу. Его раздражают ее «мужские выходки». Трудно вызвать восторг много повидавших капитанов таинственного Джейхуна — древнее название Амударьи, но и они говорят о Камиле с уважением. Команда любила Камилу не только за лихость. На мачте «Арала» вот уже четыре года развевается красный вымпел передового судна, а это означает постоянные высокие заработки и почет во всех портах.

— Не зря наш капитан дочь знаменитого Алимтая, — говорят о Камиле.

Поэтому, когда с мостика раздалась негромкая команда сниматься с якоря, ее выполнили не задумываясь. Камила заметила свободное место у стенки и провела пароход с двумя баржами по тесному извилистому коридору. Пока Камила выколачивала у портового начальства разрешение на разгрузку, ее молодцы договорились с крановщиками и знакомыми девушками-присмущица-



ми. Только к утру капитаны других пароходов обнаружили, что краны всю ночь обслуживали «Арал» и он успел сдать и принять груз. Как говорится, после драки кулаками не машут. Капитаны покачали головами, а один из них в кабинете начальника порта сказал:

— Когда в комнату входит женщина, настоящие мужчины встают.

Утром «Арал» был готов отойти от причала: Камила, не сомкнувшая ночью глаз, вывела пароход на рейд, и, когда с мостика раздалась команда «полный вперед», люди почувствовали, как сильно устали. Штурман, которому Камила передала управление, сказал:

— Она к мужу спешит! А мы куда? В преисподнюю?

Но рулевой ничего не ответил, и Старик замолчал.

Коричневая вода Аму течет широко и спокойно. Но это внешнее спокойствие. В глубинах реки скрыты могучие и коварные силы. Они стерегут каждый шаг капитанов, меняя русло, намывая мели и перекаты. Рыхлые песчаные берега под стать реке — то и дело меняют очертания. Все изменения фарватера надо угадывать по изменчивой волне, мелкой зыби, порою едва приметной, по водоворотам и напору течения. Но мало просто увидеть эти знаки опасности, надо уметь читать их и знать, какую ловушку подготовила капризная и своенравная река.

Но сейчас не ранняя весна — самое опасное для судоходства время, а глубокая осень. Осенью река, как бы утомившись от проказ, течет спокойней. Когда Камила снова вышла на мостик, солнце поднялось в зенит. Мимо проплывали начавшие желтеть тучки, твердые, не гнущиеся под ветром серо-желто-зеленые камыши. Почти не видно волны, но осенняя река по-своему проявляет коварный характер. Осенью она мелеет, обнажая острые гряды скал. Для караванов опасны не только скалы. По обе стороны отмелей возникают стремнины — могучие потоки быстро несущейся воды.

Камила, щурясь от солнца, осматривает реку. Темно-голубой китель плотно сидит на высокой и стройной фигуре женственно красного капитана. Эту женственность подчеркивает черный мужской галстук на белоснежной сорочке и мягкие пряди коротко подстриженных волос под форменной фуражкой с золотым гербом.

Машины «Арала» работают на полных оборотах, и

караван идет на повышенной скорости. Время от времени с мостика слышен голос:

— Сбойное течение!

— Волны «салдары»!

— Внимание, такыр!

Слова эти понятны команде «Арала» и шкиперам баржи. Люди знают, что надо делать. Вахтенные внимательны и подтянуты. Только Старик верен себе.

— По течению плывем, да еще с грузом,— ворчит он, имея в виду скорость, которую развил «Арал». — Ее любовь гонит, а нас что?

— Летела бы она к тебе, небось бы помалкивая,— сказал вахтенный.

— Ко мне уже отлетали...

Матнияз приехал в рыбацкий поселок на берегу Арала в последний год войны, в самый тяжелый год, потому что у людей уже оставалось очень мало сил. В то время Камиле было двадцать лет и она была шкипером на катере рыбокомбината. И моторное хозяйство комбината, и сам комбинат захирели, жизнь в нем едва теплилась. Рыбачьи баркасы с изношенными снастями выходили на промысел только в тихие морозные дни. На исходе зимы таких дней на Арале почти не бывает. По небу волокутся черные тучи, набухшие влагой, дуют ураганные ветры, нагоняя промозглую сырость, тяжелые штормовые волны обрушиваются на берег. Рыбаки заранее предвидят приближение шторма, и в море никто не выходит. В поселке тоскливо. Камилла вышла из барака, в котором у нее была комната, увидела поодаль незнакомого человека. Он стоял на старом с прогнившим настилом причале и смотрел, как остервеневшие от голода чайки набрасывались на тухлую рыбу. Он то и дело поправлял красный шарф, прикрывая им горло, и шарф этот выглядел нелепо в сочетании с военной гимнастеркой на его широких, но очень худых плечах. Человеку явно было холодно, а он почему-то не уходил с причала. В поселке все знали друг друга, и новое лицо вызывало любопытство и удивление.

— Поджидаете бриг под алыми парусами? — спросила Камилла и покраснела. Ни тогда, ни потом она не могла понять, как ей на язык подвернулись эти банальные слова.

Незнакомец улыбнулся. Камила никогда еще не видела такой грустной улыбки. У него было очень бледное лицо и удивительно голубые глаза. Может, они казались неестественно голубыми потому, что лицо было слишком белым?

— Говорят, в шторм иногда выбрасывает свежую рыбу,— мне нужен рыбий жир.— Незнакомец закашлялся, прикрывая шарфом рот.

— Свежую рыбу? Это почти так же невероятно, как алые паруса. Зачем вам рыбий жир?— спросила она.

— У меня прострелено легкое. Начался процесс. Врачи рекомендуют рыбий жир. Вот я и приехал сюда из госпиталю.

С моря налетел особенно сильный порыв ветра. Даже Камила чуть не задохнулась, а незнакомец надсадно закашлял. Он закрыл рот шарфом, плечи его вздрагивали. Кашлял долго, с надрывом, а Камила стояла, смотрела и не знала, чем можно ему помочь. Она сорвала с себя ватную телогрейку и накинула ему на плечи. После приступа кашля он совсем обессилел.

— Извините... Вот уж очень некстати.— Он вытер концом шарфа лицо и побрел в поселок.

— Пойдите, куда же вы!— Камила догнала незнакомца и пошла рядом.

— Конечно, было наивно приезжать сюда из Хорезма, когда рыбьего жира нет даже в Ташкенте. Послушался друзей... Они советовали ехать на Арал... Может быть, если найти здесь работу...— спросил незнакомец с надеждой.

— Какая работа? Разве вам можно сейчас работать? У вас здесь никого нет?

— Был знакомый до войны. К нему я и ехал.

— Кто же он? Нашли его?

— Нет. Убит на фронте.

— Где же вы остановились?

— У одной вдовы. Видно, придется сегодня уехать.

— Подождите уезжать. Покажите, где вы живете. Завтра я к вам зайду... Нет, сегодня зайду,— решительно сказала Камила.

При комбинате была маленькая кустарная жиротопка. Камила даже не знала, куда идет рыбий жир, который на ней вытапливают, она просто поняла, что челове-

ку он необходим, и во что бы то ни стало решила его добыть. Свое участие в судьбе незнакомца она впоследствии объясняла тем, что не могла пройти равнодушно мимо раненого солдата. Но уже тогда она знала, что в душу ее запали его печальные голубые глаза. Камила дошла с ним до домика, в котором он жил, прощаясь, спросила, как его зовут.

— Матнияз,— сказал он.

— А я Камила. Обязательно дождитесь меня.

Она напрямик направилась на жиротопку. Никто не посмеет отказать в рыбьем жире солдату, заброшенному сюда недугом.

В маленьком сарае воняло рыбой. На жиротопке работал старик с деревянной ногой по имени Аджинияз. Ему каким-то чудом удавалось поддерживать котел. Жиротопка то и дело останавливалась, и старик после бессонных ночей снова пускал ее в ход.

Камила бурей ворвалась в сарай:

— Аджинияз-ата, дайте мне две бутылки рыбьего жира!

— Зачем он тебе?

— Э-э-э... Понимаете, сынишка брата заболел туберкулезом.— Камила сама не знала, почему врала.

Старик посмотрел на нее тусклыми глазами, сказал:

— Иди к директору.

Директор комбината Зосим Прокофьевич проработал на комбинате лет тридцать, успел состариться и приобрести известность по всему побережью, как человек необыкновенно честный и справедливый. Он даже не поинтересовался, зачем Камиле рыбий жир.

— Кому же дать, как не тебе, Шагалай,— сказал он. Зосим Прокофьевич говорил со всеми по-каракалпакски. Камилу он называл Шагалай — Чайка.— Пиши заявление.— сказал он...

На заявлении Зосим Прокофьевич наложил резолюцию: выдать одну бутылку. Камила промолчала, подумав, что, если понадобится, она попросит еще.

Не чуя ног, она помчалась к Матниязу. Она не имела представления, сколько надо рыбьего жира, чтобы остановить легочный процесс. Ей казалось, что в бутылке, которую она несла под телогрейкой, спасение. Камила нашла Матнияза во дворе под навесом среди стружек и

шепок. Тяжело дыша, он строгал доску. На полке над верстаком Камила увидела книги и прочла названия: «География Арала», «Капитал», «Карабугаз»...

— Решил пока от безделья перекрыть крышу хозяйке, — сказал Матнияз. Было похоже, что он перед ней в чем-то оправдывается.

— Возьмите, это вам, — сказала Камила и поставила на верстак теплую бутылку.

— Что это? — Матнияз двумя руками поднял бутылку, рассматривая ее на свет.

— Рыбий жир!

— Чем я отплачу вам? — спросил Матнияз и, как бы поняв, что отплатить ему нечем, сказал: — Спасибо...

— Вот и отплатили, — сказала Камила. — Очень приятно услышать от человека спасибо. — Она не могла оторваться от его голубых, как море в солнечную погоду, глаз.

— Но как вы его достали?

— Э-э-э, пустяки. Нам выдают как спецпак, без карточек.

— Кому выдают?

— Ну нам, работникам комбината...

— Если бы мне поступить на работу...

— Вам нельзя работать. Вам надо лечиться. А мне рыбий жир ни к чему. Я его раньше даже не брала, а теперь буду брать для вас. На сколько вам хватит этой бутылки?

— Я постараюсь растянуть ее дня на три...

— На три дня?

— А что? Это много?

— Нет, ничего, ничего, пожалуйста... — Камила пришла в ужас, не зная, где и как она будет доставать рыбий жир, если он нужен в таких больших количествах.

Вернувшись через два дня с моря, она вымыла голову; причесалась и прежде, чем пойти навестить Матнияза, зашла на комбинат к директору.

— Не могу, Шагалай, — сказал Зосим Прокофьевич. — У меня эта жироварня вот где сидит. Работать почти не работает, а план на нее дают.

— Он солдат, фронтовик...

— А мы кому рыбий жир даем? Госпиталиям да детским садам.

Так перед Камиллой встала проблема, которой никогда в ее жизни не было и не могло быть, если бы не голубые глаза Матнияз.

Три дня пробыла Камила в море. Когда возвращалась, думала: что с Матниязом? Где будет брать рыбий жир? Соврала о спецпайке, а теперь как выкручиваться? На баке молодые рыбаки пели по-каракалпакски песню, аккомпанируя на домбре. Когда показался берег, Камила вдруг похолодела от ужаса: ей представилось, что Матнияз ушел, не дождавшись обещанного ею рыбьего жира. Мотор надсадно работал на полных оборотах, катер зарывался в волну. Моторист то и дело выглядывал из люка, не понимая, куда так гонит Камила. Камила давно заметила, что нравится парню, хотя он и не высказывал ей своих чувств. Он только смотрел на нее по-собачьи преданными глазами, и Камила чувствовала, что может на него положиться. Она стояла у штурвала, и в голове ее зрел план. Согласится ли этот парень, Саттар?

Прямо с причала Камила пошла к директору комбината.

— Зосим Прокофьевич, я опять к вам...

— Не могу, Шагалай. Не проси, не могу. Был бы у меня свой — и того дал бы тебе только половину, а остальное пустил бы в план.

— Зосим Прокофьевич, а если я уговорю Аджиннияз?

— Тогда я передам на него дело прокурору.

— Ну, а если я сама буду добывать сырье?

— Не дури, Шагалай. Как это добывать? Катер будешь гонять?

— Нет, не катер. На баркасе буду ходить в море...

— Как знаешь, как знаешь...

Камила тотчас же от директора пошла к бараку, в котором жила команда. Моторист стоял на углу, точно специально ее ждал.

— Саттар, — сказала Камила. — Выйдем в море?

Саттар посмотрел на хмурое небо, похожее на дно закопченного казана, и, покорно приложив руку к сердцу, сказал:

— Что ж, выйдем...

Чайки с беспокойными криками летали над водой. У причала комбината не стояло ни одного катера. Все суда укрылись от близкого шторма.

Саттар столкнул в воду баркас. Он даже не спросил,

зачем Камиле понадобилось идти в море. Его преданность тронула ее, и было как-то неловко перед ним, как будто она его заведомо в чем-то обманывала. Наверно, обманывала. Ведь она догадывалась о причине его безропотной преданности и готова была ею воспользоваться для другого.

— Тебе не интересно, зачем мы пойдем в море?

— Зачем?

— Мне нужен рыбий жир. Понимаешь, очень близкий мне человек опасно болен. Чтобы его спасти, нужен рыбий жир.

— Я же сказал,— Саттар опасно посмотрел на небо и в море.— Может быть, успеем до шторма.

Пока Камила, забежав домой, надела пропахший рыбной комбинезон, убрала волосы под брезентовый колпак, натянула сапоги и вернулась на берег, Саттар успел загрузить баркас снастью, предварительно ее распутав.

Камила прошла на корму, спотыкаясь о какие-то ящики, села за руль. Саттар опустил в воду тяжелые весла. Баркас подхватила волна и понесла в море. Чем дальше уходили от берега, тем сильнее чувствовались могучие толчки моря, и вместе с холодом под заскорузлые комбинезоны заползал страх. Саттар знал, что на Арале даже для ловли ярусом надо отойти километров на шесть от берега, тем более теперь, когда рыба, чуявшая шторм, уходила в глубину. Саттар боялся моря, но любовь помогла преодолеть страх. Он сильно греб и, как награду за свое мужество, видел лицо Камилы. У Саттара, когда Камила, перехватив его взгляд, чуть улыбнулась, появилась странная мысль, что она нарочно устроила ему это испытание, перед тем как принять его любовь. Саттар даже повеселел. Бог даст, успеют управиться до шторма, зато потом его ждало счастье. Так бескорыстные становятся корыстными. Саттар греб, далеко занося весла, откидывался назад всем корпусом, как будто шел с кем-то невидимым наперегонки. Этим невидимым соперником был шторм, а призом победителю была Камила. Она сидела на руле, зорко вглядываясь в море, определяя момент, когда надо спустить снасти. Она думала сейчас о рыбе, только о рыбе, которая пряталась в глубине темно-синей, постепенно чернеющей воды.

— Стоп! Опускай ярус,— скомандовала Камила.  
Снасть уходила на глубину. Теперь надо было ждать.

Саттар смотрел на обветренные губы Камилы, и при одной мысли, что настанет момент, когда он их поцелует, ему становилось тепло. Камила не замечала его взглядов, просто не обращала на них внимания, но Саттару казалось, что думает она о нем. А Камила, не отрывая глаз от горизонта, думала, успеют или не успеют они выбрать ярус до того, как налетит шквал. Она почувствовала на щеке ледяное дыхание ветра со стороны Барса-келмеса. Барса-келмес — сама преисподняя, где рождается страшной силы ветер. В борт баркаса уже ударила первая пенная волна, и такими же волнами с белыми гребнями покрылось все море.

— Выбери ярус! — скомандовала Камила. Она цепилась руками в мокрую бечевку, и первая треска шлепнулась на дно баркаса. Камила провожала жадными, оценивающими глазами каждую рыбину. Она прикидывала, сколько рыбьего жира спрятано в этих живых, бьющихся в ящиках существах. О Матниязе она почти не вспоминала. Вернее, вспоминала, но мельком. Сейчас главным была розоватая, как будто с нее содрали кожу, рыба, а в рыбе маленький комочек, похожий на сгусток крови — печень. Саттар сбрасывал треску в ящики. Сын рыбака уже рыбак. И хотя улов был небольшим, Саттар на время забыл об опасности.

Резкий окрик Камилы отвлек его от работы. Она, скользя по живой рыбе, пробралась на корму и схватила руль. Налетевший ветер поворачивал баркас.

— Весла на воду! Вперед! — крикнула Камила.

Саттар вытер мокрое лицо липким от рыбьей крови рукавом, прыгнул на скамью. Ветер налетал то слева, то справа, как бы толкая Саттара под руку, норовя сдвинуть с места. Баркас отяжелел от рыбы, и вращать веслами стало труднее. Угрожающе поскрипывала мачта, баркас раскачивало все сильнее. Море косо подныривало под днище, точно примеривалось, как лучше приподнять баркас и опрокинуть. Волна под баркасом теряла силу, ломалась, и тут же подкатывалась новая волна, и лодку подкидывало вверх. Баркас плясал на месте в плену обступавших со всех сторон волн. Саттар быстро слабел. Из-за ветра и глухих ударов не слышно было, что кричала с кормы Камила. Саттар скинул ватник, сапоги. Мускулы спины, ног, рук напряглись так, что вот-вот готовы были лопнуть. Берега не было видно, от низко



нависших черных туч день казался вечером. Баркас подходил к заливу, но волны, накатываясь от берега, отбрасывали его в море. Саттар подумал, что если он погибнет, то зачем ему эта пригнувшаяся на корме девушка, ее волосы, ее рот, вся она? В это время Камилу сорвало с кормы и швырнуло на парус. Саттар инстинктивно потянулся ей помочь, но, поскользнувшись на рыбе, потеряв равновесие и выпустил весла. Ветер как плеткой хлестнул по лицу дождевыми струями. Казалось, море хлынуло в баркас, и снизу, и сверху была вода.

— Весла! Держи весла! — кричала Камила. Она с трудом дотянулась до руля и вдруг увидела, как Саттар, вцепившись в ящик с рыбой, сталкивает его в воду. — Не смей! — закричала она. Она не помнила, как добралась к нему. Близко увидела его обезумевшие глаза. — Трус! Подлый трус! — Камила схватила его за руку, но не смогла вырвать ящик. Она вцепилась в руку Саттара зубами, и они оба упали.

— Я не хочу тонуть! Не хочу тонуть, — говорил Саттар, пытаясь встать на ноги, но его тут же сбило волной. Уже лежа, он поднял ящик.

— Нет! — Камила выбила ящик из его рук.

— Надо!

— Нет!

Саттар завыл. Это было так неожиданно, что Камила отпустила его. Саттар откинулся назад, и, если бы Камила не вцепилась ему в волосы, он бы вылетел за борт. После этого Саттар сел и схватил весла. В полузатопленном баркасе плавала мертвая рыба, щепки от сломанных ящиков, согнутое ведро. Камила не сразу сообразила, что, если она это все видит, значит, посветлело, а если посветлело... Вокруг баркаса сшибались волны. Берега по-прежнему не было видно, но Камила угадывала его. Лишь бы баркас не опрокинуло прибоем.

— Идите на руль! — приказала она.

Саттар, прижимая к груди прокушенную руку, покорно пересел на корму. Камила изо всех сил ворочала тяжелыми веслами. Но сил было мало. Саттар пришел в себя и подсел к Камиле, взяв у нее одно весло. Волны стали более пологими, и баркас больше не бросало. Они поняли, что вошли в залив...

...На рассвете, разбудив Аджинияза, Камила привела

его на жиротопку. Старик шел, постукивая деревяшкой, исподлобья оглядывал девушку.

— В тебе черт сидит,— сказал он.

— Почему черт, а не ангел? — спросила Камила.

— Может, и ангел,— неожиданно согласился старик.

Пришел Саттар. Вместе выпотрошили рыбу. Из добытой печени натопили три бутылки рыбьего жира. На радостях Камила попросила у Саттара прощения за то, что укусила его.

— Куда денем рыбу? — спросил он.

— А, куда хотите! — Схватив теплые еще бутылки, Камила побежала к знакомому домику. Старуха хозяйка впустила ее в комнату. Камила нетерпеливо заглядывала через ее плечо. Но занавеска над входом во вторую камеру висела неподвижно. Кажется, хозяйка все поняла.

— Уехал,— сказала она.— Вчера собрался и уехал!

— Как уехал?

— Да как все уезжают. На попутной машине.— Хозяйка помолчала, а потом добавила: — Он велел, если кто его будет спрашивать, сказать, что никакого рыбьего жира рабочим комбината не выдают.

Могла не добавлять. Камила и без того все поняла: нельзя обманывать человека с такими голубыми глазами. Пока бушевал шторм, Камила пролежала на койке в своей комнате. Каждый день навещался Саттар. Он стал по-прежнему почтителен и предан. За проданную рыбу выручил хорошие деньги и все спрашивал, что купить Камиле? Ей передавали знакомые девушки, что Саттар всем показывает прокушенную руку, с гордостью рассказывая, как его укусила Камила. А потом установилась погода, и Камила проводила дни и ночи в море на путине. Матнияз она не забывала, но со временем память о нем стала спокойней. Так вспоминают мертвого, очень дорогого человека. Те три бутылки рыбьего жира Камила послала в госпиталь, в котором раньше лежал Матнияз, с просьбой переслать их ему, если им известен его адрес, а если не известен, то пусть отдадут рыбий жир тому, кто в нем нуждается... Камила стала подумывать, что стареет — всем девушкам приходят в голову такие мысли,— а Саттар был всегда рядом... Камила приняла предложение Саттара, правда, при этом вспомнила его обезумевшие глаза. Да кто из людей не без слабости... Саттар ходил сам не свой от счастья. Вскоре они пере-

ехали в Ходжейли, где у него был дом. Камила перешла в Амударьинскую флотилию. Саттар гордился женой. Даже свекровь как будто была довольна невесткой, хотя внешне ничем этого не проявляла.

Однажды она увидела, как Камила собирала с молока сливки, чтобы сбить для Тулкуна масло.

— Вай, невестка милая, да вы сбивали когда-нибудь масло? Дайте, я сама, да быть мне вашей жертвой.— От одежды свекрови всегда пахло прокисшим молоком, и запах этот неотступно преследовал Камилу.

Саттар не знал покоя, создавая гнездо для Камилы. Он давно сменил профессию моториста на более выгодную экспедитора. Отремонтировал дом, обновил сад, завел огород, скот, птицу. Дом Саттара и Камилы ломился от добра, а когда заинтересовались доходами Саттара, он с гордостью представил справку о заработках Камилы. Справку он взял без ведома жены в бухгалтерии пароходства. Камила почти всегда была в плавании и совершенно не вникала в дела дома. Появление сыновей как-то примирило ее с мужем и свекровью. Она даже стала торопиться домой, чтобы побыть с малышами. Так бы, наверно, и прошла ее жизнь. Саттар с матерью поговаривали, что пора Камиле бросить ее мужскую работу. Добра, слава богу, хватит до конца дней, а муж и дети будут присмотрены и ухожены. Анзират прямо говорила, что устала и что Камиле пора бы научиться самой вести хозяйство, пока она еще жива.

Но однажды в Нукусе Камила встретила на улице Матнияза и поняла, что до сих пор любит его, а когда он, также узнав ее, сказал: «А, лгунья!» — она заплакала.

Камила заплакала не оттого, что он назвал ее лгуньей, а потому, что так легко ее узнал и заговорил, словно они только вчера расстались. Матнияз был по-прежнему худой, волосы на висках поредели, а голубые глаза стали как будто мягче, а может быть, это показалось Камиле.

Вот та случайная встреча и перерешила ее судьбу.

— К берегу! Ближе к берегу!

Голос Старика отвлек Камилу. Она рассердилась на штурмана — ей показалось, что Старик нарочно подал команду в ее присутствии, чтобы подчеркнуть, что не она, а он думает о безопасности каравана.

Наступила ночь. На реку пал туман. Он угадывался по липкой влажности на лице и руках и по тому, как тускло пробивался свет бортовых огней. Подходили к Туячукти — Утонувшему верблюду — трудному для судов месту, где река, сжатая высокими берегами, с большой силой рвется через перекат. И как тогда в баркасе, Камила думала сейчас не о Матниязе, а о том, как пройти это чертово место, хотя подходили к нему ночью, а не днем, только потому, что она спешила к Матниязу. Все в их жизни складывалось так, что она всегда должна была к нему спешить.

Камила представила себе две скалы, как два горба верблюда, торчашие из воды. Даже днем трудно провести караван между скалами и берегом. Старик просто не хочет подходить к опасному месту ночью.

— Отставить к берегу! Включить большие прожектора, — приказала Камила.

Туман клубился над водой. Под сильными лучами проступали каменные горбы. Старик, обиженный тем, что Камила не оценила его предосторожности, сказал:

— Кому сигналите? Кто решится ночью подойти к Туячукти?

— Сейчас увидим, — ответила Камила. Она не была уверена в том, что поступает правильно. Она просто не могла встать на якорь и ждать утра.

— Завезите «кошку» на берег, как отец вам говорю, — сказал Старик. Это означало закрепить якорь в береговом грунте, а потом при помощи стального троса провести через опасное место по очереди пароход и баржи.

— Не беспокойтесь, штурман. Моя голова мне самой дорога. Ваш совет плох тем, что надо потратить на «кошку» часов двенадцать.

— Тише едешь... Слышали такое?

— И не такое я тоже слышала. Не бойтесь, Старик! Шлюпку на воду!

— Без меня. Без меня, — сказал штурман. — Вам своя голова дорога, мне своя.

— Выполняйте приказ. Все беру на себя, — Камила спустилась по веревочному трапу, и матрос помог ей ступить в лодку.

Лучи прожектора упирались в скалы, и под ними лодка вошла в черное ущелье. Рев течения заглушал

гуденье мотора. Скалы, поблескивая, высились над водой.

— Торчат, проклятые,— сказала Камила. Даже матрос, сидевший рядом с ней, едва расслышал ее. Через матроса Камила передавала команды мотористу: — Обходить слева, мерить глубину!

Слева туман был гуще, полностью скрывал берег. А лучи прожектора по-прежнему неподвижно лежали на вершине горбов.

— Упрямый Старик! — сказала Камила. Неожиданно смолк мотор и стал слышен только рев воды. Лодку понесло на невидимую в темноте отвесную стену берега.

— Капитан, капитан, где вы?! — кричал моторист. Он не видел ни матроса, ни капитана.

Матнияз посматривал на входные двери в глубине зала и про себя, даже не замечая этого, спрашивал: «Камила, ну где же ты?» Хорошо освещенный зал, переполненный спокойными, уверенными в себе людьми, пугал Матнияза. Он старался смотреть на карту Узбекистана и Каракалпакии, вернее, на те их части, которые примыкали к Аралу. Они желтого цвета, такого же, как испепеленные зноем пески Каракума и Кызылкума. Аму и Сыр текут по ним зелеными жилами, извилистыми, как змеи. Они стекают к Аралу, отдавая ему влагу далеких снежных гор, благодатную прохладу зеленых долин. Среди песков Арал синее, как драгоценный остров, каким-то чудом заброшенный в пустыню. Его потому и прозвали Аралом, что по-узбекски это значит «остров». Матнияз стоял у карты, вода по ней указкой, излагая содержание своей диссертации. Одет он был с обычной для него небрежностью: узел галстука кособоко затянут, брюки пузырятся на коленях. Плохо выбритое лицо чуть пополнело, постарело, и на нем появилось упрямое выражение. В зале не только противники Матнияза. Научные сотрудники Совета по изучению производительных сил — друзья, главный зоотехник пушного совхоза «Муйна», инженеры Гидропроекта, начальник мелиоративной станции — кандидат наук Маркарян — тоже друзья. А на сцене в президиуме руководитель работы, оппоненты и почетный гость профессор

Шуман. Для маститого гидролога Средней Азии профессора Шумана сидение в таких президиумах дело обычное, как утреннее и вечернее чаепитие. А для людей в зале приезд этого знаменитого старика событие. Профессор привык к тому, что, где бы он ни появился, вслед за ним стлался почтительный шепот: «Вот он». Он сидел в президиуме, сцепив на животе пальцы, снисходительный и немного усталый. Его последняя статья «Должен ли жить Арал?» привела в смятение практических работников и ученые круги. Профессор утверждал, что не должен, что постепенное высыхание Арала обеспечит освоение пяти миллионов гектаров новых земель, которые оросят воды Аму, и поэтому экономически выгодно и целесообразно. Другими словами, профессор Шуман утверждал прямо противоположное тому, что доказывал в своей диссертации Матнияз. Сам факт присутствия Шумана на защите диссертации свидетельствовал о том, что профессор видит в Матниязе своего научного противника. Правда, внешне профессор обставил все так, как будто не придает диссертации Матнияза серьезного значения и попал на его защиту случайно, приехав в Нукус по другим делам. Вот с ним-то и сражался Матнияз, стоя у карты.

— Посмотрите на наш край,— говорил он, водя по карте указкой.— Как много этой желтой краски, этой краски угасания... Некоторые ученые предлагают создать новую рукотворную пустыню.

— Вы не упоминаете, коллега, новых зеленых долин, которые появятся взамен,— снисходительно сказал Шуман. Это была его первая реплика.

— Я позволю себе напомнить уважаемому профессору про Тришкин кафтан... Нам предлагают создать новые плодородные земли, предоставив простор огненным ветрам, способным выжечь все. Те, кто поднимает руку на Арал, уничтожают самое действенное препятствие на пути этих ветров. И еще не известно, удастся ли сохранить тогда существующие оазисы и благоустроенные земли, не говоря о том, что слова о новых землях кажутся мне утопичными. Представьте себе появление новой пустыни в чаше Арала площадью в семьдесят тысяч квадратных километров. Это значит еще большее одичание климата. На месте прохладных голубых волн завихрятся песчаные барханы, пропитанные солью. Ветер подымет песчано-

соленую поземку и понесет ее на сотни километров вокруг.

— Нарисованные вами ужасы соляных бурь надо еще доказать!

— Но и то, что их не будет, также требует доказательств. Я уже не говорю о чувстве природы, о чувстве красоты! Не говорю не потому, что считаю их недостаточно серьезными аргументами в пользу Арала, а потому, что немедленно найдутся люди, которые объявят эти аргументы несерьезными. Поэтому перехожу к цифровым показателям. Арал — это полмиллиона тонн рыбы в год, миллион штук бобровых шкурок, семьдесят сортов бесценной пушнины, которую поставляет на мировой рынок совхоз «Муйна»... Сейчас составляются генеральные планы использования Аму и Сыра. В этих планах нет ни слова о судьбе Арала. Это результат вашей статьи, профессор.

Снисходительное спокойствие изменило профессору. Он встал со своего места, и все поняли, что наступил кульминационный момент защиты.

— Вот что, коллега, — сказал он. — Вы напрасно критикуете меня, вместо того чтобы аргументированно защищать свою диссертацию. В то время как наш народ, не жалея сил, создает материальную базу коммунизма, вы с трибуны академии предаетесь лирике, демонстрируя свое обостренное восприятие красоты. По-вашему, не только можно, но и нужно равнодушно отвернуться от факта, что сорок миллиардов кубометров воды, которые несут Аму и Сыр, испаряются в болотистом казане Арала, вместо того чтобы оросить пустыню. Не предлагаете ли вы остановить весь комплекс работ, связанных с обводнением, ирригацией и освоением новых земель в республике!..

Матнияз не выдержав холодной иронии профессора, на что я рассчитывал Шуман.

— Чем занят наш народ, профессор, я знаю не хуже вас, потому что и я частица народа. Ваша статья напомнила мне известное изречение: «После нас коть потоп...»

В зале засмеялись.

— Уважаемый Ученый совет, я протестую. Диссертант ведет себя так, словно не его диссертация, а моя статья поставлена сегодня на обсуждение вашего уважаемого заседания...

Матнияз почувствовал, что теряет симпатии зала. В растерянности он посмотрел на входную дверь.

Где же Камила?

Один раз, когда она очень была нужна ему, он сам от нее ушел. Ушел, как только догадался о ее влюбленности, потому что не хотел стать обузой. Помнил ее все годы и корил себя. Арал еще до войны вызывал научный интерес Матнияза, а после к одержимости ученого прибавилась одержимость влюбленного... Теперь, когда Камила нужна была ему, нужна была ее вера в него, Камилы не было. А он уже привык, что в трудную минуту она рядом, привык видеть ее, энергичную и решительную.

...Камила с шестом для измерения глубины стояла на носу лодки, не обратив внимания, что умолк мотор. Она промокла и оглохла от сплошного грохота. Когда мотор вновь заработал и лодка, пройдя вдоль отвесной стены левого берега, вышла на спокойное течение, освещенное прожекторами, моторист увидел своего капитана смеющимся и довольным.

— Неправда, пройдем,— сказала она.

— Что, что она сказала? — переспросил моторист на корме.

— Пройдем, говорит,— крикнул матрос.

Вернувшись на «Арал», Камила прошла в свою каюту, переделалась и только после этого появилась на мостике. Она переодевалась не потому, что на ней промокла одежда, ей просто надо было побыть одной.

— Пойдем по левой стороне,— сказала она штурману.— Баржи проведем по одной в расчалку. Команде занять места по расписанию...

— Тьфу! — не удержался Старик.— Сбесилась баба! — Правда, последнюю фразу штурман пробурчал себе под нос.

Через двадцать минут «Арал» с одной баржей на коротком тросе медленно втянулся в стремнину. Прожектора с носа парохода и с баржи наперехлест освещали русло. Туман стелился над водой, светясь молочными клубами. Машины работали на всю мощь, и корпус «Арала» дрожал от напряжения.

— К уркачу, ближе к уркачу,— командовала Камила рулевому.

— Если бы уркач был действительно мягкий и теплый



верблюжий горб... К сожалению, это всего-навсего скала,— сказал штурман, вернувшийся на мостик.

— Еще одно слово, Старик, и спишу с судна. Ближе к урчащу, еще ближе, еще...

— Полтора метра осталось, капитан,— сказал рулевой.

— Еще ближе, еще...

— Сейчас стукнемся, капитан!

— Оптический обман... Ночью всегда так... Ближе, еще ближе...

— Вы забываете, что основание скалы шире. Ударимся дном,— сказал штурман и осекся под взглядом Камилы. Прошло то время, когда Камиле надо было кусаться, чтобы заставить подчиниться себе. Она давно овладела искусством управлять подчиненными людьми.

— Воды много, я мерила глубину, Старик,— сказала она.

Десять минут проходили горб. Десять минут все ждали удара, столпившись у борта. Скала медленно проплывала совсем рядом в грохоте воды, в брызгах и пене. Перегнувшись, с борта можно было тронуть рукой мокрый и холодный камень. А потом скала стала медленно отодвигаться назад, все дальше, дальше, пока не исчезла в темноте. «Арал» вышел на спокойную воду. Оставив баржу, он развернулся и поплыл вверх по течению по правой протоке за второй баржей.

— Лгунья, лгунья,— шептал Матнияз.

— Я бы хотел наконец услышать доказательства, подтверждающие точку зрения уважаемого соискателя,— говорил Шуман.

— Мне кажется, я только тем и занимаюсь, что привожу доказательства. Но если их профессору недостаточно, я позволю себе обратиться к залу. Здесь присутствует главный зоотехник уникального в стране пушного совхоза. Я попросил бы его сказать о перспективах хозяйства при нынешнем положении дел.

— Какая может быть перспектива на мертвых озерах и болотах? Надо очистить систему озер Даулибай. Соединить их протоками, расширить устья рек Ак-Дарьи и Кипчака. Другими словами, надо выполнить соответствующие постановления. Но для этого, кажется, нет

средств. Впрочем, здесь присутствует Маркарян, он это лучше меня знает.

— Мелиоративные работы в дельте настолько запущены, что их не проведешь ни за какие деньги,— сказал Маркарян.— Об этом подробно сказано в статье профессора.

— Вот именно,— подтвердил Матнияз,— вы опустили руки после этой статьи...

— Что здесь происходит? — Ученый совет или производственное собрание? — спросил Шуман председателя.

Матнияз понял: настал момент, когда он должен попытаться вновь овладеть залом.

— Я, товарищ профессор, против того, чтобы проводить грань между современными знаниями и хозяйственными проблемами. В том, что море отступает, вы видите естественное проявление сил природы, которым не следует мешать. Я смотрю на это по-другому. Высыхание моря вызывает гибель живого мира. Звероводческий совхоз два года назад давал более миллиона штук ондатры, в этом году запланировано только двести тысяч. Доходы рыбного комбината уменьшились в десять раз. поголовье серебристых лис, которых выкармливали на мясе ондатры, сократилось в шесть раз. Двадцать девять пород ценных рыб перестали метать икру в озерах дельты. Все это произошло, товарищ профессор, в результате ваших рекомендаций по гидрологии, которые вы пытаетесь теоретически оправдать в своей последней статье...

— Я отказываюсь принимать дальнейшее участие в обсуждении диссертации,— сказал профессор.— Постановка вопроса — это еще не научная работа. Надо научно обоснованно решить вопрос.

— Вот вы его и решили, профессор. Решили кардинально и мужественно, выбрасывая миллионы государственных средств,— сказал Матнияз и сошел с кафедры.

В зале громко говорили, спорили, и навести порядок не было никакой возможности.

Камилла вошла в порт в полночь. Едва став к причалу, она отправилась в город, в институт, хотя и понимала, что заседание Ученого совета кончилось.

Она прошла по темному пустому залу с клочками бумаг, белевшими под стульями. На сцене висела забытая

Матниязом рабочая карта. Часть стульев была отодвинута к стене — готовились к уборке. Вообще зал и пустая сцена напоминали поле боя, покинутое воюющими армиями. Камила интуитивно чувствовала, что ее муж не стал победителем.

Она поднялась на третий этаж в общежитие аспирантов, где у них с Матниязом была комната. Занимался рассвет, и на улице бледно светлели ненужные уже фонари. По коридору Камила почти бежала.

Матнияз лежал на кровати одетым и курил. В комнате можно было задохнуться от дыма и все предметы выглядели расплывчато, как в тумане.

— Матнияз!

Он вскочил и выбросил недокуренную папиросу в форточку. Он обнимал жену, а Камила, чуть сторонясь его, говорила:

— Ты почему куришь! Как маленький. Ни на один день нельзя оставить одного.

— Камила, почему так поздно?

— Ты бы лучше спросил, как я вообще добралась. Я думала, что уже не способна на такое сумасбродство.

— Что же ты натворила? Ведь натворила? — Матнияз снял с жены форменный китель. — От тебя пахнет реной и туманом, — говорил он, забыв все свое недовольство.

— Соленая я, — сказала Камила.

— На плите чайник. Будем пить чай. А диссертацию провалили.

Камила догадывалась и все равно сразу как-то устала. Что теперь делать? Этот вопрос она задала самой себе, не желая еще больше расстраивать мужа. Подумать только, семь лет неустанного труда, и это при его слабом здоровье! Когда Камила встречала мужа по вечерам после дня, проведенного в библиотеке, или мокрого, пахнущего тинной, в сапогах, полных болотной жижи, вернувшегося из поездки в Приаралье, она в панике думала: «Хоть бы не вернулась болезнь» — и спешила обогреть, накормить, уложить в постель. Она сама дивилась и радовалась нежности, которую испытывала к мужу. Свое чувство к нему она могла сравнить лишь с любовью к своим сыновьям, к своим родным кровинушкам, о которых она непрестанно думала, и потому, что их не было рядом, всю свою нежность изливала на Матнияза. Мат-

Матнияз боялся, что Камила догадается, как ему горько. Ему очень хотелось положить голову к ней на колени и забиться или плакать от обиды, выплакать всю горечь, все разочарование...

— Я ждал тебя! Как я тебя ждал! Искал в зале. Думал, что ты незаметно вошла и сидишь в уголке...

— Не смогла, не успела.

— Чаю, выпей горячего чаю...

Камила в рассветных сумерках ходила по комнате, накрывала на стол, потом, не присаживаясь, дуя в пиялу, маленькими глотками пила чай.

— Много народу было?

Матнияз кивнул.

— Сраженне шло четыре часа,— сказал он.

— Шуман?

— Шуман.

Камила вглядывалась в усталое лицо мужа.

— Ты не расстраивайся.

— Я и не расстраиваюсь,— Матнияз сел на кровать и хлопнул себя по колену.— Нужного количества голосов я не получил, но доверие к Шуману сильно подорвал. А это важнее кандидатской степени.— Он вскочил и забегал по комнате.— Ладно, нет так нет. Черт с ней. Избавился наконец. Из-за этой диссертации стал эгоистом, если бы ты знала, как я ругал тебя за то, что ты не пришла... Я совсем мало уделяю тебе внимания.— Он положил руки на теплые плечи жены.— Ну, как твое плавание? Никто тебя не обидел? Шагалай...

Камила, рассказывая ему о своей жизни, рассказала и о Зосиме Прокофьевиче и о том, как он называл ее Шагалай, а рыбьего жира все равно не давал. Зосим Прокофьевич очень нравился Матниязу, и он перенял от него ласковое «Шагалай».

— Все будет хорошо. Все будет хорошо,— сказала Камила.— Поспи часок, и пойдем к детям. Ладно?..

— Вдвоем?

— Ты забыл? Мы же договорились: в радости и печали всегда навещать детей...

— Не забыл, конечно, не забыл. Хочешь, пойдем прямо сейчас. Я все равно не смогу заснуть.

Камила прошла за перегородку переодеться. Один угол комнаты с полу до потолка был отгорожен книгами,

тут же стоял письменный стол, а все вместе называлось кабинетом. В другом углу была «спальня», а посередине на пятачке—«гостиная»: обеденный стол, телевизор, магнитофон, зеркало и картина Тансыкбаева «Пейзаж Арала». Пока Матнияз расхаживал из «гостиной» в «кабинет» и обратно, Камила, сняв форму, надела атласное платье и шерстяную кофточку и вышла из-за перегородки. Энергичный речной капитан остался за перегородкой, в «гостиной» появилась привлекательная женщина и беспокойная, нежная мать.

— Я готова, пошли.

Знакомый старик лодочник перевез их через Аму и не спешил возвращаться с новыми пассажирами — он смотрел, как уходили Камила и Матнияз от берега. Многие знакомые еще не слышали о перемене в судьбе Камилы, а Матнияз на этой стороне реки вообще не знали. Люди на улице, поздоровавшись с Камиллой, останавливались: интересно, кто этот высокий в помятом костюме мужчина, так нежно и предупредительно поддерживающий нашу Камилу под руку?

В Ходжейли почти не было мощеных улиц. Ветер с реки кружил желтую листву тополей. Они шли вверх по улице, пахнувшей рыбой. Минут десять постояли на углу, ожидая, пока откроют универмаг. В магазине они ходили вдоль прилавков, то и дело переговариваясь: «Это Учкуну», «это Тулкуну». Покупали все подряд, и среди нужных вещей было много ненужных. Это из-за Матнияза, который приговаривал: «Вери, бери». На улицу они вышли нагруженные свертками и коробками.

Матниязу было не очень весело идти с Камиллой в дом ее бывшего мужа, но отпускать жену одну не хотел. Свидания с детьми проходили всегда мучительно. Если приносили много подарков, свекровь кричала:

— Осиротила детей, теперь хочешь откупиться?..

А когда приходили налегке, она внушала детям:

— Бедные мои сиротиночки, родная мать деньги на вас экономит, видать, на любимого тратит...

Матнияз не мог придумать, как защитить жену от этих оскорблений, но мужественно ее сопровождал. Решительная, по-мужски смелая, Камила в доме свекрови становилась бессловесной и жалкой.

За два квартала от дома они уже думали о том, как переступить порог калитки.

К стояку веранды во дворе были привязаны два ягненка. На нижней ступеньке крыльца сидел Ачил-бува и Саттар. Оба, опустив головы, водили прутиками по земле. На скрип калитки подняли головы. Камила остановилась от неожиданности, но тут же бросилась к нему:

— Бува! Буваджан!— и остановилась, налетев, как на препятствие, на суровый взгляд старика.

Во двор не замедлила выйти Анзират. На сури сидел Азимджан, готовый подбежать к Камиле (он сразу догадался, что это она). Примерно с таким же намерением в дверную щель подглядывал Тулкун. Матнияз остался стоять возле калитки.

— Здравствуйте, бува. Рада видеть вас здоровым,— помолчав, сказала Камила.

— Ты рада? Довольна своими делами? Я плачу кровавыми слезами со вчерашнего вечера.

— Что случилось, бува?

— Еще спрашивает!

— Прежде чем меня казнить, позвольте вам все рассказать, объяснить...

— О чем говорить? Сам все вижу. Годы не согнули моей головы, а теперь она гнется. Что ты натворила?— Голос старика задрожал.— Состарился я, девочка, состарился. Не боялся смерти, теперь боюсь. Боюсь оставить тебя, детей твоих...

— Бува!

— Молчи, позор мой. В роду Ачила-бувы такого еще не было...

— Бува, здесь чужой...— Камила быстро взглянула на Азимджана. Он по-прежнему сидел на сури.

— Он не чужой. Это твой двоюродный брат Азимджан. Я приехал с ним, чтобы показать ему тебя, а теперь стыжусь даже познакомить.

— Бува, я ничего постыдного не сделала...

— Разрушила семью, наполнила слезами глаза двух малышей, разве это не позор, глупая! Ты не испугалась взять на себя грех перед невинными крошками, оставить их сиротами при живой матери.

— Почему сиротами? Зачем вы меня хороните, бува! Я еще живая.

Ачила-бува постепенно распался:

— Ты еще смеешь тут стоять и смотреть на меня?!

— Я пришла навестить своих детей!— В Камиле на

мгновение пробудилась дочь своего отца, но Ачил-бува тут же сбил ее порыв:

— Нет здесь твоих детей!

Анзират как будто только и дожидалась этих слов. Она подбежала вихляющей нагловатой походкой к Матниязу, по-прежнему стоявшему у калитки, выхватила у него покупки и выбросила их на улицу. Матнияз не сопротивлялся, но близок был к тому, чтобы кинуться с кулаками на всех этих людей, унижающих его жену.

— Ребенок не вещь, чтобы приходить на него смотреть. У ребенка должна быть мать.

— Бува, я вас прошу, не вмешивайтесь, не ведая...

— А-а-а! В колхозные дела вмешивается бува, в дела заводов вникает, правительство ко мне прислушивается, а в твоих делах разобраться у меня не хватает ума? Уходи туда, где ты бродяжничаешь. Не смей входить в этот дом. Убирайся, чтобы я тебя не видел!

И Камила смирилась. Она заплакала, как плачут самые обыкновенные женщины, когда их оскорбляют. Матнияз подбежал к ней, обнял за плечи и повел к калитке. В этот же момент к буве подошел Азимджан, пытаюсь его успокоить. Саттар, который слушал, раскрыв рот от удовольствия, как сидел на ступеньке, так и остался сидеть. А в комнате слышны были рыдания Тулкуна.

— Тулкун! Учкун!— крикнула сквозь слезы Камила.

Матнияз крепко прижал ее к себе, сказал:

— Не надо, не надо!..

— Близко не подпущу к детям! Учкунчик и без этого лежит с температурой!— кричала Анзират.

— Болен? Учкун болен?— Камила рванулась из рук Матнияза и тотчас сникла, как будто поняла тщетность всех своих усилий.

— Уходи! Отправляйся. Слезы твои — вода. Саттар, закрой за ними калитку! У меня нет больше внучки!— кричал Ачил-бува.

Саттар кинулся к калитке, попытался оттереть плечом Матнияза от Камилы, но Камила брезгливо отстранилась от него и вышла вместе с мужем на улицу. Саттар закрыл за ними калитку и подпер ее колом.

Во дворе стало тихо. Ачил-бува, обессиленный, присел на ступеньку. Саттар подошел и сел рядом. Долго просидели так. В комнатах Анзират ласкала внуков:

— Маленькие мои, ненаглядные...

— Вы все испортили, бува!— сказала Саттар.— Я думал, вы ее поругаете, пожурите, и она вернется. А вы взяли да и выгнали ее. Пусть бы не любила. Мне ведь она нужна, а не ее любовь... Все на меня пальцем показывают: жена от него ушла!

Ачил-бува мгновение глядел на него, хотел что-то сказать и не сказал. Он просидел до вечера на ступеньке веранды, прислушиваясь к малейшему шуму у калитки, словно надеялся, что Камила вернется. Когда Саттар позвал его обедать, Ачил-бува не отозвался и обедать не пошел. Этот неуклюжий, смиренный человек, которого Ачил-бува раньше жалел, теперь вызывал в нем чувство омерзения. Оказывается, ему нужна была не любовь Камилы, он горевал не потому, что потерял ее, а потому, что стыдился соседей! И он, старый бува, посочувствовал этому человеку больше, чем своей внучке, сердце которой хорошо знал. Ачил-бува после ухода Камилы и без того терзался тем, что так безжалостно с ней поступил. Но теперь, когда он понял, что склонял Камилу к тому же, о чем сказал этот человек: не любишь? тебе он внушает отвращение?— все равно живи!— старик чуть не зарыдал от тоски. Сам себе стал противен. Он собрал разбросанные около калитки игрушки, то и дело выглядывая на улицу, просто стоял, поглаживая бороду. Потер полый халата игрушечный автомобиль, сдул пыль с пластмассовых солдатиков, вытер мяч и отнес игрушки в комнату, разложив возле спящих мальчиков. Хотел погладить потную головку Учкуну, но мальчик не спал и тут же затеял с прадедом разговор:

— Аппак-бува<sup>1</sup>, у меня одна мама и почему-то два папы. Один папа мамы, другой папа мой. Тот папа, который с мамой, наверно, тоже мой. Он всегда с ней приходит и приносит мне игрушки. Вот принес мне лошадку!

— Хоп, хоп, Учкунджан!— Старик моргал, чтобы скрыть слезы.— Сейчас спи, кругом уже темно-претемно. Действительно уже стояла ночь. Во дворе Ачил-бува подошел к Азимджану.

— Что теперь будет, бува?— спросил тот, когда дед присел рядом.

— Произошла ошибка, мой мальчик. Твой старый бува ошибся. Очень глупо ошибся.— Старик, кряхтя,

<sup>1</sup> Белый-пребелый дед.



взобрался на сури, лег под одеяло, но сон убежал от его глаз.

Раннее утро застало старика на ногах. Он уже увязал хурджуны, умылся, и когда проснулся Азимджан, они наспех позавтракали черствой лепешкой. Потом Ачил-бува прошел к спящим правнукам, поцеловал их в лоб и все это проделал под удивленными взглядами Саттара и Анзират, которых словно бы не замечал. Когда старик вышел, Азимджан уже ждал его, готовый в дорогу, с пестрым хурджуном на плече.

Кончалась осень. С реки дул пронизывающий ветер, и, пока ждали перевоза, оба озябли. Настроение было прескверное, говорить не хотелось.

На улицах Нукуса ветер гонял пыльные вихри. Азимджан, закрывая рукавом лицо, едва успевал шагать за бобо.

— Теперь поедem к Акбарали, бува?— спросил он.

— Да. Сегодня же поедem. Вот только заглянем в это учреждение.

Азимджан подумал, что в этом здании работает Камила и что старик идет к ней извиняться, поэтому он решил остаться на улице, чтобы не мешать им.

— Что же ты, сынок? Пойдем,— сказал бува, уже открыв дверь в вестибюль.

Они поднялись на второй этаж и вошли в одну из комнат.

Там за столом сидел молодой человек.

— Ты прокурор, сынок?— спросил старик.— А я Ачил-бува, если слышал... Я займу тебя на минуту...

— Как же, как же, Ачил-бува! Конечно, слышал. Как ваше здоровье! Какие приятные ветры занесли вас в наши края?

— Ветры несли меня приятные, а вышло неприятное...— сказал Ачил-бува и, сев в мягкое кресло, большим платком, который обычно набрасывают на плечо, вытер пыль с лица.— Камила мне внучка. Ты, наверное, знаешь о ее деле?

— Знаю, конечно, знаю...

— Надо его пересмотреть!

Молодой человек, кажется, смутился, он вроде бы даже пожал плечами, после чего доверительно подсел в кресло напротив старика.

— Чем вызвана ваша просьба, Ачил-бува? Решение

утверждено в областном суде. Вы считаете, что она ошиблась, разведасть?

— Нет, не ошиблась. Правильно поступила. Но ей надо вернуть одного из сыновей, по-моему, младшего.

Прокурора, кажется, тронула детская наивность старика, легко устранившего закон. Чтобы не обидеть уважаемого человека, он начал издали:

— Мы прежде всего защищаем семью. Поэтому не сразу разводим, а сначала стараемся помирить. В деле вашей внучки примирения не состоялось — она твердо настаивала на разводе. Но раз семья разрушена по ее вине, дети остаются с отцом.

— Защищаете семью... Слушай меня, сынок. Я сам думал, что защищаю семью... Но никакой семьи у них не было. Да, не было. Разве может быть семья без любви и взаимного уважения? Мы-то, старики, живем старинной. Мы рвем и мечем, стараясь из-за своего невежества сохранить несуществующие семьи. И наши дети, бедняжки, часто, чтобы угодить нам, как в театре, стараются прикинуться любящими, чтобы показать, что все у них в порядке. А на самом деле ничего, кроме смирения со своей судьбой, нет. Вот так и проживают свой век без огня и пламени. Думаешь, мало таких? Ну мы, старики, мы полны пережитков, потому и мучаем их. А вы? Вы-то ведь сами молодые. Вы-то должны понимать, что кроме прочего есть любовь? Ты говоришь: «Такой закон». Закон — это хорошо. А что есть в законе про любовь? Про любовь в законе что-нибудь сказано?

Прокурор задумался и вдруг посветлел лицом.

— Кое-что сказано! — И он засмеялся.

— «Кое-что!» Этого мало. Человека, который не терпит фальши, лишают материнства — так сказано в законе?

— Нет, так не сказано, Ачил-бува.

— Тогда все в порядке, раз не сказано. Тогда надо пересмотреть дело. Маленький Учкун должен жить с матерью. Оц сейчас лежит больной. Ему нужно тепло материнских рук. Мать рвется к больному ребенку, а ее не пускают... Вчера ее оскорбили и выгнали. — Ачил-бува печально посмотрел на сидевшего у двери Азимджана, как бы приглашая его быть свидетелем. И Азимджан согласно кивал головой.

— Ладно, посмотрим, бува, — сказал прокурор.

— Ты напиши, напиши на листке календаря: маянского Учкуну матери, Камиле, дочери Алимтай-дарги.

Прокурор подвинул к себе настольный календарь и написал: «Учкун. Камила».

— Я прослежу за этим делом,— сказал Ачил-бува.

— Хоп, хоп!— улыбнулся прокурор.— Я много раз слышал, что, не вникнув в суть дела, вы не станете в него вмешиваться.

Ачил-бува не возражал, а про себя подумал: «Знал бы ты, как я в это дело вникал, назвал бы меня глупым. А что подумал муж Камилы, который видел и слышал, как я себя вел?» Старик почувствовал, что лоб его покрылся испариной. Захотелось сейчас же пойти к ним обоим, просить, чтобы простили его, старого дурака. Но бува тут же решил, что сначала надо исправить причиненное зло, а потом можно будет и встретиться...

— Не забудешь, сынок, о моей просьбе?

— Нет, нет, бува! Сегодня же затребую дело,— сказал прокурор.

— Я проверю!

Когда они вышли на улицу, ветра как не бывало: с ясного неба светило солнце. Хурджуи на плече Азимджана казался ему теперь необыкновенно легким. Как-то посветлело на душе и у старика. Обоим захотелось говорить.

— Я привык держать детей в узде, водить их по своей стежке. А надо научиться и к ним прислушиваться.

— Не велик ваш грех, бобо! Не мучьте себя. Не надо на старости лет переучиваться,— сказал Азимджан.

— Э, нет. Дело, мой мальчик, не в старости! Старость мудра, а то, что сделал я, глупость, дань тому, что у нас называется пережитками.

— Бува, вы ничего не рассказывали мне об отце Камилы Алимтае-дарге.

Ачил-бува забрал в горсть бороду и дернул влево. Так он делал всегда, когда испытывал чувство гордости. А гордиться старику случалось нередко, и поэтому его борода немного скосбочилась.

— Алимтай старше Арифа. Он был большим человеком, участвовал в революции и умер молодым...

— Камила похожа на него?

— И на него похожа и на мать. Мама Камилы была

дочерью казаха, вольной дочерью степи. В семье ее отца было много не только богатства, но и дочерей. Но паранджу никто из девушек не носил. После смерти отца Камилу воспитывала мать.

Предусмотрительный путешественник берет в дорогу книгу. Азимджан ехал с Ачилом-бувой. До самого Самарканда Ачил-бува рассказывал, а Азимджан слушал. Послушаем и мы...

### РАСКАЗ О ТОМ, КАК АЛИМТАП ПОЕХАЛ УЧИТЬСЯ В МЕДРЕСЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

В тот год Ачила еще никто не называл бувой. Молодым и красивым ходил он по Чинар-кишлаку, гордый оттого, что устроил судьбу своего старшего сына, отправив его учиться в медресе. Ачил-кузнец не знал, что его сын, главарь всех кишлачных сорванцов, недолго постигал в Бухаре книжную премудрость. В первое же лето его жизни в медресе случилось такое, из-за чего в один прекрасный день он покинул город с караваном богатого купца казаха. Короче говоря, Алима сманила дочь купца, тем самым изменив его судьбу.

Он встретил девушку в караван-сараяе, куда приходил просто так, поразвлечься. Девушка стояла рядом с одногорбым верблюдом, обутая в красные сапожки, в бархатной безрукавке поверх белого шелкового платья. Она играла прутиком и улыбалась. Алим впервые в жизни видел открытым лицо незнакомой девушки. Он не успел опомниться, как она, беззастенчиво оглядев его с ног до головы, и, очевидно, довольная впечатлением, которое произвела, сказала:

— Ну, чего уставился, муллавача?

Серебряные подвески на ее лбу и груди зазвенели от легкого движения плеч. Семнадцатилетний Алим был и сам достаточно хорош собой, черноглазый и чернобровый, с лицом белым, как молоко, и с румянцем на щеках. Он и без того за словом в карман не лез, а внимание девушки придало ему смелости.

— Как тебя зовут?— спросил он, не теряя времени.

— Приходи в базарный день — скажу.

Вряд ли стоит говорить, что Алим приходил во все дни: в базарные и небазарные. Во дворе караван-сарая

и на базаре в шерстяном ряду, где торговал купец, Алим бывал чаще, чем в своей мрачной каменной келье в медресе. Незнакомая раньше радость поселилась в его сердце, напрочь лишив покоя. Глаза его ничего не видели, кроме красоты девушки, уши ничего не слышали, кроме ее голоса. А в довершение всего девушку звали Джамал, что значит — красавица.

— Только пророк мог осмелиться дать тебе такое имя, — сказал муллавача.

Девушка была догадливой и не стала выяснять, почему пророк.

— Да, конечно, — согласилась она. — Моя мама — пророк, но об этом знаем лишь я и она.

— Теперь и я знаю.

— А еще что ты знаешь?

— Что еще? Если есть рай, а в раю гурии, то ты одна из них. Газели Саади написаны о тебе...

— Тогда мне тебя очень жаль, муллавача...

— Почему?

— Мы-то ведь не в раю... И Хайяма я люблю больше Саади.

Девушка оказалась сведущей не только в книжной премудрости, но и в житейских делах, и их беседе, казалось, не будет конца.

Как ни быстро развивались любовные события, товар купца был продан быстрее, и Джамал с караваном покинула город.

Она не очень удивилась, хотя и очень обрадовалась, обнаружив Алима в караване, уже довольно далеко ушедшем в степь.

— Вай-байау, как это ты... — Больше она ничего не могла сказать, потому что заплакала. Неожиданные слезы на глазах такой девушки — лучшее подтверждение искренности ее чувств, тем более что она не замедлила дать и другие доказательства этому. Короче говоря, не прошло много времени, как Алим вошел зятем в семью купца Элекбая и имя его переделали на казахский манер, прозвав Алимтай.

Элекбай едва мог написать свое имя, ему это стоило немалых трудов. Но он был неглуп и понимал, что невежество не лучшее украшение человека. По степным обычаям он давал своим детям полную свободу, охотно разрешал учиться, но при этом требовал, чтобы они уме-

ли наживать богатство и помогали ему в его торговых делах. Исключением оказался Алимтай. Не потому, что тесть проникся уважением к его учености. Просто профессия, которую Алимтай себе выбрал, хоть и не сулила прямых выгод, но открывала кое-какие возможности.

Семья купца-скотовода постоянно жила в Кокчетау. Алимтаю больше, чем знание персидского и арабского языков, которые он изучал с детства, пригодились знание русского, приобретенное во время странствий по базарам и площадям Бухары. Знание русского языка помогло ему стать учителем в начальной школе для казахов.

Тесть охотно простил Алимтаю полное пренебрежение к торговле, сообразив, что в этих делах он и сам не промах. А то, что зять учитель и приобрел много русских образованных друзей, льстило самолюбию и к тому же сильно подняло его авторитет в купеческой гильдии. Среди друзей Алимтая был даже сын начальника гарнизона.

Валериан учился в кадетском корпусе в Омске и приезжал к родителям на каникулы. Они подружились с Алимтаем как-то сразу, едва познакомившись. Не было дня, чтобы их не видели вместе.

Алимтаю нравилось бывать в доме начальника гарнизона, и он нередко засиживался там далеко за полночь, даже тогда, когда кончались каникулы и друг его уезжал. Душой дома была мать Валериана Юлия Николаевна, тоже учительница. По вечерам в уютной гостиной собиралась молодежь. Много спорили о литературе, о реформе Столыпина. Говорили о Толстом-художнике и его учении — непротавлении злу насиллем. Алимтай еще не очень свободно владел русским языком и с большим напряжением прислушивался к разным мнениям. А когда гости расходились, оставался и просил Валериана объяснить то, чего не понял. Часто при этом присутствовала Юлия Николаевна. Она не скрывала своей особой любви к старшему сыну, почти обожания, хотя нередко, вмешиваясь в беседу, говорила:

— Валерий, мне кажется, что ты становишься слишком радикален.

Но даже в этих вскользь оброненных замечаниях чувствовалось восхищение его умом, и только беспокойство матери за благополучие сына мешало ей согласиться с его взглядами.

— По-моему, ты злоупотребляешь доверием Алимтай. — говорила она, когда гость уходил.

На это Валериан обычно отвечал:

— Ты плохо его знаешь. Это же узбекский эфенди. Пока он сам не поймет, его ни в чем убедить нельзя. Редкий ум, острый, глубокий.

В отсутствие Валериана Алимтай продолжал бывать в его доме, рассказывал Юлии Николаевне о своих учительских делах. Юлия Николаевна охотно делилась с ним опытом, открывала тайны детской психологии. Оба они скучали без Валериана и любили посидеть вдвоем в его комнате. Однажды она достала из комода, покрытого скатертью из зеленого бархата с золотистыми кистями, шкатулку и показала Алимтаю золотую медаль — этой медалью ее наградило земство за бескорыстный и благородный труд.

Во время шумных молодежных сходок в гостиной нередко появлялся отец Валериана. Всегда подтянутый и внешне строгий, он обычно приходил к концу вечера, садился в глубокое кресло и внимательно слушал. Его не стеснялись и спорили так же горячо. Как-то он как бы невзначай сказал:

— Не забывайте, господа, одного: любовь к родине святое чувство. Идея монархии заключается в том, что, служа царю, мы служим отечеству.

Валериан спросил:

— А если идея изжила себя, что делать тогда, отец?

— Прежде всего удостовериться, действительно ли она себя изжила или это иллюзия молодого воображения.

Алимтай ждал, что Валериан возразит отцу. Но друг его промолчал. Алимтай вообще никогда не слышал, чтобы Валериан спорил с родителями.

Джамал первое время довольно терпеливо относился к тому, что муж частенько приходил домой далеко за полночь. Но как-то, когда он, тихонько раздевшись, прилег рядом, думая, что жена спит, она сказала:

— Мне надоел твой кадет. Еще раз придешь так поздно, будешь спать один на кошме. Понял?

Алимтай понял. Джамал была для него самым близким и родным человеком.

К Элекбаю захаживали купцы. Особенно частым гостем был сосед Гаврила, крупный конезаводчик. Его та-

буны заполнили всю степь. Купцы подолгу засиживались за столом, тоже спорили, кричали, но как непохожи были их шумные попойки на вечера в доме начальника гарнизона!

Гости за столом тестя объедались мясом, выпивали, прикидываясь друзьями, а днем готовы были утопить друг друга за копейку. Слушая их разговоры, Алимтай узнавал, кто из городских чиновников и гарнизонного интендантства берет взятки, кто из жен и мужей изменяет друг другу и с кем. Купцы поносили и отца Валериана Владимира Яковлевича — начальник гарнизона не брал взятки, а поставки армии лошадей, скота, зерна были выгодны. Подвыпив, Гаврила приставал к Алимтаю.

— С кадетом дружбу ведешь, в господский дом ходишь, а какая тебе от этого выгода?— спрашивал он.

— Смотря по тому, кто какую ищет,— отвечал Алимтай.

— Ты какую?

— Я никакой...

— Вот те раз,— Гаврила недоуменно разводил руками, а гости, притихнув, слушали.— А может, это ты поряд тестю устроил? Похлопотал бы и за меня. Все-таки сосед.

Алимтай подозрительно посмотрел на тестя. Тот суетливо разлил гостям водку, сказал:

— Совсем плохо говоришь, Гаврила.

— Это почему же плохо? Он у меня весь ремонт забраковал, цена, видишь, неподходящая. Что, он свои деньги платит? А у тебя отару овец взял... Паршивенькая отара. Ничего. Я до него доберусь. Я не таких к рукам прибирал. Я с него белые перчатки сыму...

Алимтай не понимал, что имел в виду Гаврила, но видел, что тот ненавидит отца Валериана.

Когда гости, рыгая от сытости, расходились, Алимтай долго не мог уснуть. Было ощущение, что ему наплевали в лицо. Джамал успокаивала мужа, сознавая, что и сама виновата в том, что заставила его провести вечер с чужими ему людьми.

Однажды тесть пришел расстроенный. Интенданты по приказанию начальника гарнизона отказались принять истощенных овец.

— Скажи, зачем он притесняет бедного казаха?— спросил тесть Алимтая.



— А зачем ты продаешь дохлых овец? Разве солдаты не люди? Сам бы ты таких овец есть не стал,— ответил Алимтай.

Элекбай обиделся:

— Правильно говорит Гаврила, плохой человек, глупый человек.

Алимтай понял, что Владимир Яковлевич нажил еще одного врага.

А лето выдалось беспокойное. Из России доходили слухи о жестоких реформах Столыпина. В Кокчетау привозили партии ссыльных.

Алимтай часто не ночевал дома. Он не расставался с приехавшим на каникулы Валерианом. О своих ночных похождениях Алимтай не рассказывал даже жене, но Джамал больше не упрекала его.

Город спал. В камышах Капакуля кричала самка куропатки. Над рекой Килчиксай клубился предутренний туман. В этот час, когда ночь шла на убыль, а рассвет еще не настал, из проулка на городской окраине вышли мужчина и женщина. Зброшенная тропинка в зарослях камыша привела их на обрывистый берег. Скрытый туманом, внизу шумел глубокий омут. На плече мужчина нес какой-то узел. На берегу он сбросил узел и развернул его на влажной от росы траве. Потом они стали собирать камни.

Гаврила Афанасьевич вышел из дома по нужде. В белье он постоял у плетня и уже собирался уйти, как вдруг услышал негромкие голоса и, оглядевшись, увидел в рассветных сумерках неясные силуэты над обрывом. Перекрестившись, он побежал за Элекбаем. Они прилегли за плетнем.

Мужчина, увязав узел, с трудом поднял его и бросил с обрыва. Элекбай и Гаврила переглянулись, услышав всплеск воды. У Элекбая мурашки пробежали по спине. А Гаврила снова перекрестился, потер обожженный крапивой зад.

— Япрай<sup>1</sup>! Володимир Яковлевич!— сказал Элекбай.

— Сдурел, сосед?— спросил Гаврила.

— Сам сдурел!— обиделся Элекбай.

---

<sup>1</sup> Возглас удивления.

Мужчина со своей спутницей прошли по берегу и скрылись в камышах. Теперь и Гаврила разглядел, что это был начальник гарнизона с женой.

Гаврила и Элекбай разошлись не сразу. Стояли по обе стороны плетня, разделявшего их дворы.

— Эх, узнать бы, что они кинули,— сказал Гаврила.

— Как узнаешь? Глубоко. Течение сильное.

— Да, прошлый год конь у меня там потонул. Три дня искал, не нашел.

— Плохое сделали. Хорошее так не делают,— сказал Элекбай.

— Это точно, сосед,— подтвердил Гаврила и потер руки.— Теперь, Владимир Яковлевич, никуда от нас не денешься. Теперь мы тебя прижмем.

Во двор вошел вернувшийся из города Алимтай. Ни тесть, ни Гаврила его не видели, а он слышал их разговор и, хотя ничего не понял, решил предупредить друга.

Владимир Яковлевич с женой вернулись, когда дом еще спал. Юлия Николаевна продрогла и была бледна. За эту ночь она состарилась на несколько лет. Она заглянула в комнату сына. Кровать была по-прежнему не разобрана, значит, Валериан еще не пришел.

— Ты уверен, что ротмистр ни о чем не догадался?

— Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным, дорогая.

— Надо поговорить с Валерианом. Боже, наш мальчик — революционер! Смерть, в лучшем случае каторга. Володя, поговори с ним, его надо спасти.

— Поговорю, конечно, поговорю.— Владимир Яковлевич устало присел на диван.

Что же все-таки произошло? Почему начальнику гарнизона пришлось совершить таинственную ночную прогулку и сбросить с обрыва какой-то узел?

Все началось с того, что накануне перед вечером на улицах, площадях и в казармах появились листовки. В них сообщалось, что в России восстали некоторые воинские части, экипажи кораблей. Листовки кончались призывом: «Не стреляйте по братьям-рабочим! Долой самодержавие!» Такого события в Кокчетау еще не бывало. Городовые и жандармерия шарили по чердакам, срывали

листовки со стен домов и телеграфных столбов. Начались обыски в бараках, где жили ссыльные.

Жандармский ротмистр пригласил к себе начальника гарнизона. Сам по себе факт исключительный, и Владимир Яковлевич объяснил его особыми полномочиями, видимо, полученными начальником жандармского управления.

Когда он вошел в кабинет ротмистра, тот поднялся ему навстречу и не сажился, пока не сел Владимир Яковлевич.

— Простите, но вынужден был вас побеспокоить,— сказал ротмистр.— Надеюсь, вы знаете о листовках, найденных в казармах?

— Знаю и жду, что вы объясните, как они туда попали.

— Признаться, я бы хотел получить объяснение от вас. Как ни прискорбно, но и вам придется принять участие в поисках.— Ротмистр достал две пачки листовок, перевязанные золотыми нитками, и положил их на стол.— Эти еще не успели разбросать. Обратите внимание на нитки... Согласитесь, не совсем обычная вещь для нашего убогого города.

Владимир Яковлевич узнал нитки. Узнал сразу. Из них были сплетены кисти зеленой бархатной скатерти, которой был накрыт комод в комнате сына. Что знал ротмистр?

— Спокойствие во вверенных нам владениях — наш общий долг перед его величеством государем императором, не правда ли?

— Вы меня убедили. Дайте мне эти пачки. Я проведу расследование среди офицеров,— сказал Владимир Яковлевич и протянул руку к листовкам.

Ротмистр почтительным прикосновением отвел его руку.

— Простите, Владимир Яковлевич, но листовки останутся у нас. Вы же напишите письменное объяснение...

— Письменное объяснение вам? Вы забываетесь, ротмистр. Я вам не подчинен и ничего писать не буду. Я пришел по вашему приглашению, питая некоторое уважение к учреждению, которое вы возглавляете. Не советую вам превышать свои полномочия.

— Вам известны мои полномочия?..

Владимир Яковлевич, не дослушав и не попрощав-

шись, вышел, сел в ожидавшую его пролетку и поехал домой, то и дело торопя кучера, преданного ему солдата:

— Гони, Пахом, гони!

Вот так и случилось, что близко к рассвету, не дождав-шись сына, Владимир Яковлевич переделался в штатский костюм и вместе с Юлией Николаевной, связав в узел скатерть, пошел к обрывистому берегу Килчиксая.

Рассказ Алимтая взволновал Валериана. Они посидели в саду, не сразу решившись войти в дом. В комнате Валериана сиротливо поблескивал оголенный комод. Валериан присел на кровать, но тут же вскочил и побежал в комнату горничной.

— К нам никто не приходил?— спросил он.

— Когда, Валериан Владимирович?— Горничная спросонья удивленно смотрела на молодого хозяина.

— Ну, сейчас, ночью, вечером?

— Нет, вроде бы никого не было...

Валериан вернулся к себе. Алимтай спросил:

— Что говорят?

— Никого не было,— ответил Валериан.— Это отец! Больше никому.

— Но как он догадался?— спросил Алимтай.

— Прокламации, разбросанные в казармах, были из пачек, перевязанных нитками. Ну да теперь все равно, следы заметены. Ну, ладно. Я скоро уезжаю. Плохо, если у отца начнутся неприятности.

— Я буду на чеку,— сказал Алимтай.

— Спасибо, друг. Что бы такое подарить тебе на память? Ага, вот что.— Валериан достал из комода книжку.— «Граф Лев Николаевич Толстой. «Николай Палкин»,— прочел он.— Возьми на память. Только пусть на глаза посторонним не попадает.

— Николай? Какой Николай?— переспросил Алимтай, беря книгу.

— Тот самый!— Валериан ткнул пальцем вверх.

— Нынешний?

— Нет, прежний. Но это один черт.

— Палкин? Николай Палкин!— Алимтай захохотал.

— Бери книгу. Она мне очень дорого обошлась.

— За сколько же ты ее купил?

— Эх ты... эфенди узбекский, разве за деньги такую книгу купишь? В кадетском корпусе я должен был перейти в шестой класс с двенадцатью баллами. Когда же у

меня в матраце нашли книгу, мне поставили семь баллов. Понял теперь, какая у книги цена?

— А как же она снова у тебя, если ее нашли?

— Выкрал из комнаты взводного офицера. Он прибежал ко мне: «Как ты смел?» А я спросил его: «А как вы смели?» Теперь мы квиты.

— Правда, квиты?

— Пока...

Они спустились к завтраку. Из дверей столовой вышел Владимир Яковлевич.

— Доброе утро,— сказал он и внимательней, чем обычно, посмотрел на Валериана.

— Доброе утро, отец.

— Доброе утро, Владимир Яковлевич.

Чисто выбритый, как всегда, подтянутый офицер — слуга царя и отечества, мог бы сказать сыну, что не одобряет его действий, не намерен принимать в них участия, что путь, избранный им, ведет либо на виселицу, либо на каторгу. Сын мог бы ответить: прости, папа, жить иначе не в моих силах. Вместо этих несказанных слов они лишь посмотрели друг другу в глаза. Молчаливая сцена длилась мгновение, но и мгновения хватило, чтобы они поняли друг друга и сын успел оценить великодушие отца.

Было слышно, как на крыльце крикнул денщик:

— Пахом! Подавай!

Владимир Яковлевич направился к выходу.

— Валериан, ответь мне прямо,— спросил немного погодя Алимтай.— Скажем, не было бы у тебя отца-дворянина, офицера, короче, не было бы у тебя защитника, ты все равно был бы таким? Ну, понимаешь, ты бы все равно был революционером?

— А почему ж нет? Ты революционер, а твой отец, насколько я знаю, не дворянин и не офицер...

— Какой я революционер? Я просто делаю то, что ты мне поручаешь.

— Значит, ты смелее, чем я.

— Какой я смелый? Я невежественный... Я ничего не понимаю,— тихо сказал Алимтай.

— Чего же ты не понимаешь?

— Прежде всего тебя... Какая тебе польза от того, что ты взбудоражил весь город, поднял на ноги жандармов и полицию? Ну, а вдруг беда? Объясни мне, ради

чего ты рискуешь жизнью? Видишь, какой я темный? Сразу задал столько вопросов...

— Поверь мне, у меня вопросов не меньше... Я знаю одно — если в жизни нет цели, которая выше и дороже собственного благополучия, если ты ради этой цели не готов рисковать самой жизнью, значит, тебе и твоей жизни грош цена. А если такая цель есть, то ничего не страшно, даже поражение...

Все, что Владимир Яковлевич не сказал сыну в то памятное обоим утро, он написал ему в письме. Он сообщил сыну, что впервые в жизни поступил против совести, изменив присяге, что сделал это ради его спасения. Он признавал право сына самому решать свою судьбу, но прежде просил взвесить все возможные последствия. Отправив письмо, Владимир Яковлевич со все возрастающим волнением ждал ответа.

Вместо ожидаемого письма, вернувшись со службы, Владимир Яковлевич застал дома сына. Валериан приехал не один.

— Знакомься, папа,— сказал он.— Моя невеста.

— Катерина,— сказала девушка.

— Бывшая гимназистка. Мы решили вместе начать новую жизнь. Построим дом, разведем кур, уток и прочую живность.

— Ваше решение делает вам честь,— ответил Владимир Яковлевич. Он уловил в словах сына иронию и понял, эта ирония и есть ответ на его письмо.

Когда молодые вышли, Юлия Николаевна спросила:

— Что ты об этом думаешь? Может быть, женитьба действительно поможет мальчику остепениться?

— Нет, Юлия, нет... Все зашло, кажется, слишком далеко.

С приездом Валериана и его невесты напряжение в доме возросло.

Как-то Владимир Яковлевич всю ночь проходил по кабинету. Ближе к рассвету он присел на диван и даже задремал, уронив голову на грудь. Он не услышал, как в кабинет вошла Катя. Только когда она негромко повала:

— Владимир Яковлевич!— он вздрогнул, поднял голову.

Катя стояла в дверях. Владимир Яковлевич подумал: «Она намного старше Валериана».

— Я знаю, что вы не спали всю ночь. Вы волнуетесь,

— Да. Признаюсь, мне казалось, что я мог расщипывать на большую откровенность сына.

— Конечно. Но ради вашего спокойствия, ради спокойствия Юлии Николаевны... Поверьте, меньше всего он хотел вас обидеть. Ваши представления о сыне...

— Простите, но откуда вам известно, каким я представляю себе своего сына?

— Он показывал мне ваши письма. Я его друг. Вы всего лишь догадываетесь, кто ваш сын, но вы не знаете, кем он стал для нас. Прочтите вот это,— девушка протянула вырезку из газеты.

В кабинете было недостаточно светло, и Владимир Яковлевич подошел к окну. Статья была посвящена надвигающимся революционным событиям и заканчивалась призывом: «Опирайтесь на молодежь, господа!» Героем статьи был молодой человек, выступивший на митинге железнодорожников в Омске с речью о роковом воскресенье.

— Этот молодой человек ваш сын, Владимир Яковлевич,— сказала Катя, когда он кончил читать и вопросительно на нее посмотрел.

— Что это за газета?

— Это нелегальная газета.

— А кто вы такие?

— Социал-демократы России. Почему вы не спросите, кто автор статьи?

— Вы?

— Ну разве мне под силу так написать? Статья одного из умнейших людей, Владимира Ильича Ульянова.

— ...Что ж, выбор судьбы — дело самого Валериана. Я не стану ему мешать. Вы действительно его невеста?

— Нет. Просто так легче для конспирации, Валериан едет в Петербург.

— Когда?

— Завтра. Вернее, уже сегодня. Внешний предлог. Он действительно будет учиться в Военно-медицинской академии...

Владимир Яковлевич знал, что значит сейчас ехать в Петербург...

Автор статьи, которую дала Владимиру Яковлевичу Катя, не зря говорил о пробуждении революционного сознания народа. Это поняли и жандармы. Они свирепствовали в городе как никогда. Кто-то продолжал разбрасывать листовки и прокламации. Владимиру Яковлевичу стало известно, что в этом замешано и несколько офицеров гарнизона. Тучи сгущались. Повальные обыски, которые производились в городе, не миновали и дома начальника гарнизона.

К Владимиру Яковлевичу прибыл сам ротмистр.

— У многих сие производим, у вас же только для вида, дорогой,— фамильярно сказал он. Владимир Яковлевич уже знал об особых полномочиях, полученных ротмистром, и ни в чем ему не перечил.

Жандармы тщательно осмотрели весь дом и ничего не нашли. Начальник гарнизона был предупрежден о возможном обыске Алимтаем, тот услышал как-то разговор тестя и Гаврилы. Они решили рассказать ротмистру о ночном путешествии к реке, свидетелями которого были. Алимтай понял, что, если он не помешает, они дадут в руки ротмистра серьезные улики против начальника гарнизона. Медлить было нельзя. Предупредив Владимира Яковлевича, Алимтай отправился в жандармерию.

Утром Гаврила и Элекбай пришли в жандармское управление.

— Стражу и благодетелю народа, господину ротмистру наше нижайшее почтение,— сказал Гаврила.

Но ротмистр даже не обратил на него внимание. Он уставился на Элекбая и долго на него смотрел.

— А ты наглец, большой наглец,— сказал он.— Смотри-ка, сам прибежал? Ну и хитер...

Элекбай сжался под взглядом ротмистра, не понимая, что тот от него хочет.

— Ты Элекбай?— спросил ротмистр.

— Так точно, я... мы, господин ротмистр.

— Узбек учитель твой зять?

— Наш зять, наш...

Ротмистр сунул руку в ящик стола и, вынув золотую кисть, подбросил ее и поймал, после чего провел ею по носу Элекбая.



— Узнаешь?

Элекбай замахал головой, и ротмистр достал пачку прокламаций, перевязанную ниткой, и подвинул ее к Элекбаю.

— И это не узнаешь?

Элекбай снова затряс головой.

— Я же говорю, наглец. И зять твой наглец. Говорит действовал один. Как же, так я ему и поверил. Кто его привез из Бухары? Ты! В обшивке чьей юрты он прятал листовки — в твоей! А где такую дорогую бахрому достал? Скажешь, не у тебя? Увести его! — закричал ротмистр и показал жандарму на Элекбая.

Элекбая выволокли в коридор. Соседа Гаврилы и след простыл, как и когда он улизнул, никто не заметил.

Когда Ачил-бува и Азимджан, немного оглохшие при посадке, вышли на самаркандский аэродром, солнце стояло в зените и на землю падали короткие тени голубых минаретов. Соблазн осмотреть древний город был велик, но они от него удержались и прямо из аэропорта поехали на автовокзал. Никто точно не знал, сколько километров до нового рудничного городка у подножия гор, но все в один голос утверждали, что до Шодасая они доедут к вечеру. Ачил-бува и Азимджан поспешно попили чаю и, спрятав в складках обширных поясных платков по лепешке, стали в очередь у билетных касс.

Автобус оказался вполне современным. Пассажиры свободно расселись в мягких креслах и любовались в окна бурными реками, мостами, холмами с обнаженными красноватыми осыпями.

— Бува, что было потом с Алимтаем?

— Он много лет провел в тюрьмах и ссылках. А после революции плывал на пароходе из Хорезма до Чарджоу и в короткий срок успел прославиться как Алимтай-кормчий. Камиле исполнился год, когда пароход захватили басмачи и Алимтая вместе с комсомольцами, ехавшими на учебу из Хорезма, зарезали.

— А его друг Валериан жив?

— Нет. А ты знаешь, кто он такой?

— Не знаю, бува...

— А о Куйбышеве что-нибудь слышал?

— Конечно, слышал. У вас в России есть такой город.

Во время войны там даже, кажется, было правительство.

— Все правильно. Город этот называли по фамилии Валериана. Он стал очень большим человеком, соратником великого Ленина.

«Да, удивительная страна, удивительные людские судьбы», — думал Азимджан. Он высунул голову в окно. Позади осталась огненно-рыжая цепь холмов, поля со скошенной пшеницей, и все ближе были синеватые горы, подпиравшие вершинами небо. Слева надвигались иссиня-черные тучи, сползая по склонам гор. Лента асфальта вилась в предгорье, ныряла в ущелья, из которых веяло прохладой и запахом близкого дождя.

— О чем задумался, малыш? — спросил Ачил-бува.

— Вся жизнь в вашей стране связана с именем Ленина. Вот даже наша семья через дядю Алимта тоже связала себя с ним...

— Как же может быть иначе? Ленин — наша судьба, наша жизнь!

— Я понимаю. И вот об этом думаю.

Азимджан посмотрел на бобо. В отсветах далеких молний лицо старика с белой окладистой бородой было точно высеченным. Азимджан неожиданно для себя представил себе своего деда на гранитном пьедестале. Он подумал, что Ачилу-буве по обычаям этой страны обязательно поставят памятник, и он будет еще величественнее, чем памятник Джабаю...

В межгорье зима приходит рано. В долине еще было много зелени, а здесь стояла глубокая осень и преобладали желтые краски. Высушенные летним зноем пастбища, прорезанные ручьями, почернели от дождя. На кустарниках сиротливо качались на ветру одинокие листья и вдруг, сорвавшись, улетали. Догорал бледно-пунцовый закат, и облака с розовым подбоем гнались вслед за дождевыми тучами. Поздняя осень лежала вокруг. Пора покойного умирания лета, деревьев, земли.

— Бува, вы думаете о смерти?

— Да.

— Бойтесь?

— Теперь нет, а случалось, боялся. Это было в молодые годы, в такие, как твои... Вспомнишь о смерти, и душу охватывал ужас. Но жизнь проходит в преодолении страха смерти.

— Каким образом?

Старик не сразу ответил, думая о своей долгой жизни, многочисленных внуках и правнуках.

— Если бы старость наступала мгновенно, это было бы страшно,— сказал он.— Сегодня наступила старость, завтра смерть. Но, к счастью, старость приходит незаметно, осторожно, подступит, вновь отойдет — продлит молодость. Это очень великодушно. Пока наступила моя старость, я успел с ней сжиться, привыкнуть к ней. Так же и смерть...

— Неужели и она?

— Да. Вблизи смерти совесть человека обостряется и становится необыкновенно чуткой ко всем делам человеческим...

— Не понимаю, бува...

— В твои годы смерть была очень далека от меня, но я боялся ее. Когда старики говорили: «Никто и ничто в этом мире не вечно»,— я содрогался от ужаса. Мне не верилось, не хотелось верить, что я умру, а после меня так же будет приходить весна, расцветать сады, прорастать зеленой травой пастбища. Будут рассветы и закаты. И вечные невозмутимые горы, которых я уже не смогу видеть... Журчание текущей воды, смех и любовный шепот, которых я уже не буду слышать. Все в жизни останется, но не для меня и без меня... Иногда мне хотелось, чтобы в мире произошла катастрофа и чтобы после меня ничего не осталось, тогда смерть не была бы такой тяжелой... Так мне казалось.

— После смерти ничего не останется, бува,— сказал Азимджан,— ни богатства, ни природы, ни людей... Ничего... Не надо ни думать, ни смеяться, ни знать... Прошлое, будущее — все становится бессмысленным...

— Нет, малыш, нет! Жизнь твоя после смерти обретает смысл, если этот смысл был при жизни. Прошли годы. Смерть моя близка, гораздо ближе, чем была, а страха перед ней у меня нет. Сейчас я точно опустошенный кувшин. Все, что было во мне хорошего, вся моя сила, мои достоинства, думы мои, желанья мои, прав мой — все перешло в детей моих, в людей, с которыми меня сводила жизнь. Я уже почти полностью излил жизнь из своего кувшина. В нем осталось на доньшке желаний, мои незавершенные дела... Мои желанья в прощаниях. Помнишь, я говорил тебе про книгу прощаний... Человек

в старости больше живет воспоминаниями. Будущее в его детях. Многие остаются только с воспоминаниями. Ну, а если прошлое стыдно вспоминать? Тогда очень тяжело, малыш! Тогда это не старость, а мучение. У меня много светлых воспоминаний. Но у меня остались еще и желания. Остался сердечный жар, который я должен передать детям. Их много, детей, а я один. Некоторые близко, другие далеко. У одного семья, детишки, другой одинок. Вот, например, Акбарали, кровинка моя, твой двоюродный брат... Я, если не ошибаюсь, не видел его одиннадцать лет. А он ведь сирота...

...В этой долине небо меняется каждое мгновение. Только что лил дождь, а сейчас светит солнце и скользят по земле тени развеянных в клочья облаков. Проехали над обрывистым берегом реки, и автобус вкатился в рощу, покрывшую склоны ущелья. В густой тени не видно солнца, и, хотя небо еще светлое, под деревьями уже собирались вечерние сумерки. У выхода из ущелья на плоских холмах открылся маленький городок рабочих рудника. Внизу в пропасти грохочет, ворочая камнями, Шодасай, на противоположном берегу в голых тополях гомонят стаи ворон, как говорят в народе, призывают зиму.

Когда Ачил-бува побывал в этих местах одиннадцать лет назад, здесь, кроме глинобитных кибиток древнего кишлака, разбросанного по берегам реки, и нескольких деревянных барачков, ничего не было. А теперь это современный городок с мощеными улицами и двухэтажными домами. Улицы пробиты в скалах и соединяются с асфальтовыми дорогами, которые, петляя, исчезают высоко в горах.

В городок, который казался совсем близко, въехали вечером. Автобус долго кружил по улицам, пока не остановился возле автобусной станции. Пассажиры быстро рязошлись. Ачил-бува порасспросил, в какую сторону надо идти, отряхнул пыль с одежды, перебросил через плечо хурджуны и смело зашагал по незнакомым улицам к дому Акбарали. Они шли довольно долго, прежде чем бува понял, что заблудился.

— Город очень вырос, — оправдывался бува.

Когда выбрались наконец в нужную часть города, была уже полночь. Ачил-бува ускорил шаги, узнав знакомую улицу.

— Глаза мои еще видят, а память помнит,— хвастливо сказал он.

Внезапно Ачил-бува перепрыгнул едва видимый в темноте арык и постучал в раму широкого окна. Никто не отозвался. Все три окна оставались темными, хотя Ачил-бува стучал все громче.

— Крепко спит рабочий класс,— шутил он и барабанил по оконной раме.

— Вы не ошиблись? Этот? — спросил Азимджан.

— Неужели ты думаешь, что, сомневаясь, я стану рваться в чужой дом?

На противоположной стороне улицы остановился за-  
поздалый прохожий.

— Эй, кто вам нужен?

— Галиев здесь живет? — спросил Ачил-бува.

— В этом доме никто не живет, здесь музей! — сказал прохожий и ушел.

— Музей? Какой музей? — удивился бува, но даже шагов прохожего уже не было слышно.— Ничего не понимаю,— сказал Ачил-бува.— Пойдем поищем гостиницу, а утром разберемся.

Они двинулись в направлении огня и вскоре вышли на хорошо освещенную площадь. Чуть поодаль на одном из двухэтажных домов они увидели вывеску гостиницы.

Дежурная, заспанная, но приветливая старая женщина, отвела их в большую комнату в конце коридора, показала, где кубовая, если им вздумается пить чай, после чего ушла к себе досыпать. Ачил-бува оглядел комнату и остался доволен: две застеленные белоснежным бельем кровати, стол, стулья. За окном слышался равномерный шум Шодасая — реки, в честь которой был назван городок.

— Ну, слава богу, ночлег есть. Акбарали завтра найдем, никуда он от нас не денется. А пока давай хорошо выспимся. Странно,— помолчав, сказал он.— Я хорошо помню дом Акбарали. Откуда там взялся музей?

Азимджан пожал плечами. Он очень устал и впервые усомнился в хорошей памяти деда. Помыв руки и растелив на столе платок, он разломал на куски лепешку, потом стал перебирать хурджун, а Ачил-бува тем временем с чайником пошел в кубовую.

Кубовая еле-еле освещалась тусклой лампочкой. В углу бурлил титан. Лицо Ачила-бувы обдало влажным

теплом. Старик налил чайник и пошел было к двери, как увидел человека с пиалой.

— Давайте я налью вам чай,— предложил он.

— Мне не обязательно чай. Надо запить лекарство.

— Чай лучше, подставляйте пиалу. Угостить человека чаем — дело, угодное богу,— пошутил Ачил-бува, наливая чай.

— Рахмат,— поблагодарил человек.

Ачил-бува вышел в коридор. До странности знакомый голос у этого человека, вдруг подумал он. Лица в сумраке кубовой он не разглядел, а голос очень знакомый.

Ачил-бува замедлил шаги. Надо бы вернуться. Но тут человек сам появился на пороге. Не спуская глаз с пиалы, прошел мимо бувы и обернулся. Ачил-бува медленно приближался к нему, пристально вглядывался в заросшее лицо.

— Ты? — тихо спросил бува. Не отрывая от него глаз, он поставил чайник на ковровую дорожку.

— Бува?! — с надрывом в голосе сказал человек, пиала упала и разбилась. Они обнялись и долго не выпускали друг друга из объятий.

— Акбарали? Что с тобой стряслось, мальчик мой? — говорил бува, сжимая дрожащие плечи. Он с таким трудом узнал его не потому, что не видел одиннадцать лет. За эти годы человек в возрасте Акбарали не может сильно перемениться. Но бува обнимал почти старика. От Акбарали остались одни кости. Скулы торчали и горели болезненным румянцем. Лицо заросло полуседыми волосами, и борода сливалась с такой же полуседой, давно не стриженной головой. Плечи Акбарали затряслись, и он зарыдал на плече бувы.

— Сынок, ты болен? Почему же ты здесь, в гостинице?

Акбарали посмотрел на него глубоко запавшими, страдающими глазами.

— Все расскажу... Вам все расскажу, буваджан.

— А мы ходим ищем тебя...

— Кто ищет? Зачем? — Было похоже, что Акбарали испугался.

— У тебя есть двоюродный брат Азимджан. Он живет за границей. Я приехал с ним, чтобы вас познакомить.

— Да, да... Так... — говорил Акбарали, думая о своем и не вникая в слова деда. Так ведут себя люди, одер-

жимые одной мыслью и неспособные из-за нее воспринимать что-либо другое.— Бува, я все вам расскажу, только вам одному. Пойдемте,— Акбарали привел его в свой номер, грязный, с каким-то затхлым запахом, с небурашной смятой постелью.

Ачил-бува распахнул окно и, пока проветривалась комната, привел Азимджана. Предупрежденный бувой, тот, не обращая на Акбарали внимания, стал хозяйничать у стола.

Акбарали, прихлебывая из пиалушки чай и обжигаясь, начал свою повесть. Мы успеем ее прослушать, а перед этим, как у нас повелось,—

### ЛЕГЕНДА О ЧЕРЕПАХЕ

Ползет, переваливается с боку на бок черепаха.

Ее почти не видно, потому что панцирь черепахи одного цвета с землей. Она ползет, вытягивая длинную морщинистую шею, смотрит неподвижными, мертвыми глазами. Непонятно, зачем, но живет, двигается. Куда она ползет? Зачем? И почему так медленно передвигает свое неуклюжее тело? Может быть, у нее холодная кровь и мертвая земля держит, притягивает ее к себе?..

Слушайте и знайте. Были времена, когда черепаха совсем не была черепахой. Ловкая, сообразительная, стройная, она украшала землю. Она паслась на зеленых пастбищах с нежной и сочной травой, утоляла жажду росой с прохладных листьев и видела над собой лазурное небо. Гордая и прекрасная, она наслаждалась жизнью в том самом прекрасном из миров.

Однажды в этот благословенный мир пришли полчища хищников, и между ними и жителями благословенного края началась жестокая битва. За первыми полчищами чудиц шли другие полчища, и те, кто до этого беззаботно пасся на привольных лугах, то наступали на эти полчища, истребляя их силой своей и отвагой, то отступали, погибая от острых зубов и когтей.

Потоки крови залили пастбища, алым прибоем бились о подножия гор. И наступило время, когда защитники благодатной земли от муравья до слона собрались все вместе, чтобы либо победить врагов, либо погибнуть. Слушайте и знайте, та, что стала черепахой, увидела, как вокруг падают мертвыми ее друзья. И подумала она: зачем мне эта благодатная земля, если я ее больше никогда не увижу? И, подумав так, она потихоньку отошла в сторону. Отошла и прилегла под камнем, поглядывая, как вокруг падают сраженные

бойцы. Она говорила себе: сражение еще не кончилось, я полежу, отдохну и, когда другие устанут, с новыми силами ринусь в бой.

Слушайте и знайте. Она пролежала под камнем сорок лет.

Говорят, сорок лет продолжалась битва. Сорок лет днем и ночью падали, истекая кровью, бойцы, а она все лежала. Настал день, когда полчища врагов были разбиты. Снова зазеленела трава, открылось лазурное небо и на рассвете капли росы засверкали в цветах. Слушайте и верьте, та, что стала черепахой, попробовала выбраться из камней, но не смогла шевельнуться.

Камни, среди которых она лежала, приросли к ней. Она вытягивала шею, перебирала ногами и оставалась лежать. К вечеру, собрав все силы и сдирая кожу с лап, она стронулась с места и медленно поползла на дорогу, неся на себе каменную тяжесть гор. Все те, кто прежде знал и любил ее, проходили мимо, не видя или не узнавая. Она добралась до луга, но не решалась со своим тяжелым панцирем заползти в траву, она боялась, что опрокинется в траве и не сможет больше подняться. Тогда она поползла в пустыню, в мертвые и горячие пески. Она поныне живет там, ее стали называть черепахой, а по-узбекски это значит ташбака — каменная жаба.

Слушайте и знайте. Это с тех пор ползает ташбака по мертвой земле, смотрит перед собой мертвыми глазами, живая и мертвая одновременно.

## ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ МГНОВЕНИИ

Самый страшный хищник — заяц.

*Насреддин Афанди*

Акбарали приехал к матери неожиданно ночью. Шарафат видела во сне Шодасай, кишлак своего детства. Долгие дни и ночи тосковавшая в одиночестве по сыну, подумала: «Сон в руку». Акбарали, промокший насквозь, в облепленных грязью сапогах, стоял в прихожей ее просторной и одинокой квартиры на четвертом этаже. С мокрой головы и заросшего лица стекала вода. Его подавленности и бледности Шарафат не заметила. Она не приглядывалась к нему, взволнованная тем, что сын наконец приехал к ней, что кончилось одиночество. Четыре года назад она уехала из Шодасая, выйдя второй раз замуж. Теперь она считала второе замужество и переезд из Шодасая в этот город ошибкой. Она всегда была люби-



мой невесткой Ачила-бувы, овдовев, безбедно жила с сыном. Но случилось так, что ее второй муж, ныне тоже покойный, вскружил ей голову. Ее никто этим не попрекал, просто с отъездом из Шодасая о ней как-то забыли.

После смерти второго мужа в тоске и горе она днем и ночью ждала, когда сын придет за ней. Так что ей дождь, осень, слякоть, раз сын приехал? Приехал ее Акбарали и увезет к себе, и они будут жить вдвоем, и он станет лелеять ее старость.

— Наконец-то дождалась, сыночек мой, ненаглядный мой,— говорила Шарафат.

Она хлопотливо обхаживала сына: почистила его сапоги, отжала и повесила сушить плащ. От чая Акбарали отказался и сразу лег спать. Он заснул прежде, чем Шарафат управилась с его одеждой. Тут только она спохватилась, что сын так и не сказал ей ни слова. Вглядываясь в его заросшее лицо с бледным лбом и темными провалами под глазами, она испугалась.

— Устал, бедный мой мальчик. Тоже ведь один. Ни приглядеть, ни накормить вовремя некому,— причитала она, поправляя спящему подушку. Сама она не сомкнула глаз всю ночь, представляя, как утром Акбарали вскочит, отдохнувший и бодрый, и скажет: «Мама, собирайте свои узелки-чемоданы, едем домой...»

Домой, в Шодасай, в родные места.

Акбарали как лег, так и встал к вечеру следующего дня. И хотя спал почти сутки, усталость не сошла с лица, выглядел он по-прежнему вялым, сонным. Как будто не понимал, где он. На мать смотрел как на постороннего человека, не проявляя ни радости, ни желания разговаривать, бесцельно бродил по комнатам: возьмет в руки одну вещь, другую, посмотрит, повертит и положит на прежнее место. Потом неожиданно побрился, стоя у окна, и, побрившись, стал смотреть на улицу. Шарафат не выдержала молчания сына, заговорила сама.

— Ты болен, сынок? — спросила она.

— Нет, мама, я здоров,— сказал Акбарали и вдруг ласково провел рукой по ее волосам.— Уже немного седые,— сказал он.

От ласки сына на сердце Шарафат потеплело.

— Поседели, сынок, поседели. Это оттого, что живу вдали от тебя. Вот вернемся в Шодасай — и снова помолодею.

— В Шодасай, мама, мы не вернемся. Будем жить здесь...

Шарафат почувствовала приближение приступа астмы, он всегда наступал от волнения. Ее огорчило не то, что они не поедут в Шодасай, о котором она тосковала, встревожила ее обреченность в голосе сына.

— Совсем? — переспросила Шарафат. — Поссорился с начальством?

Акбарали молчал.

— Что-нибудь натворил?

— Нет, нет, нет. Отстаньте! — закричал Акбарали. — Почему я не имею права переехать в другой город? Переменить работу? Разве я не свободен? Разве не имею права жить там, где хочу? — Он резко распахнул форточку. Вместе с холодным воздухом в комнату влетели капли дождя.

— Зачем сердиться? Ты же сам знаешь, что у нас были другие планы, вот я и удивилась.

— Я хочу пожить в большом городе...

— Поживи на здоровье, сынок. Лишь бы ты был доволен.

Так закончился этот тяжелый разговор. Но после него в доме, вернее, в сердце Шарафат поселился страх. Она уже забыла о своей тоске по Шодасаю и все время тревожилась за сына. Она поняла, что он что-то скрывает. Но что? По времени пора бы ему влюбиться. Может, удача в любви? Кто же она? Женщина? Девушка?

Шарафат точно ухватила за кончик клубка. Предположение о влюбленности сына сразу ставило все на свое место. Теперь, когда сын забывал бриться или часами сидел у окна, она не падала духом, а лишь хитро на него поглядывала.

— Поговорил бы со мной, сынок. Ведь я не первый день живу на свете. Кое-что знаю, кое-что повидала... — как-то заговорила она.

— О чем же говорить! Вот хожу ищу работу. Думаю, найду себе по душе.

— Педаром ты мой сын. Ведь я сердцем чувствую твою тревогу. Откройся, поговори с матерью, легче тебе станет...

— Мне не о чем с вами говорить! Слышите? Не о чем! — закричал он. И в следующее мгновение, схватив с вешалки плащ, выбежал, хлопнув дверью.

Шарафат словно получила пощечину. Она даже глаза зажмурила, как от удара. В груди началось знакомое по-свистывание — предвестник удушья. Она открыла окно и подставила лицо холодной струе воздуха. Держась за раму, посмотрела вниз на улицу, голова у нее закружилась, и она испуганно отошла в глубь комнаты. Очень высоким показался четвертый этаж. Шарафат как-то раньше об этом не думала. А вот Акбарали каждый день подолгу стоит у окна и смотрит вниз. Шарафат так испугалась своей догадки, что с трудом дошла до кровати и прилегла. Из всего, что произошло, она поняла одно: сын очень несчастлив. Неважно, что за причина его несчастья, он несчастен.

На другой день за обедом Акбарали сказал:

— Вчера я обидел вас, мама. Простите...

Он ушел с утра, начистив сапоги, чего не делал очень давно.

— Ты искал работу?— спросила она.

— Нет. Уже нашел.

— Пора бы... Прошло три недели. Поступишь на работу, не будешь так скучать.

— Деньги у меня пока есть. Вот возьмите,— Акбарали выложил на дастархан толстую пачку денег.

Ночью он спал спокойно, а придя обедать, сказал, что с завтрашнего дня начинает работать.

Он поступил электриком на строительный комбинат. К весне должны были сдать новый цех, и Акбарали работал с утра до вечера. Передко за ним присылали и ночью, и он шел по первому зову в любую погоду, словно искал в работе забвения.

Зимы в том году, собственно, не было. Были холодные дожди, а когда они кончились, запахло весной. Акбарали переменялся к лучшему. Он не стал таким, как прежде — веселым, остроумным, ласковым, но теперь, когда он подходил к окну, Шарафат не волновалась.

С высоты четвертого этажа видны были городские крыши, чисто вымытые дождями, красные, зеленые, желтоватые из железа и ярко-оранжевые черепичные. Где-то за городом прогремел гром первой весенней грозы.

Акбарали пришел с работы. Матери не было. Он поставил на газ чайник. Вошедшая с улицы мать была обрадована тем, что сын проявил внимание к мирским делам. Она сняла с головы промокший под дождем платок.

— Поешь сливок с лепешкой, сынок. Очень свежие сливки. А я заварю тебе чай.

Шарафат разлила чай, разломил лепешку и присела напротив сына.

— Стара я, что ли, стала,— сказала она.— Поднималась по лестнице долго, не могла отдышаться...

Акбарали с любовью посмотрел на нее, но промолчал. Мать казалась ему старой уже давно, а в последнее время она совсем сникла и выглядела болезненной. Приободренная его ласковым взглядом, она продолжала говорить, но по глазам сына поняла, что он ничего не слышит.

— На холмах зацвели тюльпаны. Дети принесли букеты, а все цветы в черных пятнах,— сказала Шарафат.

— Даже дождь не смыл? — спросил Акбарали.

— И дождь не смыл. Копоть не так легко смыть.

Акбарали молчал и жевал лепешку.

— Помнишь тюльпаны вокруг Шодасая? — спросила Шарафат.— Так и пылали огнем в эту пору. А вместо пыли и копоти в каждом цветке капли росы...

— Особенно внизу, где мельница,— сказал Акбарали. Морщины на его лице опять разгладились.— Ты помнишь на берегу Чимлика рощи тополей и джиды?

— Как же не помнить? Они, наверное, уже шумят на ветру. У меня перед глазами — тропинки, по которым я бегала в детстве. А ночи были такие лунные, светлые... А как-то ты с парнями и девушками заночевал там. Я всю ночь не спала, беспокоилась...

— Почему? — Акбарали развежился от воспоминаний и удивился, что мать тревожилась, когда он ночевал не дома.— Мы купались при луне, а купаться при луне все равно что днем. И вода в Шодасе такая прозрачная, другой такой воды я не видел ни в одной реке.

Шарафат уловила в его голосе тоску, и неведомая, затаенная боль сына тотчас передалась ей.

— Уедем, сынок, в Шодасай.— Она положила руку на его пальцы и почувствовала, как они задрожали.— Я ведь как иссякающий арык: сегодня я есть, а завтра меня уже не будет. Уедем... Вернемся в наш кишлак.

Акбарали вскипел, как вскипает молоко, мгновенно, выплескиваясь вместе с пенкой.

— Какой кишлак? Где кишлак? Я уже говорил вам,

нет там никакого кишлака. Город там, рудничный городок! Понимаете? — кричал он.

Шарафат, глотая слезы, молча принялась убирать со стола. И только когда Акбарали, сунув под мышку рабочую одежду, собрался уходить, Шарафат сказала:

— Что же ты все злишься, сынок? Не надо...

После этой вспышки Акбарали как будто взял себя в руки. Внешне жизнь наладилась. У него появились друзья, которые часто приходили в гости. Среди них особенно близким стал шофер Абдусамат. Веселый, общительный. Шарафат выделяла его из всей компании. В глубине души она даже завидовала его домашним, его матери. Легко жить, имея такого веселого, с легким характером сына. О чем бы ни зашел разговор — о футболе или о полетах в космос, — Абдусамат бывал в курсе самых мелких подробностей. Товарищи шутили: «Тебе бы участвовать в викторинах, все призы были бы твои».

Обычно Шарафат, сложив на коленях руки, тихо сидела и слушала их шутки и смех, с улыбкой наблюдала, как сын хлопочет, поит друзей чаем. Лишь бы они, дай бог им изобилие, не оставляли его, отвлекали от грустных мыслей. Сама она готова была выдержать все — и жизнь в нелюбимом городе, и тоску по родным местам.

Но в чем же дело? Что так угнетало Акбарали? Какую тайну нес он в себе? Трудно, очень трудно было поделиться ему этой страшной, изнуряющей душу тайной. Даже матери боялся он открыть ее.

...И откуда только появился этот человек в Шодасае? Звали его Бектемир, но Акбарали не сразу произносит это имя. Прежде делает над собой усилие...

...Он пришел ночью, постучал в окно, сказал, что друг отца. До сих пор видит Акбарали единственный глаз на худом лице этого человека в плохо освещенном коридоре. Акбарали пропустил Бектемира в комнату. Тот сбросил с головы капюшон потертого плаща, обнял Акбарали.

— Тебя звать Акбарали? — спросил он.

— Да.

Положив в угол комнаты мешок, гость снял с себя дождевик и оказался в одной сильно заношенной рубашке. Акбарали, как ни приглядывался к нему, узнать не мог. Он был, наверно, одних лет с отцом, если бы отец дожил до этих лет. Судя по всему, пришел издалека,

сильно продрог, потому что сразу же стал греть спину у горячей печки.

— Поставь-ка чай,— попросил Бектемир.— Один живешь?

— Мама переехала в город со вторым мужем, а он умер...

Гость присел к столу, точно находясь у себя дома. Закатал рукава рубашки, сказал:

— Мы с твоим отцом вместе были призваны и отправлены на фронт. В один день и час... Даже ехали в одном эшелоне. Из Капсана я... Вон с тех гор,— он махнул рукой, как будто ночью из комнаты можно было увидеть горы.

— Папа погиб в первый год войны,— сказал Акбарали.

— Знаю. Слышал.

— А откуда вы сейчас?

— Это долгая история рассказывать, откуда я...— Он жадно, обжигаясь, глотал горячий чай.

— А все-таки расскажите,— попросил Акбарали, И Бектемир рассказал.

В 1942 году его и нескольких бойцов, попавших в окружение под Моздоком, тяжело раненных и обессиленных от голода, взяли в плен. Он побывал во многих фашистских лагерях. Работал на прокладке туннелей, строил подземные заводы. Он провел в лагерях остаток войны вместе с военнопленными разных национальностей, научился говорить на нескольких языках. Из лагеря его освободили американцы. И он четырнадцать лет скитался по разным городам Европы.

— Ехать домой боялся,— сказал он.— Но тоска по родине оказалась сильнее страха. Вот приехал. Мне сказали: правильно сделал. Разрешили жить здесь. А я избегаю попасть на глаза не только родным, но и знакомым. Едва решился зайти к тебе. Очень любил твоего отца...

— Что же вы только чай пьете? Поешьте, Бектемир-ака. Вот колбаса...

Бектемир взглянул на дастархан, но, кажется, ничего не увидел.

— Мне надо немедленно начать что-то делать, понимаешь? Иначе я с ума сойду.

— А как же семья?

— У меня жена, дочь... Но я боюсь встречи с ними.  
— Почему?  
— Они не знают, что я жив. Как появлюсь, неустроенный, без денег? Им и так, наверное, трудно живется, а тут еще я сяду им на шею.  
— Поступайте работать.  
— Этого я и хочу. Поэтому и пришел к тебе. Найди мне работу! Мне нужно с головой зарыться в работу, трудиться день и ночь не покладая рук. Пусть люди увидят мой труд, мое желание приносить пользу. Тогда наступит день, я приду к ним, на колени встану, возможно, простят меня. Такая, Акбарали, моя история, помоги...

— Акбарали! Эй! Акбарали!

Шарафат открыла глаза. Накормив сына обедом, она задремала у окна. Уже наступили сумерки. Акбарали, видно, тоже уснул у себя в комнате. А с улицы зовут товарищи. Кричат нарочно громко, как дети.

— Сынок, за тобой пришли,— позвала Шарафат.

Акбарали услышал, высунулся в форточку, прокричал:

— Сейчас, Абдусамат!

Он торопливо одевался, примеривал галстуки — один, второй.

— Даже чая не попил.

— Не хочется. Попьем в буфете,— и умчался.

Стояла зима. После полудня хлопьями валил снег. Проглянуло солнце, и в его свете белые снежинки пролетали, как драгоценные кристаллы. Небо, крыши, улицы — все было белым-бело, и от этой чистой, сверкающей белизны на сердце Шарафат тоже стало радостно. В состоянии тихой радости она и задремала, пока ее не разбудили голоса, зовущие сына. Она прислонилась лбом к стеклу и смотрела на белеющую в сумерках улицу. В это время зажглись уличные фонари и все чудесно осветилось. Шарафат чуть не выдавила лбом стекло.

— Боже, не сглазить бы... Субхон,— сказала она от волнения по-русски и по-узбекски, потому что увидела под окном девушку.

Девушка стояла на тротуаре под белой акацией, окутанной причудливой изморозью. И прекрасна была девушка, как сам этот чистый, сверкающий огнями вечер.

И девушка эта здесь ради ее сына, потому что он, выйдя из подъезда, первым делом подошел к ней, и она что-то сказала ему, и он засмеялся. И все они пошли по улице.

— Лишь бы это не было сном,— сказала себе Шарафат и провела рукой по лицу. «Ободряй его, девочка, ободряй. Возьми в свои руки его душу. Ничего нет приятней мужчине, чем чувствовать свою душу в руках любимой»,— думала она и очень жалела, что друзья и сын со своей девушкой исчезли из поля ее зрения. Шарафат поспешила на кухню, где у нее подходило тесто, но продолжала думать о том, что увидела на улице, и продолжала радоваться за сына, надеясь, что с появлением девушки исчезнет его черная тоска. Но тут к Шарафат пришла мысль, что красивая невестка никогда не услужит свекрови, и это несколько охладило ее восторги. А вслед за этой мыслью пришли другие, не менее тревожные. Во-первых, с красивой женой много хлопот. Во-вторых, бог никогда не дарит вместе ум и красоту — это слишком расточительно. Тогда Шарафат стала успокаивать себя тем, что, возможно, девушка не так-то красива, что красивой она могла показаться в сумерках через стекло. Вот в таких раздвоенных чувствах и пребывала Шарафат до прихода сына. А когда он пришел, довольный и счастливый, в Шарафат вновь восторжествовали покой и радость.

Акбарали с аппетитом поел любимую им шавлю, распахнул форточку, ходил по квартире, насвистывая, оставиваясь то у балконной двери, то у окна.

— Мама, весной приспособим балкон под веранду. Правда, для этого придется сделать перестановку.

— Очень хорошо. Очень будет красиво,— сказала Шарафат.

Акбарали присел чинить старый приемник и продолжал насвистывать.

— Мама, а не купить ли нам вот в этот угол диван? Мне кажется, в этой комнате пусто.

— Ты прав, сынок. Диван в этом углу будет выглядеть хорошо.

— Как вам дышится, мама?

— Сегодня хорошо, сынок. Первый снежок выпал, наверно, поэтому.

— Я вас прошу поменьше работать... Ну, чай там заваривайте. Хватит с вас и этого... На базар и в мага-



зины я сам буду ходить... Гладить я тоже сам буду.— Как бы что-то вспомнив, он тут же сунул в штепсель вилку от утюга и стал гладить галстуки...

Шарафат всю ночь не сомкнула глаз. Она изо всех сил старалась сдерживать одышку, чтобы сын не услышал. Смотрела открытыми глазами в темноту, улыбаясь, что-то шептала, желая сыну счастливой судьбы.

Как будто все предвещало мир и покой. Как-то встретив возле гастронома Абдусамата, Шарафат бросилась к нему.

— Вай, сынок, почему не заходите? Я вас давно не кормила и не поила чаем...

— Э, мама, вашему сынку и моему другу сейчас не до нас. Ваш сын счастливейший человек, его полюбила красивейшая из красивых. Второй такой красавицы нет в нашем городе,— заболтал Абдусамат. Он погладил капот машины как некогда его отец гладил шею лошади.— Передавайте ему привет, мама...

— Хоп, передам, отец мой,— в тон шутнику ответила Шарафат и по дороге домой шептала: — Самая красивая в городе... Вай, смерть моя, откуда привалило мне такое счастье? Вай, не умереть бы, дожить бы до свадьбы...

— Мамаша, мамаша, что с вами? — Незнакомый мальчик пытался взять из рук Шарафат сумку с покупками. Он осторожно разжал ее пальцы и, бережно ведя под руку, проводил до подъезда.

С присущей ей материнской энергией Шарафат установила, что красавицу зовут Хадия, что она не какой-нибудь там перестарок, засидевшийся в девках, а совсем молоденькая, только что окончила техникум и работает в лаборатории комбината. А вскоре, в начале весны, ей удалось с ней познакомиться.

Был выходной день. От горячего солнца таял снег не только на холмах, но и на склонах гор. Воздух был теплым и свежим, как бывает ранним утром. И только на самой дальней горной гряде снег блестел, залитый солнечными лучами. Очень удачный денек для лыжной прогулки. Акбарали поднялся чуть свет, натер две пары лыж, большие и маленькие, что-то связывал, что-то собирал. Вскоре внизу загудела машина Абдусамата. Шарафат не удержалась, выглянула в окно. В кузове было полно девушек и парней. Все кричали, махали руками.

— Мама, пожалуйста, снесите лыжи вниз, они не тя-

желые. И скажите, что я иду следом. Я только зашнурую этот рюкзак.— Он даже вспотел, так торопился.— Сейчас иду, сейчас! — крикнул он в окно.

На душе Шарафат было празднично, будто она сама собиралась скользить из-за облачных вершин на этих легких деревяшках, о которых она в молодости даже не слышала. Спускаясь по лестнице, она встретилась с девушкой, которая легко избегала вверх. Это и была Хадия. И хотя они раньше не встречались — что можно разглядеть с четвертого этажа? — но узнали друг друга. Как узнали? А бог его знает, как в таких случаях узнают друг друга будущие невестки и свекрови?

— Шарафат-хола<sup>1</sup>,— Хадия опустила голову,— где Акбарали-ака?

Шарафат с минуту слова не могла произнести. Девушка действительно была прелестна. Ее личико было нежным, а губы припухлые; чуточку подрисованные, густые брови оттеняли белизну лба, а длинные ресницы вздрагивали от смущения. Сама она была худенькой, а грудь высокой и плотной. Белая кофточка из пышной шерсти и синие брючки из лавсана подчеркивали ее стройность.

— Подымись, детка. Подымись сама, он еще там,— сказала наконец Шарафат.

Она не очень хорошо помнила, как очутилась на улице. Совершенно оглохшая от криков и смеха, она смотрела, как ее Акбарали, сжав большими ладонями тонкую талию Хадии, словно пушинку, поднял ее и передал в руки кому-то из парней в кузове. Когда машина тронулась, в кузове дружно, хором закричали:

— До свидания, хола, хола, хола!

Весь день она видела перед собой красивое личико и тонкую талию Хадии. С первого взгляда, даже до того как они встретились глазами, Шарафат нашла девочке место в своем больном любящем сердце. Не веря неожиданному счастью, она называла ее вслух невесткой, разговаривала с Хадией, воображая, что та отвечает ей, и даже слышала интонации ее голоса... Хлопоча на кухне и по дому, Шарафат перечисляла Хадии все, что любил Акбарали, рассказывала о его привычках, детских проказах. Она даже всплакнула, представив, как сын и

---

<sup>1</sup> Тетя.

«невестка» счастливы сейчас в горах. Так было до самого вечера, Шарафат мечтала, что сын зайдет с друзьями и Хадией после лыжной прогулки, но получилось иначе.

Машина остановилась у подъезда в сумерки. Как только она притормозила, Акбарали выпрыгнул из кузова, протянул руки и поймал Хадию. Она инстинктивно обхватила руками шею Акбарали, чтобы не упасть. Абдусамат не выключал мотора, но и не спешил отъехать. Девушки и парни в кузове смеялись, кричали, а когда Абдусамат тронул машину, завизжали от притворного страха, валясь друг на друга. Машина уехала, Акбарали все стоял на тротуаре, удерживая Хадию на весу, и она кончиками носков пыталась дотянуться до тротуара.

— Неси же ее, сынок! Неси! — шептала Шарафат. — Вай, смерть моя, что я говорю. А если бы я была ее мать, а не его, птичка моя беззащитная!

Чтобы не подглядывать за молодыми, Шарафат отошла от окна, но тут же снова вернулась. На улице сгустились сумерки, на обочинах под фонарями поблескивали сугробы. Акбарали все еще не отпускал девушку, что-то ей говорил, а она откидывалась назад, делая вид, что хочет вырваться из его объятий, а он в ответ грозил бросить ее в сугроб. Теперь Шарафат была с Хадией.

— Вай, грубиян ты этакий! Какой грубиян, — говорила она и качала головой.

Акбарали, словно услыша слова матери, отпустил девушку, но то ли у нее кружилась голова, то ли по какой-то иной причине она не убирала рук с его шеи. Так стояли они двое, обнявшись, и на тротуаре, на белом сугробе лежала их колышущаяся тень. Черная тень на белом снегу, под белой в изморози акацией.

К досаде Шарафат, примерно через час Акбарали пришел один. Он без усталости рассказывал о катании в горах, о крутых спусках и глубоких пропастях, по краям которых они проносились со скоростью ветра.

— Ты проводил Хадию-хон до дому, сынок? — прервала Шарафат красноречие сына.

— Хадию? Откуда вы знаете Хадию? — спросил Акбарали.

Шарафат поняла, что девушка ничего не сказала сыну о встрече на лестнице, и признала это хорошим свойством ее характера, неболтлива. Мать улыбнулась, опустив глаза, точно просила у сына прощения за свою

осведомленность. В улыбке ее была и любовь, и благодарность, и какое-то почтительно-светлое уважение к его чувству. Акбарали подошел и тихо обнял мать. Его большая, тяжелая рука осталась на ее плече, чуть согнувшись от приятной тяжести.

— Согреть суп, сынок?

— Согрейте, мама!

Он сбросил рубаху и, голый по пояс, пошел в ванную мыться.

— И чай поставить? — спросила Шарафат, лишь бы слышать его голос.

— Поставьте, мама. — крикнул он.

— Я нашла бутылку с вином, открыть?

— Откройте, мама!

Шарафат почувствовала близость приступа, накрыла на стол и, чтобы не тревожить сына, ушла к себе. Акбарали, помывшись, растянулся на диване, так и не дотропувшись до еды. Он лежал, мечтательно уставившись в потолок. Это была не прежняя давящая задумчивость. Глаза его были ясны и блестели от приятных воспоминаний весело проведенного дня. Наступило ночное безмолвие. Акбарали заснул. Похоже, что спал весь город, до того было тихо в доме и на улице. Хорошо, когда в доме бродит призрак любви, думала Шарафат, преодолевая душу.

Это была последняя тихая ночь в доме Шарафат. Призрак, от которого Акбарали бежал из Шодасая, вновь вернулся к нему.

...На другой день Акбарали работал во второй смене и решил с утра показать Бектемиру рудник. Стоял погожий день ранней осени. Багрово-желтые листья карагачей величиной с ладонь лежали на обочинах улиц, от дождя остались подернутые рябью лужи. Ветер дул с гор, и, несмотря на то что ярко светило солнце, из ущелья, по которому протекал Шодасай, ветер выносил осенний холодок. Тропинка поднималась все выше к городку, а внизу, в куще пожелтевших деревьев, просматривался древний кишлак. Дорогу проложили по этим местам, чтобы рабочим было приятней ходить из дома на рудник и обратно. Пока дойдут на работу или домой, вдоволь налюбуются удивительной красотой щедрой природы. Люди

узнавали Акбарали, здоровались. Он и его спутник замедляли шаги, чтобы перекинуться приветливыми словами. Бектемиру было приятно, что к сыну его друга здесь относились с таким уважением. Он мечтал о том дне, когда по этой дороге пойдет на смену. Если все сложится хорошо, можно будет перевезти сюда жену, дочь. Какой она выросла? Если похожей на мать, должна быть красавицей.

Акбарали шел, перекинув через руку черную куртку с петлицами горняка. В узких местах он почтительно уступал дорогу гостю. Бектемир думал, что у сына мало сходства с отцом: высок, тонок в талии, не очень-то разговорчив. А Бектемиру хотелось бы знать о нем как можно больше.

— Что же ты не женился до сих пор? — спросил он. Акбарали неопределенно улыбнулся.

— Ничего, — сказал Бектемир. — Может, это к лучшему. Моя дочь подросла. Привезу — посмотришь. А вдруг породнимся?

Акбарали и на этот раз промолчал. Подходили к руднику. Через пропасти, подрагивая, проплывали вагонетки. Вниз — груженные, вверх — порожние. Тут и там видны были остроконечные вершины пустой породы. К рудничной проходной вела широкая бетонированная дорога, недавно политая.

— Пустят ли меня? — спросил Бектемир.

Мимо прошли груженные рудой МАЗы.

— У меня нет документов. Пустят ли меня, говорю? — повторил Бектемир.

— Я же с вами! — крикнул Акбарали, потому что проехал еще один МАЗ. Неуверенный, что Бектемир его услышал, Акбарали постучал кулаком в грудь, повторил: — Я, я с вами. Возьмите и наденьте мою куртку. В куртке вас не остановят. Меня все знают, — Акбарали скинул свою куртку, и Бектемир ее надел. — Она вам идет, Бектемир-ака. — Вереница МАЗов прошла, и стало легче разговаривать.

— А вдруг тебя самого теперь не пустят? — Бектемир посмотрел на парня, который остался в одной рубашке, и засмеялся.

— Меня знают, — повторил Акбарали. — Можно бы, конечно, пропуск получить. До правления далеко. Попробуем, авось пройдем...

В проходной им никто ничего не сказал. Они взяли в коридоре карбидные фонари, надели каски и вошли в тоннель рудника.

Из горной плоти повеяло сырым холодом. Настил из досок был проложен вдоль стены, покрытой проступившими каплями воды. Только на пересечении железнодорожных путей тоннель расширялся, образуя освещенные электричеством площадки. Бектемир трогал руками толстый кабель под сводами, трубы с холодной и горячей водой, щупал электрические телефонные провода. Все его удивляло своей добротностью. Они шли довольно долго. От воды, капавшей сверху, их чуть-чуть знобило. Когда пролетали мимо них груженные рудой вагонетки, они прижимались к стене, затыкая уши пальцами.

— Да-а-а,— сказал Бектемир после того, как они обошли чуть не весь рудник.— Сложноватое хозяйство. Пока подберу специальность, придется поработать подручным.

— Как бы там ни было, если нравится, считайте себя рабочим рудника,— ответил Акбарали.

В тоннеле, по которому они шли, было тихо. Под деревянным настилем журчала вода. Бектемир шел впереди, помахивая лампой. В куртке Акбарали он на самом деле ничем не отличался от рабочего с рудника.

Неожиданно, когда они подошли к повороту, вспышка, как отблеск молнии, ослепила их. Потом глаза не сразу привыкли к темноте. Они переглянулись. Бектемир, перепрыгнув через железнодорожные пути, побежал вперед, высоко поднимая фонарь и светя себе под ноги. Через какое-то мгновение новая вспышка ударила в глаза.

— Здесь! — крикнул Бектемир.

Скользя, спотыкаясь, гремя по настилу, они бежали, пока не остановились как вкопанные: над путями разнесло железобетонное перекрытие трансформаторной камеры, низко провисли концы железных балок, угрожающе раскачивались железобетонные глыбы, и ближайшие штреки то освещались ослепительными вспышками, то погружались в темноту, и каждая вспышка сопровождалась оглушительным треском, похожим на громовой разряд.

Вокруг Акбарали сыпались искры. Напуганный провисшими глыбами, жмурясь от ярких вспышек, он кричал:

— Берегитесь, Бектемир-ака. Бегите!..

Электрические молнии пробегали по потолку. О том, где Бектемир, можно было только догадаться по его голосу и тяжелому прерывистому дыханию.

— Трансформатор! — закричал Бектемир. — Может придавить трансформатор. Будет взрыв и пожар. Иди сюда! Сюда!

— Бегите! Что вы хотите делать?

— Выключить трансформатор. Иди! Помог!

— Бегите, задавят!

— Надо выключить!

Бектемир подпрыгивал, размахивая руками, то вбегал под искрящийся свод, то выбегал и не переставал звать на помощь Акбарали.

— Где ты? С этой стороны не дотянуться до рукоятки. Сюда, скорей сюда, помоги поднять ящик!

— Бегите! Говорю, бегите! — кричал Акбарали, с ужасом глядя на провисающий свод.

Последнее, что увидел Акбарали, это вздувшиеся на лбу Бектемира вены, его обезумевший от невероятного напряжения единственный глаз и руки, обхватившие ящик, который он пытался сдвинуть.

— Подсоби! — уже не кричал, а хрипел Бектемир. — Сдвинем, проберусь... Рукоятку... достану...

Акбарали больше ничего не видел и ничего, кроме собственного голоса, не слышал. Он бежал и кричал:

— Убегайте, Бектемир-ака! Убегайте!

Акбарали как-то сразу обессилел. На пальцах была кровь. Схватился за голову — кровь! Он еще больше перепугался. Шатаясь, пытался бежать, шел все дальше и дальше. Вдали, точно в отверстие тонкой трубы, блеснул дневной свет. В это самое время погасло электричество, что-то с грохотом обрушилось, и Акбарали услышал раздирающий душу крик. Но он даже не остановился. Он продолжал идти в полной темноте к далекому источнику света в конце этой бесконечной трубы. На мгновение он припадал щекой к сырой стене, но тут же снова устремлялся вперед, точно его гнал стоящий в ушах крик, человеческий крик, пронизанный болью и ужасом смерти. Потом, через много часов, Акбарали понял: Бектемир выключил трансформатор, но при этом сорвалась бетонная глыба...

Когда Акбарали пришел в себя, он решил бежать.

Бежать от позора. Тот, старый, измученный, не испугался. не убежал, а он, сильный и молодой, бежал! Ящик, цементный ящик, такой тяжелый для одного и такой легкий для двоих! Одно мгновение! Одно мгновение преодоления трусости, и они оба были бы живы. А теперь бежать! Бежать! Единственное, что осталось!

Надо бежать!..

...— Сынок! Акбарали! Проснись, сынок! Ну, вернись на другой бок. Ты бредишь, сыночек! Проснись!

Акбарали резко поднялся. Он спустил ноги с дивана. Потрогал висок — на пальцах крови не было. Против него бледная, со свистящим от приступа астмы дыханием стояла мать.

Было уже утро, светло. Так кончилась эта последняя ночь, развеялись надежды, которые лелеяла Шарафат, думая, что все уже в прошлом, что любовь Хадии излечит ее сына.

Когда приходили друзья, Акбарали оставался угрюмым, погруженным в свои думы. Шарафат не могла вынести его отрешенного вида. Сердечные приступы и приступы астмы все чаще и чаще валили ее с ног. А потом и друзья стали приходиться все реже. Акбарали начал пить. Он частенько возвращался поздно ночью, пьяный, согбенный тяжестью невидимого груза, тоскующий и безутешный.

Однажды, когда Акбарали был на работе, пришла Хадия. Шарафат открыла дверь, впусив нежданную гостью. Хадия показалась ей еще красивей: тонкая талия девушки была перехвачена широким поясом, лицо побледнело, а под глазами лежали тени длинных ресниц.

— Шарафат-хола, — сказала девушка и положила голову ей на грудь. Эта доверчивая ласка все перевернула в сердце Шарафат, и она дрожащими руками обнимала и гладила плечи девушки.

— Вай, джангинам!<sup>1</sup> Что с вами, девочка моя? Что еще натворил мой сын?

— Он ничего не натворил. Он просто меня не любит, — сказала Хадия.

---

<sup>1</sup> Душа моя.



Шарафат не хотела верить, что это правда, и принялась разубеждать девушку.

— Не любит, говоришь? — Шарафат засмеялась, лаская девушку. — Как можно тебя не любить? Ты понимаешь, что говоришь?

— Нет, нет, хола, не любит. Я знаю, я чувствую!..

— Почему же ты так думаешь? Скажи мне откровенно. Не принимай плохое настроение мужчин близко к сердцу... Настроение приходит и уходит, от тебя это во многом зависит. Он тебя обидел?

— Нет... Акбарали-ака странный... На людях он еще кое-как держится, а когда мы вдвоем, молчит. На людях старается быть со мной внимательным, но все это как-то неестественно. Когда остаемся вдвоем, он точно бы вдруг исчезает. Начинаю его расспрашивать, а он посмотрит как-то сквозь меня, не видя...

— А ты не расспрашивай... Действуй по-другому... Приголубь его, приласкай...

— Нет, нет... Так я не могу... Я не могу ему навязываться. Он что-то скрывает от меня, а от вас? Вы что-нибудь знаете? Может, у него была несчастная любовь? Может быть, он до сих пор любит ту, другую?..

— Только не это, голубка, только не это... Если любишь его, попытайся бороться за свою любовь. С ним самим бороться, с его настроением. Он неплохой человек, это я говорю тебе не как мать. У него есть сердце и совесть.

Приступ удушья помешал дальнейшему разговору. Хадия, открыв форточку, присела на кровать к Шарафат и, обмахивая ее полотенцем, как могла успокаивала. Она ушла, не дожидаясь Акбарали, не хотела встречаться с ним.

— Не говорите, что я была. Очень прошу вас, не говорите.

Но какая мать скроет такое от сына? Акбарали пришел, как нередко приходил последнее время, в полночь. Пришел пьяный. Мать рассказала ему о разговоре с Хадией. Он молча выслушал.

— Может быть, поговорил бы с ней? Любовь способна излечить страдание. Поговори... — сказала Шарафат.

— Мама! Я все рассказал Соне. Ну, есть такая, буфетчица...

— Что рассказал, сынок?

— Все... Как человека убил... Что я был причиной...

В глазах Шарафат поплыл черный мрак. Ей показалось, что это конец. «Боже только не теперь, только не теперь, дай сначала спасти сына», — подумала она. Прошло довольно много времени, прежде чем Шарафат спросила:

— Как же ты мог человека убить?

— Я виноват, один я...

И он, путаясь и волнуясь, рассказал матери о Бектемире.

— А что я Хадии скажу? Что? — с пьяной настойчивостью спрашивал Акбарали, закончив свой рассказ.

— Послушай меня, сынок, — сказала Шарафат после долгого тяжелого молчания. — Надо вернуться в Шодасай. Ты должен склонить голову и покаяться перед теми, с кем жил и работал. Никто другой, кроме них, не властен снять с твоей души камень. Снимут — оживешь, не снимут — будешь замаливать свой грех. Ты ведь не преступник!.. Не каждый человек может быть геросем... Вернемся, сынок, в Шодасай, пока открыты мои глаза и я могу быть рядом с тобой. Вернемся!

Акбарали лег на голый пол ничком и зарыдал. Так и заснул на полу, пьяный.

С этой ночи Шарафат уже не вставала с постели. Акбарали продолжал пить, но при этом как мог заботился о матери. Ходил в аптеку, в магазины. Трезвым варил обед.

Однажды она сказала:

— Прости, мой сын. Сам не хочешь вернуться в Шодасай, так не откажи, отвези меня, похорони рядом с отцом и прадедами. Обещай исполнить мою просьбу, чтобы я спокойно покинула этот мир. Обещай, дорогой, родной мой!

Опьянение внезапно пропало. Акбарали побледнел. Прошло много времени, прежде чем он решил притронуться к материнской руке. Она была холодна.

— Мама! — позвал Акбарали, и впервые мать не ответила на его зов. — Я убил вас, мама! Я убил! — закричал он, раздирая ногтями свое опухшее от пьянства лицо.

До света просидел Акбарали у постели мертвой матери. Постепенно в рассветных сумерках стало проступать ее лицо с рассыпанными по подушке редкими седыми волосами, белое, как бумага, со вздернутым вверх

подбородком, точно мертвая хотела в последний раз глотнуть побольше воздуха, с заострившимся носом.

Таким лицо матери запало в его память и отныне жило рядом с другим лицом, теперь тоже мертвым. Двое были на его совести. Двое убитых им людей будут отныне преследовать его всю жизнь.

В квартире была какая-то необычная тишина. Акбарали не помнил, чтобы было когда-нибудь так тихо. Он открыл глаза, и оказалось, что он по-прежнему сидит у постели матери. А в комнате много солнца, и лицо матери теперь желтое, восковое. Двери во всех комнатах открыты, и по комнатам ходят люди — соседи и еще какие-то незнакомые люди. Он и не знал, что у Шарафат так много подруг. Все они что-то делали, не обращая на Акбарали внимания. Когда и как они появились, он не помнил, не заметил. Потом пришли с комбината, выражали соболезнование. В полдень пришел Абдусамат. Шарафат была обмыта и одета в последнюю дорогу. Акбарали вспомнил просьбу матери, сказал о ней Абдусамату, и тот сразу же побежал в гараж просить машину. Кто-то из друзей в это время оформлял документы. Умершему требуется очень много разных справок и свидетельств. Только Акбарали оставался ко всему безучастен, как будто смерть матери не была сейчас самым горьким событием в его жизни.

Когда гроб снесли вниз, Акбарали увидел Хадню. Она стояла на обочине тротуара. Акбарали не подошел к ней, и она не подошла к нему. Не стало Шарафат, и оказалось, что именно она была звеном, которое еще могло бы связать их. Но Акбарали об этом не думал. Он думал: подойти или не подойти? Сказать или не сказать ей все? Решил не подходить. Все равно, решил он, они уже не будут вместе. Пусть остается в неведении, пусть думает о нем то, что думает, считая его бессердечным.

Он влез в открытый кузов. Гроб стоял посредине на ковре, и Акбарали присел у изголовья на край ковра так, что гроб находился на уровне его лица. В ногах сел кто-то из друзей Абдусамата. Акбарали даже не был с ним знаком. Машина тихо, почти бесшумно тронулась с места, и те, кто провожал Шарафат в последний путь, пошли вслед за ней до городской окраины. Они остановились у выезда на загородное шоссе и долго стояли, а машина, увеличивая скорость, покатила дальше.

Солнце припекало все сильнее. Почти не ощущался встречный ветер. До Шодасая надо было ехать часов пять. Акбарали чувствовал духоту дня. Он устал смотреть на гроб. Их то и дело обгоняли машины, обдавая пылью. Шоферы сбавляли газ из уважения к печальному грузу. На обочинах покачивались потревоженные кусты полыни. Впереди на горизонте, не удаляясь и не приближаясь, синели горы. Где-то там, в ущелье, прятался Шодасай.

Акбарали не думал, что когда-нибудь вернется туда по собственной воле. Он и возвращался не по своему желанию, а по просьбе матери. Ему было все равно. Но от судьбы не уйдешь, думал он. С тех пор как отъехали от дома, Акбарали не произнес ни слова.

Машина съехала к небольшому арыку, остановилась. Стало совсем тихо, так тихо, что слышно было журчание воды и отдаленное верещание кузнечика. Абдусамат вышел из кабины, сказал:

— Воды надо долить.— Он долго нацеживал в ведро воду из арыка. Потом заливал радиатор, хотя он был, судя по всему, холодный.— Слушайте, Акбарали-ака, все мы смертны. Мертвым — мертвое, живым — живое. Не терзайте себя так,— сказал он.— Я понимаю, мать одна. Но нельзя все время об этом думать...

Акбарали вздрогнул, как будто его в чем-то уличили. Он со вчерашнего дня по сути дела не думал о матери. Думал о разных разностях, но только не о матери. О ней вспоминал, но мимоходом. Он вытер пальцами сухие глаза, негодуя на то, что в них не было слез. Радоваться при жизни матери не мог, горевать после ее смерти тоже не может. Что же он, в конце концов, за человек? Даже ответить на участливые слова Абдусамата тоже не смог.

Может быть, там, где у всех нормальных людей сердце, у него просто осталась кучка пепла?

Абдусамат смочил в арыке платок. Натянул его на голову, завязав концы в узелки, сел за руль, и машина тронулась. Перед глазами Акбарали и его молчаливого спутника заколыхалось бязевое покрывало, которым был прикрыт гроб.

Акбарали попробовал думать о матери, но не мог представить ее живой, а что можно было думать о мертвой? Он положил голову на край гроба. «Успели бы. Если бы взялись за тот ящик вдвоем, успели бы... И

ящик бы сдвинули, и выключили трансформатор, и успели бы убежать из-под обвала... Даже один Бектемир почти успел... Ну на какую-то долю секунды задержался, а если бы успел? Если бы Бектемир-ака был сейчас жив?» Акбарали застонал сквозь стиснутые зубы. Как легка и прекрасна была бы сейчас жизнь. И он уже давно жил бы с матерью в Шодасеае, а не вез бы ее туда в гробу.

— Не надо, ака. Не надо себя так мучить,— сказал спутник Акбарали и положил руку на его плечо.

В Шодасай приехали около пяти часов. Акбарали вырос здесь, но, оказывается, не знал, где кладбище. Говорят, что шоферы находят дорогу, как птицы. Абдусамат, который никогда не был в Шодасеае, привел машину прямо на кладбище. Кладбище было на левом берегу реки на холме. Тополя и карагачи пожелтели, но не от ранней осени, а от печали, потому что на этом высоком месте не было воды. К машине подошли могильщики. Такие люди есть на всех кладбищах. Зимой и летом они поджидают покойников: летом лежа в тени, зимой греясь в сторожках, всегда полупьяные. Когда понесли гроб, под ногами шуршали палые листья, листья облетали, кружась от ветра, дувшего с реки. В вечерних сумерках со всех сторон слышен был шорох, отчего тишина казалась еще печальней, еще таинственней.

В пору детства Акбарали холм этот был почти голым и на нем по праздникам проводили конные состязания — улак: десятки всадников вырывают друг у друга козлиную тушу, и выигрывает тот, кто первым привозит ее остатки к финишу Тополя и карагачи по берегу реки посадили позднее, года за четыре до войны. Тогда на берегу рос только вон тот туювник — большой, развесистый, как и теперь. Акбарали вспомнил, как вместе с другими детьми, ожидая начала состязания, сидел на дереве и объедался сладкими ягодами. Правый берег, почти невидный в сумерках, срывался в реку крутым каменистым обрывом. Это место проклинали все матери Шодасая, говорили, что под обрывом страшный водоворот, у входа в подводную пещеру. Отец Акбарали однажды поймал сына вблизи этого места и единственный раз в жизни крепко выпорол. Отец его делал арбы и был известен далеко за пределами Шодасая. В их дворе стоял большой станок для сгибания колес из оструганных стволов дерева. Перед этим ствол карагача предварительно зары-

вали в мокрую золу. Пока отец обтесывал колесные спицы, Акбарали замешивал клей и свивал нитки из конского волоса. Он работал вместе с отцом и с нетерпением ждал, когда мама растолчет в ступе джугару и принесет ее в деревянных чашках, посыпанную сахарным песком. То время было не очень сытное, и Акбарали любил толкно из джугары. Теперь мама, чьи руки умели все делать, была в гробу и ждала, пока могильщики приготовят для нее последнее земное пристанище...

...Потом в горах заработал рудник. Акбарали помнит день, когда состоялось его торжественное открытие. На правом берегу построили гостиницу, ту самую, в которой сидели сейчас слушая его исповедь, Ачил-бува и Азимджан. Вслед за гостиницей построили другие каменные дома. Так вырос рудничный городок. А вот когда заложили кладбище, Акбарали не знал. До смерти матери никого из близких здесь не хоронили. А безымянная могила убитого на войне отца была далеко...

...Акбарали поднял горсть земли и бросил на могильный холмик матери. И только тут до него дошло, что больше никогда ее не увидит. Он упал на колени и заплакал. Могильщики, собрав свои лопаты и кетмени и получив деньги, ушли. Абдусамат сказал:

— Акбарали-ака! Пора возвращаться...

— Я останусь.

— Когда за вами приехать?

— Не надо приезжать, вернусь сам.

— Прощайте. Дай бог вам терпения.

Грузовик отъехал, и шум мотора смешался с шумом реки, а Акбарали по-прежнему стоял над могилой. Он вспомнил все, что мог вспомнить. Больше ничто не привязывало его к жизни, и сердце было покойно и пусто. Он с наслаждением лег бы сейчас рядом с матерью, чтобы больше не встать. Эти родные места стали для него чужими. Они не станут родными оттого, что в этой земле зарыт самый близкий ему человек. Акбарали спохватился, что снова думает о себе. Стоит над могилой матери, а думает о себе. А Абдусамат еще сочувствовал ему, его горю. Хотя бы один человек выразил ему все свое отвращение!..

Когда Акбарали ушел от могилы, было темно. Листья шуршали под его неторопливыми шагами. Акбарали не запомнил дороги и поэтому шел напрямик между топо-

лями и могилами, ища тропинку. Он натыкался на изгороди и памятники, порвал рукав пиджака, зацепившись за пику железной ограды. Могильные холмики, надгробья высекались то слева, то справа. Наконец Акбарали отыскал тропинку и увидел издали решетчатые ворота и освещенное пространство перед ними. Неожиданно на повороте к центральной аллее возник силуэт великана. Великан возвышался на пьедестале, возможно, что днем он бы не выглядел таким большим, его делала огромным собственная тень. Акбарали почему-то подошел к памятнику не по аллее, а подкрался между деревьями. Подкрался и замер. Стоял, раскрыв рот, онемев от ужаса, и в неровном свете, пробивающемся сквозь листву, смотрел на каменного Акбарали, который тоже смотрел, как смотрят сфинксы, незрячими глазами.

В первое мгновение Акбарали решил, что сошел с ума. Потом появилась другая, более здравая мысль: «С чего я вообразил, что этот памятник и я — одно и то же?» Он обошел деревья и вышел на аллею. Теперь памятник стоял боком к нему и снова притягивал его взгляд. «Нет, я схожу с ума. Только этого мне не хватает — сойти с ума». Великан как будто притаился в тени деревьев и кого-то караулил. Акбарали не выдержал, побежал по аллее, пока не налетел на железные ворота.

— Ложь, ложь... Все ложь!.. — закричал он. И с другого берега реки откликнулось эхо: ё-ё-ё, о-о-о. Эхо почему-то наугало его больше собственного голоса. Страх мешал Акбарали оглянуться назад, чтобы удостовериться, что на повороте аллеи стоит обычный памятник, который ставят знатым людям. А не оглядываясь, он представлял себе неподвижное лицо, чем-то напоминавшее ему его собственное: тот же острый нос, худые щеки и резко очерченные скулы. Он торопливо зашагал к дороге в сторону городских огней. Не останавливаясь, потрогал лоб: он был холодный и влажный.

— Все ясно! Лихорадка, — попробовал он успокоить самого себя. Он оглянулся. Поблескивал асфальт, непонятно откуда освещенный.

Акбарали давно прошел мост и не заметил, когда начались городские улицы. Неожиданно увидел гостиницу и, не задумываясь, вошел. Гнало его сюда одно желание: поскорее лечь и постараться заснуть.

Толстая женщина спала, сидя за деревянным барье-

ром. Она взяла его паспорт, взамен дала ключ и положила паспорт в ящик стола.

— Куда идти? В какую комнату? — спросил Акбарали, но женщина уже снова спала, положив голову на сложенные руки.

Акбарали рассмотрел номер на бирке ключа и довольно быстро нашел комнату. Он не зажег света, ощупью добрался до кровати и повалился на нее, не раздеваясь. Окно в изголовье кровати было открыто, ровный шум реки успокаивал, и Акбарали заснул.

Он проснулся утром оттого, что замерз. Тотчас вспомнил кладбище, каменный монумент и улыбнулся краешком губ. Ночные страхи рассеялись, он чувствовал себя отдохнувшим и здоровым. Натянул на себя одеяло, лежал и размышлял, что надо сделать, с кем встретиться. Встретиться? Зачем? Как только он подумал, что может с кем-нибудь встретиться, ему тотчас захотелось отсюда уехать. Он решил, что даже домой не заглянет, чтобы его не увидели и не стали расспрашивать соседи. Он сел на кровати, накрыв одеялом плечи. Потрогал свои заросшие щеки, подумал, что надо бы побриться, но для этого придется пойти в парикмахерскую. Значит, бриться не надо. Достал папиросы, закурил. Он давно уже не курил на тощак и забыл, как это противно. Но морщился и продолжал курить.

Раздался стук в дверь. Вошла та самая женщина, которая приняла его вчера в гостинице, невыспавшаяся и неприветливая. Положила на стол листок анкеты, сказала:

— Надо заполнить! — и ушла.

Акбарали подсел к столу. Повертел в руках анкету. Их почему-то оказалось две. «Почему две? — удивился Акбарали. — Наверное, на всякий случай, если одну испорчу». Несколько раз прочитал ее, все еще ничего не понимая и ощущая лишь, как от лица постепенно отхлынула кровь. «Гостиница поселка Акбарабад». Акбарабад... Акбар... Акбарали... Он вскочил, чувствуя, что на голове его зашевелились волосы. Он был в рудничном поселке Шодасай. Его мать попросила похоронить ее в поселке Шодасай. При чем же здесь Акбарабад?

— Какой Акбарабад! Где Акбарабад! — закричал Акбарали, и тотчас перед глазами его встал вчерашний двойник на кладбище.



Акбарали поднял голову и нечаянно увидел себя в зеркале. Обычное гостиничное трюмо. Он встал и подошел к нему. На него смотрел обросший худой человек в пиджаке с разорванным рукавом. Акбарали горящими глазами все глядел и глядел на себя, и крупные капли пота проступали на лбу.

— Это не я! Нет, нет, не я! — закричал он, не отдавая себе отчета в том, кого он не хочет признать: того ли, кто смотрел на него из зеркала, или того, на кладбище, на каменном постаменте.

Акбарали выскочил в коридор.

— Послушайте, — кинулся он к дежурной.

Напуганная его видом женщина вскочила и уставилась на него. Акбарали выбежал на улицу и бежал не останавливаясь. Политые улицы были пустынно и прохладны, с газонов и клумб разносился тленный запах осенних цветов. Конечно, Акбарали ничего не слышал и ничего не замечал. Он устал, задышался, но продолжал бежать, не ведая куда. Его остановил голос из репродуктора. Репродуктор оповещал: «Акбарабадцы стали вчера свидетелями еще одного радостного события — команда местных футболистов победила спортсменов Алмалыка...» Акбарали постоял на перекрестке под репродуктором, тяжело дыша, и, не дослушав, снова побежал. Бледный, на дрожащих ногах, почти задохнувшийся, он остановился у ворот кладбища, держась за железные прутья решетки, чтобы не упасть. Потом, шатаясь, как пьяный, добрал до знакомого поворота, снова постоял, не решаясь приблизиться к памятнику. Вчера он показался ему высеченным из камня и очень высоким. На самом деле высоким и каменным был только постамент, а на нем нормальная, как на всех памятниках, бронзовая фигура под тенью сильно облетевшего карагача. Сквозь поредевшую листву Акбарали видел на небе облака. Взглянуть сразу в лицо своему двойнику он не решился. Развесистая ветка была почти на уровне памятника. Только разглядев ветку, он наконец посмотрел на красивое волевое лицо рабочего рудника, в каске и форменной куртке, лицо, явно сделанное с него, в этом почти не осталось сомнения. Только необычность появления этого памятника над чьей-то могилой приводила его в смятение.

— Это не сон, и я не сумасшедший, — прошептал он.

К памятнику подошли пионеры и положили к подно-

жию охапку цветов. Они постояли в молчании. А потом по-детски беззаботно побежали к выходу и тут увидели Акбарали и испугались его вида. воротник рубашки и рукав пиджака разорваны, лицо заросло, на сапогах затвердевшая со вчерашнего дня глина. Девочка, которая клала цветы, поотстав от других, сказала:

— Проходите, проходите... Нечего тут стоять. Так рано, а уже пьяный.— Она, оглядываясь, побежала вслед за товарищами.

Первым побуждением было догнать ее или просто крикнуть: «Я Акбарали, и я живой. Не смей на меня кричать», но вместо этого он лишь прошептал: «Я живой, понимаете, живой». Вот так стоять живому и смотреть на себя, мертвого, отлитого из бронзы, Акбарали больше не мог. Он медленно стал приближаться к памятнику, под ногами шуршали палые листья. Он подошел и шептал: «Я жив! Говорю вам, что я жив!»

— Вы слышите? Я жив!— прошептал он, а глаза его читали на каменной плите высеченные золотом слова:

## АКБАРАЛИ ГАЗИЕВ

1931—1960

Геройски погиб, спасая рабочих рудника

Акбарали присял в сторонке и засмеялся. Смех постепенно перешел в какое-то повизгивание, потом в плач. Он не помнил, сколько длилась эта истерика. Он сидел, пригревшись на солнце, живой, но похороненный, трусливо убежавший тогда из ствола рудника и теперь объявленный героем. Он смотрел на надпись памятника и вместо своего имени произносил: «Бектемир-ака. Бектемир...» Он закрыл глаза, снова их открыл, увидел ясно и четко свое имя, высеченное на каменной плите. Позолоченные буквы поблескивали, и только внизу в слове «погиб» на букве «г» позолота наполовину стерлась...

Он сжал до боли виски, потом посмотрел на руки — под ногтями была кровь, кровь струйкой стекала по щеке. Вид крови привел его в себя, в мозгу прояснилось, он вспомнил рудник, сырость, внезапно погасший свет и страшный крик... крик предсмертного ужаса и боли.

— Ведь это же Бектемир-ака,— словно кого-то убеждая, сказал Акбарали.— Погиб Бектемир-ака. В куртке, которую я ему дал, были мои документы... Вот и все. Мои были только документы и куртка, а погиб Бектемир-ака...

Акбарали лег на траву ничком и заплакал, сдерживаясь, подавляя всхлипы, как плакал в детстве, когда не хотел, чтобы слышала мать...

Прежде чем поставить памятник, были похороны, а до похорон в руднике у выключенного трансформатора обнаружили обезображенный труп, который невозможно было узнать. В кармане куртки нашли удостоверение... Акбарали шаг за шагом восстанавливал то, что было. Табун, тысячи людей, пришедших проститься с героем, плачущие матери, жены, невесты, дети, мужей, отцов и женихов которых он спас. Он, Акбарали... А потом речи, речи, речи и траурная музыка... И вдруг довольное одностороннее лицо Бектемира, когда тот надел его форменную куртку. На мгновение подумалось: лучше бы Бектемир стоял сейчас здесь на кладбище, а он лежал бы под этой могильной плитой, на которой было высечено его имя. И снова все о себе, о себе, о себе и ни разу не вспомнил, ни разу не подумал о жене и дочери Бектемира, которые во второй раз потеряли отца и мужа, потеряли, не успев найти. Но, если бы Акбарали не думал о себе, он не был бы Акбарали. «Я не был тогда здесь на кладбище, а вместе с Бектемиром работал на руднике или вместе с ним лежал бы в земле. Одно мгновение, и решена вся жизнь... Вся жизнь!» — думал Акбарали. Он посмотрел на памятник, памятник себе, поставленный на могиле другого.

— До свидания, Бектемир-ака! — сказал Акбарали и побрел с кладбища.

До гостиницы он шел, не поднимая головы. Весь день пролежал на кровати. Он не спал и не думал, а просто лежал в забытьи, не ведая о времени, безразличный к звукам и свету. Он что-то даже поел, лежа на кровати, потом встал, попил воды из графина и ушел. Он не знал, куда идет. Вернее, когда он вышел из гостиницы, у него не было никакого определенного плана. А пришел к дому, в котором жил. Он остановился, не дойдя до калитки, и смотрел, как в дом входили и выходили люди — много людей. Почему-то особенно много было пионеров.

Акбарали даже не стал переходить мостовую, просто повернул и пошел обратно в город. Прохожие сторонились его, принимая за пьяного. Знакомыми были только деревья вдоль улиц. Те же деревья и те же улицы, по которым он ходил сначала в школу, потом на работу в рудник, в кино, к друзьям. Ходил и возвращался. А сейчас не встретил ни одного друга и даже просто знакомого. Все, вплоть до мяты, растущей по берегам арыка, было безразличным и чужим.

Акбарали помнил, что подходил к правлению рудника и постоял перед входом. Побывал возле поселкового Совета, увидел много вывесок со своим именем. Он бежал от них, словно побитый щенок, не имеющий ни дома, ни хозяина.

— ...Бобо, я мертвый. Я для всех мертвый, но я живой. Я для всех герой, и моя жизнь достойна подражания. А я подлый трус, и жизнь моя — позор, — сказал Акбарали.

Азимджан слушал, округлив глаза и открыв рот. Двоюродный брат казался ему уже покинувшим этот мир. Черное худое лицо, тусклые запавшие глаза мертвеца. Он часто смотрел во время рассказа в эти глаза, но ему всякий раз казалось, что они ничего не видят.

В комнате стало тихо. Было за полночь. В открытое окно тянуло холодом и слышен был шум Шодасая. Почему-то пахло спелой айвой, и невозможно было уловить, откуда исходил этот запах. На лбу Ачила-бувы блестели капельки пота. На столе лежали две незаполненные гостиничные анкеты. Те самые анкеты. Азимджан от нечего делать выводил на них автоматической ручкой какие-то узоры. Потом стал упражняться в написании русских букв: «Акбарабад»... Чудно. Он сидел в городе своего двоюродного брата Акбарали. Красивый город, красивая легенда о героической гибели брата, гибели Акбарали. Только вот этот человек, его брат, сидящий с ним за столом, лишний. При нем нет ни города, ни легенды.

В комнате было по-прежнему тихо. И ночь была такой глубокой и глухой, точно боялась выдать тайну этих трех засидевшихся за полночь людей.

— Да, дети мои! Человек, погибший ради людей, вечно живой! — сказал Ачил-бува. Он, кажется, подвел итог

своим думам. Азимджан посмотрел на буву, не очень понимая его мысль. На самом деле погиб Бектемир и тем самым исчез бесследно, а «вечно живым» остался живой Акбарали. Но слова старика «человек, погибший ради людей, вечно живой» очень понравились Азимджану, и он записал их русскими буквами на оборотной стороне анкеты.

Акбарали сидел, уставившись в черное пространство за окном. Ачил-бува сказал:

— Пора отдохнуть...

Акбарали вздрогнул от неожиданности, повторил:

— Да, пора! — Он посмотрел на буву полными слез глазами, точно хотел сказать: «И это все? А как же я? Как мне жить?»

— Утро вечера мудренее, — сказал Ачил-бува. Он погладил бороду, поднялся, вдруг заполнив собою всю комнату. Кивнув Акбарали, Ачил-бува вышел. Азимджан выбежал вслед за стариком, точно боялся, что Акбарали удержит его.

Когда Азимджан с дедом вошли в свой номер, где-то в кишлаке за поселком прокричал петух.

— Э-э-э, путаник какой! Кричит не ко времени, — сказал с досадой Ачил-бува. — Наверное, молоденький. Спи, малыш, отдохай...

Лежа в кровати, Азимджан чувствовал, что бува не спит, хотя старик старался не ворочаться и дышал, как во сне, спокойно. Азимджан поднял голову и увидел в темноте во всем белом сидевшего на кровати бобо: белая борода, белая рубаша и штаны.

— Буваджан, почему вы ничего не сказали Акбарали? — спросил Азимджан и, прошлепав по холодному полу босыми ногами, присел на кровать деда.

— Что же я мог ему сказать? За всю свою долгую жизнь, малыш, я никогда не чувствовал себя таким беспомощным.

Признание старика сблизило их еще больше. Обнявшись, они просидели на кровати до рассвета.

— Пусть отдохнет, пусть придет в себя, — сказал бува.

— Вы никогда не будете выглядеть беспомощным, бува. Вы хозяин всего. Мне порой кажется, что судьбы людей, которые с вами встречаются, в ваших руках... Генерал-директор нашей фирмы — старый человек. Он

боится смерти и взял себе духовника... Он всем хвалится, что у его духовника шесть тысяч мюридов. А духовник — просто развратный человек, курит анашу... Машина задушила его.

Азимджан-сказал это и почувствовал неловкость: «Зачем я это говорю, точно хочу польстить...»

— Духовника машина переехала, а его подолечный жив остался? — спросил бува.— Нельзя так долго оставлять Акбарали одного.

Они быстро оделись. Утренний свет уже наполнял комнату. В коридоре гремели ведрами уборщицы. Дед и внук подошли к двери Акбарали, постучали. Слегка приоткрытая дверь запахнулась от легкого прикосновения руки. Акбарали в комнате не было. Комната была в прежнем беспорядке.

Ачил-бува присел к столу, сказал:

— Надо немного подождать!

В том, как он это сказал, Азимджан уловил встревоженность и сам испытал какое-то неясное предчувствие, Азимджан вышел в коридор, прошел в туалет — Акбарали нигде не было. Они просидели в комнате около получаса. Ачил-бува уже поднялся, и тут взгляд его упал на анкеты на столе. На одной печатными буквами, очень неровными, было написано: «Человек, погибший ради людей, вечно живой». Это были его собственные слова, он их помнил, только не видел, когда их записал Азимджан. А ниже была написана другая строчка: «Тот, кто живет ради себя, мертв!» «Хорошо сказано», — подумал старик. Значит, Акбарали все понял! Но тут же улыбка исчезла с губ старика, он быстро взглянул на открытое окно, сунул бумагу в карман, кинулся к двери.

В коридоре люди удивленным взглядом провожали благообразного старика, промчавшегося мимо них. Азимджан с трудом догнал его. Бобо обогнул гостиницу, пробежал по заросшему саду. Когда он перелез через пролом дувала, куры, копавшиеся в навозе, разлетелись с кудахтаньем в разные стороны. Обогнув курятник, Ачил-бува и Азимджан налетели на разъяренную собаку, к счастью, она была на цепи. Через узкую калитку они выбежали на пустырь. Ачил-бува замедлил шаги, чтобы отдышаться. Лицо его было бледно, в глазах, устремленных вперед, не было обычного выражения всепонимающей мудрости. Ровное пространство пустыря заросло зеленой

травой, матовой от росы. Пустырь кончался обрывом. Под ним, шипя и пенясь, текла река. Вода плескалась далеко вниз, и оттуда веяло холодом и жутью.

— Бобо, отойдите! — закричал Азимджан, который боялся высоты.

Ачил-бува отступил назад, но не потому, что об этом просил внук, он даже голоса его не услышал из-за шума воды. Просто трудно было выдержать притягательную силу высоты. Азимджан стоял бледный, не спуская глаз со старика.

— Это страшное место, малыш. Не надо долго смотреть вниз.

Сапоги старика были влажными от росы, лицо искажено горем и болью. Он всматривался в край обрыва, отыскивал какие-то только ему заметные следы, ощупывал их. Потом рухнул на колени и молитвенно провел руками по бороде, после чего поднялся, и, не сказав ни слова, пошел через пустырь к городу. Азимджан вспомнил рассказ Акбарали о водовороте под обрывом. Теперь он узнал этот обрыв и понял, почему старик прибежал сюда.

Когда они отошли настолько, что почти не слышен был шум реки, Азимджан спросил:

— Вы в этом уверены, бобо?

— Да! — сказал Ачил-бува. Он грустно взглянул на внука, достал из кармана анкету и сунул ее Азимджану. — Прочти!..

Азимджан читал по слогам русские слова, то останавливаясь, то снова шагая. И пока читал, вспоминал мертвые глаза Акбарали.

— Ваши слова, бува, толкнули его на это, — сказал Азимджан. — Он думал над ними и нашел для себя выход... Не ошибка ли, бува, что мы оставили его одного...

— Нет, малыш, нет... Я мог посоветовать ему одно — открыться людям. Для этого у него не хватало сил. Он был слабым, надорванным листком... Подул ветер, и его сорвало с ветки...

— Но это жестоко, бува!

— Жизнь не жестока, а сурова, малыш! Он искал выхода — это снова оказался выход труса. Он мог бы исправить ошибку и восстановить справедливость... Он знал, что я скажу, и испугался.

Солнце уже поднялось и ярко светило, и колодный

ветер осени гнал по небу разорванные облака. Ветер быстро высушил росу на траве и следы на росе. В гостиницу приехало на машинах много туристов с рюкзаками и букетами цветов.

— Им, наверное, нужны места,— сказал Ачил-бува Азимджану, поднимаясь по ступеням. Он остановился у дверей, наткнувшись глазами на прибитую мраморную доску: «Гостиница № 1 коммунального поселка Акбарабад». Ачил-бува неторопливо прочёл, потом посмотрел на людей вокруг. Прошел было к двери, но тотчас же повернул назад. Было похоже, что он не знает, что ему делать и как поступить. Азимджану на одно мгновение показалось, что сейчас его дед ударом кулака разнесет доску вдребезги.

— Бува,— тихо позвал он.

Ачил-бува, сникнув, перешагнул порог гостиницы. Не меньше часа просидели они у себя в номере.

— Что будем делать, бува? — спросил Азимджан.

— Что будем делать? Давай собирать вещички...

— Уедем?

— Надо освободить людям место.

Азимджан думал, что оставлять все так, как было, нельзя, что бобо должен что-то предпринять, что именно, он знает лучше его. Но было похоже, что бува ничего не собирался делать.

— Ты думал, что мне всегда все ясно? — спросил старик и принялся дрожащими руками увязывать хурджун.

Азимджан промолчал.

Старик расплатился, и они пошли на автобусную остановку.

— Может быть, правильно будет оставить все так, как есть. Вознаграждено бесстрашие... Пусть закрытый казан останется закрытым. Кому вредит совершенная несправедливость? Бектемиру? Ему все равно, он уже давно числился в мертвых... — сказал Азимджан.

— Да, если бы не было тебя, меня... Если бы у нас обоих не было совести, тогда да. Но куда мы денем свою совесть? Я тебя спрашиваю: куда мы денем свою совесть?

— Жалко... Очень все красиво: город, музей, памятник, цветы, пионеры, благодарность оставшихся в живых людей.



— Ты забываешь, что в этой красоте — вера и уважение к человеческому мужеству... Тот, кто погибает, спасая людей, вечно живой. Вечно живым должен быть тот, кто спас людей... Красивое должно быть чистым...

Они пришли как раз вовремя. Через полчаса автобус вывез их из ущелья. Когда подъехали к железнодорожной станции, хлынул дождь. Холодный осенний дождь сопровождал поезд. Холод, потоки воды на стеклах, месиво грязи на дорогах, беготня и давка на пересадках, непрерывная смена попутчиков, виды за окном, новые встречи и расставания, сон, пробуждение — все это вместе взятое отвлекало от тяжелых дум. Но Азимджан все еще не мог прийти в себя. Заварив чай, он забывал его пить, часами смотрел в окно. Вдоль полотна дороги мелькали омытые дождем виноградники, сады с янтарными плодами айвы на облетевших ветвях, забытые на бахчах дыни, потом снова неоглядные дали, круглые, как мяч, вершины карагачей, покинутые шалаши караульщиков, хлопковые поля, сиротливо обнаженные.

— Удивительно,— сказал сам себе Азимджан.— Так вот просто — взял и покинул это все...

Ачил-бува переспросил:

— Что это все?

Азимджан показал на окно:

— Все, что там...

— Вся его беда, что «это все» стало для него своим... Это все — великое дело человеческих рук. С этим надо слиться душой. Иначе ничего не стоит, как ты говоришь, уйти просто. А мне трудно уйти. Я помню эти места другими...

— Совсем дикими?— спросил Азимджан.

— Не то, не то... Дикими они не были. Беззащитными были. И земли эти и люди. И было это не так, что было очень давно...

Поезд, громыхая, пролетал над виадуками, мчался по неоглядным землям. Нашим спутникам ехать еще далеко, и я успею рассказать о тех не очень давних временах.

## РАССКАЗ О САРАНЧЕ И БАСМАЧАХ

Звали в то время буву Ачил-фирка, то есть Ачил партийный. В 1929 году чинарцы избрали его делегатом на Среднеазиатскую партийную конференцию.

Только что кончился месяц хамал<sup>1</sup>, первый месяц солнечного года, и начался савур<sup>2</sup>, месяц окуливания и полива посевов. Кузница была завалена омачами, разбитыми кетменями, боронами, тяпками, мотыгами, все это надо было починить, склепать. Работа не прекращалась даже ночью. Ачил-фирка только успевал повторять «О, святой Давуд, имея в виду не столько покровителя кузнецов, сколько свои собственные руки, отяжелевшие от молота. Вот в такую горячую пору, быстро управившись со всей работой, Ачил-фирка смыл с лица копоть и отправился в Ташкент. Но в день открытия конференции делегатам вместо мандатов выдали проездные документы и удостоверения уполномоченных по борьбе с саранчой: на южные районы страны летел этот страшный предвестник голода.

— На саранчу так на саранчу,— сказал Ачил-фирка, улыбнулся и пожал плечами. В ту пору плечи его были пошире, чем теперь, а усы приводили в смятение ташкентских красавиц. Совсем недавно он во главе небольшого отряда сокрушил банду басмачей, а против басмачей саранча в его глазах выглядела пустой забавой. Он спрятал понадежнее документы, вышел на улицу, подправил у парикмахера усы, почистил у чистильщика сапоги, а когда вернулся в зал конференции, чуть не оглох. Со сцены зачитывали телеграммы из новых районов нашего желтой саранчи, делегаты переспрашивали названия районов, и от этого стоял сплошной гул. Принесли и повесили огромную карту и на нее, как на фронте, наносили места распространения крылатого врага. Нападению саранчи подверглась уже вся Туркмения. Начальник штаба по борьбе с саранчой докладывал, что через двадцать дней, перелетев Каракумы, она обрушится на берега Аму, подвергнет опустошению Лебаб, поставит под угрозу Ташауз и Бухару.

Молодой энтомолог, приклепленный к группе Ачила-фирки, показался ему склонным к преувеличениям. Если послушать этого говорливого петушка, то справиться с желтой напастью было просто невозможно: саранча за-

---

<sup>1</sup> Соответствует периоду 22 марта — 21 апреля.

<sup>2</sup> Второй месяц солнечного года, соответствует периоду 22 апреля — 21 мая.

полонила тысячкилометровые пространства между Каспием и Тянь-Шанем. Тучи этой твари весом в миллионы тонн сразу покрывают площадь в пять-шесть тысяч квадратных километров. После саранчи остаются черные пустыни там, где до этого были сады, пастбища, посевы. Не то что бы Ачил-фирка во всем поверил ученому. Но сообщение энтомолога невольно тревожило. Пока другие члены его группы суетились со сборами, он все думал, откуда пришла такая беда. Прежде слухи о саранче изредка доходили со стороны Мазандарана. Дехкане в местах нынешнего нашествия в глаза ее не видели и не знали, как с ней бороться. В этом и была самая большая опасность. Ачил-фирка все это понял, но все равно не поддавался панике. Во главе шести человек он направился в Чучук-сай, как было указано в его документах.

В жизни не видел он таких зеленых полей. Весна с ливневыми дождями и грозами щедро одарила природу теплом и влагой. На железнодорожных станциях дети жуют красноватый ревень, водоносы бегают с бурдюками — предлагают воду. Над головами шум, гвалт... Девушки, стыдливо прикрывая краем платка лицо, продают пироги со шпинатом.

— Берите исмалак-самса... Горячие исмалак самса... Весна — самое неподходящее время для борьбы с саранчой. Земля не ждет. Каждое упущенное в осенней страде мгновенье уже не наверстаешь. По ночам блеют новорожденные ягнята. В котлах кипит сумалаки — весеннее блюдо из солода и муки. Весна — время любви, томительных порывов, а тут смертельная опасность. Как людям в нее поверить, когда мысли их заняты совсем другим? Никому и в голову не приходит, что в эту благодатную пору может случиться несчастье. Весной у людей вырастают крылья...

— Но у саранчи крылья тоже вырастают, — сказал энтомолог.

Ачил-фирка еще надеялся, что все обойдется, и ничего не ответил ученому.

В Кагане были извещены об их приезде. На перроне группу встречал начальник станции. Была полночь, и при свете луны люди казались особенно бледными. Начальник станции доложил, что весь подвижной состав с керосином и химикатами ушел на юг, что на станции нет ни

одного вагона, а отправить группу он обязан — таков приказ, поэтому он предлагает ехать к месту назначения на дрезине.

— На дрезине? Ночью?

— Да, товарищи, больше ничего предложить не могу. Весь подвижной состав отправлен на юг с химикатами и керосином, — снова повторил он, забыв, что только что об этом сказал. У него были красные, воспаленные от бессонницы глаза, и он зябко кутался в зеленый ватник.

— Хоп, ладно. Раз надо, так надо, — сказал Ачил-фирка. Ничто так, как вид начальника станции и его предложение отправить их на дрезине, не заставило Ачила поверить в серьезность опасности.

Шесть человек кое-как разместились на трехместной дрезине с мотором в четыре с половиной силы. Дрезина тронулась. В лицо повеяло весенним теплом с примесью полынных запахов. Всем вдруг стало весело, и кто-то крикнул:

— Но, лошадка! Давай, давай!

Даже эта незамысловатая шутка вызвала смех. Единственная фара освещала полотно, отодвигая темноту. Колеса дрезины постукивали, рельсы поблескивали, совсем близко пронеслась земля. Постепенно стало холодно от знобкой сырости. На людей находила дрема, от толчков они вздрагивали, открывали глаза, пугаясь, что валятся вниз. А дрезина катила и катила, и казалось, нет такой силы, которая могла бы остановить этого одноглазого шайтана. По сторонам дороги ни одного огонька. Изредка, испуганный тенью, шараялся в темноту шакал. Щупленький ученый — звали его Мамаджан — прижимался к теплему боку Ачила-фирки, точно искал у него защиты. Мамаджан простил этому неунывающему человеку и то, что тот недооценивал опасности, и то, что все время подтрунивал над ним, называя его «чигиртка-палван» — саранчовый богатырь.

Рассвело как-то внезапно. Оказалось, что дорога проходила вовсе не по безлюдным местам. Медленно кружась в рассветных сумерках, открывались темные тополя, спящие кишляки, будка путевого обходчика. Тьма отступала, обнажая зеленые поля, пастбища, а покрытая росой трава под насыпью казалась быстро текущей водой.

Кто-то, нагнувшись, попытался на ходу сорвать мак у самой обочины, но промахнулся. Погасили ненужную больше фару, в позеленевшем небе не было видно звезд. Дрезина по-прежнему постукивала колесами, но вдруг все изменилось. Низкая серая туча стала с шуршанием обволакивать людей. О том, что это саранча, крикнул Мамаджан. Никто из его спутников сразу этого не понял. Ощущение влажной и липкой тяжести над головой, шуршание воздуха нагоняло страх. Такого непонятно гнетущего страха выдавший виды Ачил-фирка никогда раньше не испытывал. Никто не знал, сколько времени они проехали под живым смердящим облаком. Совершенно неожиданно увидели впереди необъятное синее небо. Состояние было такое, точно их вынули из глубокого колодца. Вонючее облако желто-зеленого цвета осталось позади. На дрезине молчали. Ачил-фирка понял, какую силу нес на своих крыльях враг.

— Это беременные самки — они летят низко, — сказал Мамаджан. — Скоро сядут. Накроют сады, пастбища, посевы. Обглодают все, даже корни, и в опустошенную черную землю отложат яйца. Через пятнадцать дней по земле поползет армада раз в сто больше этой. Саранчуки в первые дни не летают. Они ползут фронтом в десять — сто верст, ползут, как грязная жижа, и при этом жрут, жрут — жрут все подряд, набирая силу, отращивая крылья, совокупляясь, чтобы произвести в сотни раз больше себе подобных.

— Хватит! — крикнул Ачил-фирка. Его просто затошнило от слов Мамаджана. Отвратительный запах ударил ему в нос, в первое мгновение он приписал его рассказу Мамаджана. Но уже в следующую секунду все стало ясно.

Кто-то закричал:

— Саранча!

Колеса дрезины уже давили ползущие многослойные толщи насекомых. Сзади на рельсах оставалось желто-зеленое месиво. Вся земля до самого горизонта была желтого цвета и колыхалась как живая. Колеса дрезины вертелись на одном месте, и от них во все стороны полетели липкие вонючие брызги. Пришлось сойти и подталкивать дрезину руками. Как только ноги коснулись земли, из-под сапог стали вспархивать, ударяясь в лицо,

плечи и грудь, жирные саранчуки. Они забирались в карманы, за пазуху, в голенища сапог и шевелились там. Стыснув зубы, люди продолжали толкать дрезину. Ноги скользили по раздавленной саранче.

Они прошли больше полукилометра, пока почувствовали на лицах свежий воздух. Дрезина снова катилась своим ходом, и люди немного пришли в себя.

В районном центре группа распалась. Ачил-фирка и Мамаджан поехали в Чучуксай, где к ним присоединился начальник милиции Маткаримов. По росту и представительности Маткаримов не уступал Ачилу, а милицмейская форма придавала ему официальную строгость. Ачил-фирка попросил его снять «боевые доспехи». Красавец милиционер с подкрашенными усами очень неохотно расстался с ремнями, крест-накрест пересекавшими его спину, с наганом и вообще с формой. В гражданском костюме он сразу потерял все свое грозное обаяние. Ачил-фирка заметил неудовольствие на лице Маткаримова, попытался его утешить:

— Это временно. Мы должны работать с людьми методом объяснения, а наган и ремни будут плохими помощниками агитатора.

Прямо Маткаримов не возражал. Он только ответил:

— Не знаете вы местных условий, вот что...

Перед сумерками трое всадников въехали в незнакомый кишлак. Кишлак был небольшим, но очень благоустроенным. Зеленые холмы, неоглядные поля, разделенные тузовыми насаждениями, полевые дороги, обсаженные тополями, персиковые деревья в дымчатом цвету — все это в неясных очертаниях близкого вечера казалось красивым и таинственным. Улицы были пустынные, дома притаились за глинобитными дувалами, такими высокими, что даже с коня нельзя было заглянуть во двор. Вокруг было тихо и покойно, как будто жители кишлака не ведали не только о близости саранчи, но и вообще о мирских делах, которые творились по эту сторону дувалов.

Возле сельского Совета всадники спешили. На встречу им вышел бородатый старик на деревянной ноге с двухстволкой. Он взял под уздцы ближайшего к нему коня. Называя приехавших то господами, то товарищами, он пригласил зайти в помещение, потом, долго шаря

в темноте, отыскал спички, зажег подвешенную под по- голком керосиновую лампу с закопченным стеклом.

— Кто вы?— спросил Ачил.

— Мы сторож, господин... товарищ...

— Позовите председателя...

— Председателя? А где я его возьму? Нет председа- теля, товарищ... господин...

Ачил-фирка начал сердиться.

— Отложите в сторону свою двустволку. Или по- ставьте ее вон в тот угол, никто у вас ее не возьмет... А теперь ответьте, как вас зовут? Курванали? Очень хо- рошо, Курванали. Скажите нам, где председатель.

— Нет председателя...

— Это мы уже слышали... Где он?

— Нет, совсем нет!

— Как так? Совет есть, а председателя нет?!

Курванали молчал, только деревяшка, подвязанная вместо ноги, поскрипывала. Ачил рассказал старику, кто они и зачем приехали в кишлак. Курванали подобрел, ртнес в угол ружье, кинул под язык шепотку наса, после чего так же обстоятельно и неторопливо рассказал, что за два года в кишлаке убили одного за другим четырех председателей и потому на этот пост больше никто не соглашается идти.

— Один я, а забот много... С утра до вечера вожусь.— Старик сплюнул нас в угол.

— Что же нам делать? Где переночевать?

— А мне что с вами делать?— Старик, постукивая истревающей, подошел к двери и подпер ее колом. Мат- саримов протянул было руку к двустволке, но старик сказал:— Бросьте, она все равно не заряжена.— Он по- смотрел на Ачила, видимо определив в нем старшего, сказал:— Моя задача — таких, как вы, сразу отправлять обратно. К чему понапрасну гибнуть?

— Вы саранчу видели, Курванали?— спросил Ачил.

— Не видел и видеть не хочу. Сдалась она вам, эта саранча. Темнеет. Уезжайте! Надо лампу гасить.

— Но кто они? Кого мы должны бояться?

— Головорезы Марданкула-курбаши. Его самого нет, головорезы остались. Главный у них Сангин-байвача, младший сын Шарифа-аксакала. Отец уже в Сибири, младший сын у головорезов за курбаши.

— Где они?

Старик опасливо прислушался, сказал:

— Кто их ведает? Сегодня здесь, завтра там... А все, что делается в кишлаке, сразу узнают... То, что вы здесь, уже, наверное, знают...

— А может, сам и сообщаешь?— Маткаримов вскочил с места, но Ачил-фирка взглядом приказал ему не вмешиваться.

— Нечего мне с вами разговаривать. Уходите, буду огонь гасить,— сказал обиженный Курванали.

— Хош, Курванали, простите нас за резкость. Ехать нам на ночь некуда... А утром нам предстоит собрать народ для разговора. Так что устраивайте на ночлег...

— Куда же я вас устрою? Куда?— чуть не плача, сказал старик.

— У кого останавливается Сангин-байвача?

— У Ташходжи...

— Вот и мы там остановимся. Веди нас к нему.

Маткаримов побледнел. Это видно было даже при неровном свете лампы. А Курванали так посмотрел на Ачила, точно хотел сказать: «Мое дело было предупредить...» Но ничего не сказал, взял свою двустволку, задул лампу и вывел их на улицу. Пока они разговаривали, совсем стемнело. Идущего впереди старика не было видно в тени дувалов, только скрипела деревяшка. Маткаримов недовольно сопел за спиной Ачила, бормоча вполголоса, как будто самому себе:

— Кому помешал мой наган?

Ачил-фирка промолчал. Что можно было сделать наганом, пускай бы у всех троих было по нагану или даже по пулемету? Они приехали поднять народ на борьбу с саранчой, а не вести бой с басмачами. А раз так, то нет другого выхода, кроме одного — пойти в логово бандитов открыто и вести себя, как подобает представителям власти.

— Без Ташходжи вы с нашим народом ничего не сделаете. Ташходжа — негласный председатель,— приостановившись, сказал Курванали.— Что бы вы ни говорили, народ будет смотреть на него...

— Он кулак?— также вполголоса спросил Ачил.

— А?

— Земли у него, говорю, много?

— Много.

— Батраков держит?



— Зачем ему батраки? Семь сыновей у него, дочери замужние, внуки, невестки... Полкишлака родственников...

— Значит, сами колхоз?

— У нас еще нет колхоза...

Мамаджан шел последним. Он сказал, что является специалистом по саранче, а не по борьбе с бандитами, и поэтому просил его ни в какие дела не вмешивать.

Двор у Ташходжи, как и полагалось двору правоверного мусульманина, состоял из двух половин, мужской и женской — ташкари и ичкари. Обе половины и огромный сад были обнесены высоченным дувалом. Из сада Ташходжи вели тропинки в другие сады, наверное, к сыновьям и зятьям. Как только они вошли через низкую калитку на передний двор, с широкой супы поднялся крупный человек и не то сдержанно, не то нехотя сказал:

— Добро пожаловать...

Ачил подумал, что, должно быть, это и есть сам хозяин. У него были редкие брови, рябое лицо и припухлые глаза. Человек понял, что пришедшие облечены властью, но бледное лицо его оставалось непроницаемым. Он широким жестом пригласил их пройти в михманхану — парадную комнату, но Ачил-фирка сказал, что они останутся во дворе. Он решил, что не лишним будет держать под контролем двор. Что можно узнать и услышать в четырех стенах?

Он и его спутники умылись в арыке, сложив свои пожитки на сури под тутовником. Ташходжа вынес чай на подносе, джиду, манс, разломил лепешку. В лунном свете двора с текущим через него арыком, тень от тутовника, какие-то строения и саран таили ощущение опасности. Это мешало беседе. Мамаджан подозрительно смотрел на хозяина — именно таким в его представлении должен был быть предводитель басмачей.

— Простите мою нескромность, но мне кажется, вы недовольны гостями, — сказал Ачил. — Может быть, и ошибаюсь, братец Ташходжа?

Прежде чем ответить, Ташходжа пристально посмотрел на Ачила. Гость был старше его по годам, и это его успокоило.

— Я мусульманин, и двери моего дома открыты всем, кто ищет крова. — Движением сильных плеч он поправил сползающий чапан.

— Говорите, всем?— Ачил-фирка отпил чай.— Значит, и тот, кто режет председателей, может рассчитывать на ваше гостеприимство?

— Открыть дверь и подать чай мусульманину — мой долг. Что он будет творить или натворил за стенами моего дома, его дело. Он сам ответит за свои дела перед аллахом...

— Грех не только убивать человека, но и потворствовать убийству.

— Можно подумать, что на вашей совести нет ни одного убитого,— сказал Ташходжа.— Разве большевики не стреляют из винтовок?..

— Революция стреляет в тех, кто ей сопротивляется...

— Дехканину не нужна революция. Я не вмешиваюсь в политику. Что дала политика дехканину? Вы приехали уничтожить саранчу, а дехканин страдает от политики: приходят басмачи и опустошают кишлак, приходят красные и затапывают посевы... То те, то эти... Что значит саранча по сравнению с бедами?

Ташходжа встал, как бы подчеркивая, что спорить не о чем. Высокий и сильный, он прошел в темный проем веранды.

— Ярая контра!— сказал Маткаримов.

— Ложись, надо отдыхать,— сказал Ачил.— И вы идите, Курванали. Спасибо, и простите за беспокойство.

— Куда я пойду? Буду сидеть тут!— Курванали закутался в халат, обхватив руками двустволку.

Ачил-фирка лежал на спине и глядел на звезды. Он повидал много контры, но Ташходжа не походил ни на одного из тех врагов, с которыми Ачилу приходилось иметь дело. Он угадывал в Ташходже скорее потрясенного событиями хозяйственного дехканина, чем сознательного врага Советской власти. Ачил не заметил, как задремал. Его разбудил шепот Маткаримова:

— Ачил-фирка, так и будем лежать?

— А чем вам здесь плохо?

Маткаримов пожал плечами и снова улегся. Примерно через час он тронул Ачила за плечо:

— Кажется, долежались...

У калитки слышен был какой-то шорох, на улице всхрапнула лошадь. Ачил продолжал спокойно лежать, тогда как Маткаримов уже был на ногах и оглядывался по сторонам, ища, куда бежать, когда со всех сторон на

них кинутся басмачи. Мамаджан проснулся, но, глядя на Ачила-фирку, тоже решил не вставать. Ачил-фирка поднялся и пошел к калитке.

— Возьмите двустволку,— зашептал вслед ему Маткаримов.

Ачил-фирка пересек двор и остановился в тени дувала. На улице разговаривали четыре человека. Совсем близко залаяли собаки.

Мамаджан и Маткаримов потеряли Ачила-фирку из виду. Они только слышали, как он в темноте открывал и закрывал калитку.

Ачил вернулся довольно быстро.

— Собирайтесь,— сказал он и, сняв сапоги, стал перематывать портянки. Оказалось, что из района прискакал гонец. Авангард саранчи перелетел степь и сел на посевы в шестнадцать километрах отсюда. Саранчу ждали не раньше, чем через два-три дня, и ее появление застало врасплох. Керосин, мазут, воск, смола, химикаты все еще в пути, население было в неведении, а самолеты Осоавиахима оставались на своих аэродромах.

Ачил-фирка приказал Мамаджану и Курванали поднимать население. Маткаримов должен был собрать весь имеющийся в кишлаке керосин. А сам Ачил поскакал к месту, где села саранча. Он приехал туда на рассвете. Желтая лава покрыла посевы на холмах и сползала к хлопковым полям и садам. Ачил, чтобы представить себе яснее картину бедствия, поскакал по краю живой ползущей лавы. Конь под ним дрожал и покрывался пеной. Скрипели непрерывно жующие челюсти насекомых. Ачил не выдержал и, повернув дрожащего коня, помчался назад.

Примерно через час стали подходить с кетменями поднятые Курванали и Мамаджаном дехкане. Большинство дехкан пришло скорее из любопытства, желая посмотреть, что это за невиданная напасть. Мамаджан, забыв все свои страхи, объяснял, какая опасность таится в этой желтой непрерывно жующей твари. То, о чем говорил Мамаджан, дехкане видели собственными глазами, и, по мере того как осознавали опасность, в глазах появлялся ужас. Подгонять людей не было никакой нужды. Надо было только подсказывать, что делать. Там и сям по указанию Мамаджана задымились костры из хвороста.

Женщины, дети, старики подходили из кишлака, вооружались палками, камнями, вениками и бежали по посевам навстречу саранче. Когда Маткаримов на арбе привез керосин, мужчины начали сооружать карабуру — вал из хвороста, тряпья и глины.

Холмы, еще вчера такие зеленые, были окутаны дымом. Горело повсюду, и в дыму двигались женщины, дети и махали палками, сметали в огонь груды насекомых. Из-под ног вспархивали саранчуки, в разных местах вспыхивали огни новых костров, а саранчи не становилось меньше. Слышны были плач, всхлипывания, крики. Женщины избивали саранчу палками, топтали ногами и плакали от сознания своего бессилия. Многие, не выдержав натиска саранчи, бежали с холмов. И, немного успокоившись, возвращались на смену тем, кто успел обессилеть. Ачил-фирка, как полководец, скакал из конца в конец все больше растягивающегося фронта, отдавая распоряжения. К полудню в небе появилось три аэроплана. Ачил приказал очистить поле от людей. Задымилась костры, сложенные из кизяка. Костры эти служили самолетам ориентирами, показывающими границы нашествия. Аэропланы появились вовремя. Люди обессилели вконец и теперь, отбежав в сторону и собираясь в толпы, смотрели, как огромные машины низко пролетали над полями, посыпая их химикатами. Через два часа гудение моторов, от которого люди почти оглохли, стихло, самолеты сели тут же неподалеку. Голодные, измученные жаждой дехкане повеселели. Отравленные химикатами полчища саранчи точно прилипли к земле. Тут и там слышны были разговоры:

— Удивляюсь, зачем нужно было богу создать столько твари?

— Эй, полегче! Не трогай бога!

— Теперь все это надо заборонить. Хорошее удобрение.

— Солнце все высушит, смешает с землей.

Усталые люди еще не знали, что такое саранча. Напрасно Мамаджан уговаривал не расходиться, заночевать здесь же, разбив походный лагерь. Люди только смеялись в ответ. Они уже чувствовали себя победителями. К счастью, их удерживало любопытство, и к вечеру почти никто еще не ушел. А когда солнце садилось за горизонт, зеленовато-желтый слой мертвой саранчи

неожиданно зашевелился, ожил и пополз на еще не тронутые поля. Яд, способный убить человека, только на время усыпил насекомых, время это было упущено, и новые поля оказались под угрозой полного уничтожения.

По приказу Ачила-фирки, успевшего сорвать голос, снова взялись за свое оружие — палки. Вновь задымались и вспыхнули огненные валы, облитые керосином, факелы из тряпок, костры. На поля погнались табуны лошадей, волочивших за собой пни, стволы деревьев, бороны. Из района ждали обещанный мазут, смолу и керосин.

— Надо помешать саранче отложить кубышки, — объяснял Мамаджан.

Ачил-фирка передавал его слова дехканам.

— Видите это желтое от саранчи поле? Если она успеет отложить яйца — поле станет в сто раз больше.

Людей не надо было особенно подгонять, они сами прониклись ощущением опасности. Надо было лишь организовать бесперебойную ночную работу, а для этого всех дехкан разбили на три смены, чтобы каждая смена смогла хоть немного отдохнуть.

Перед рассветом Ачил-фирка со своими спутниками приехал в дом Ташходжи. Калитку им открыл сам хозяин. Когда Ачил-фирка, не раздеваясь, лег на глиняную супу и тут же заснул, хозяин лишь покачал головой. Он с интересом разглядывал закопченное лицо с грязной бородой, заострившийся за одни сутки нос и черные впадины под глазами. На глазах хозяина его вчерашний гость словно бы постарел на десяток лет. От бороды и бровей, прихваченных огнем, пахло паленым волосом, сапоги измазаны вонючей и липкой массой. Ачил-фирка проснулся через несколько минут так же неожиданно, как заснул. Он сел на супе и потряс головой. Потом тяжело поднялся и побрел к арыку умыться. Ташходжа не выдержал, подошел к нему и полил из ведра на шею и голову.

— Как там? — спросил он.

Ачил, разбрызгивая холодную воду, умылся до пояса и только после этого взглянул на хозяина дома. Странно, на лице Ташходжи появилось то ли любопытство, то ли сочувствие. Во всяком случае, рябое лицо его перестало быть неподвижным.

— Плохо! — коротко сказал Ачил. — Трудно справиться с этой тварью.

При свете ручного фонаря, подвешенного под стропила, они попили горячего чаю, не притронувшись к другим угощениям. Ташходжа сидел в стороне, с интересом и удивлением рассматривал их. Что им надо? Довели себя до изнеможения, когда даже есть не хочется. Ночуя в его доме, рискуют остаться без головы. Во имя чего? Не свои спасают земли, и посевы — чужие.

Проводив гостей на рассвете, он и сам не усидел дома. Вывел из сарая старую кобылу, оседлал и, ничего никому не сказав, выехал со двора. Легкий туман стелился над землей вдоль дороги. Кишлак словно вымер. Пели птицы, и по-весеннему грело солнце. В такое светлое и тихое утро не верилось, что где-то рядом зреет, набирает силу смертельная опасность. Ташходжа сорвал на ходу горсть зеленого урюка, кинул ее в рот. Морща рябое лицо, жевал кислую упругую мякоть. Дорога, обсаженная тополями, зеленые посевы пшеницы, поля хлопчатника — все было знакомо, все зеленело, согретое солнцем и напоенное влагой. И вдруг все переменялось, и Ташходже показалось, что он попал в мертвую, черную пустыню. Ему на мгновение подумалось, что он задремал в седле и видит сон. Но какой сон, если на холмах кричат, беснуются люди и он отчетливо слышит их крики, видит бледные языки пламени, стелющийся дым и сладковатый, омерзительный запах, которым исходит земля. Кобылица настороженно, боком уносила всадника в сторону. Она крапела и вздрагивала, и ее невозможно было заставить ступить на черную, словно только что вспаханную землю. Ташходжа натягивал поводья, бил в бока лошади каблуками сапог — ничто не помогало, пока он в бешенстве не стал хлестать ее камчой между глаз. Дрожащая, покрытая пеной кобыла остановилась. Ташходжа прыгнул на землю, и из-под сапог поднялись черные жирные хлопья. Он зачерпнул горсть земли, липкой и вонючей, в ней ни корешка, ни былинки. На глазах Ташходжи появились слезы. Он бродил среди людей. Они, не глядя друг на друга, бешено стегали землю, ворошили костры, подбрасывая в огонь изрубленные в щепки фруктовые деревья. Он остановился поодаль, меж гряд, охваченных огнем. Вспыхивала облитая керосином земля, вспархивала и тотчас сгорала в пламени саранча, потрескивая и распространяя зловоние. Он не выдержал этого запаха и по-

бежал к бочкам. От них пахло мазутом и керосином, и он встал тут, потому что этот запах показался ему приятным.

Домой он вернулся подавленным. Ему не верилось, что люди сумеют одолеть саранчу. Все, что создавалось руками сотен поколений, его собственными руками, все было обречено.

Ачил со своими спутниками приехал в полночь. Ташходжа встретил их во дворе, хотел накормить, напоить чаем, но они его словно не замечали. Повалились, как были, в грязной, пропахшей гарью и саранчой одежде и тут же заснули. Ташходжа не мог сомкнуть глаз. Сладковатый, вонючий запах как будто пропитал весь двор и сад, пробрался в комнаты. На рассвете он услышал, как маленький, точно мальчик, Мамаджан заговорил с Ачиллом:

— Ачил-ака не спите?

— Проснулся...

После долгого молчания Мамаджан продолжал:

— По моим расчетам, саранча насытилась. Значит, завтра отложит кубышки. Представляете, что это значит? Каждое насекомое, а их миллиарды, зароеет в землю восемь — десять кубышек, а сама сдохнет.

Ачил быстро сел.

— Можно подумать, тебя это радует.

— Стойте, Ачил-фирка, потерпите. У меня есть план. Молодая саранча появится через четырнадцать дней и охватит пространства в сотни и тысячи квадратных километров...

— Я знаю, ты крупный специалист пугать саранчой, но скажи, зачем пугаешь? Скажи, чего ты хочешь? — Ачил-фирка чуть не кричал.

— Слушайте, не перебивайте... Эти новые кулиги, еще более голодные, чем их родители, не могут летать. Они поползут в тот же день по земле. Будут ползти, пожирая все живое, что встретят на пути. Они не свернут ни на сантиметр в сторону. Их не остановит ни огонь, ни вода, ни пропасти. Они будут гибнуть и ползти. Подохнет одна кулига, а по ее трупам поползет вторая, и так без конца...

— Тебя, кажется, радует упорство этих тварей? — на этот раз тихо, с угрозой в голосе спросил Ачил.

— Вы правы, Ачил-фирка, радует... Саранча будет

упорно ползти вперед, пока останется хоть одна кулига. Значит, надо, чтобы не осталось ни одной... Жизненный инстинкт саранчи должен будет неизбежно вести ее к смерти... За четырнадцать дней надо вырыть на ее пути арыки, наполнить их смолой и мазутом и, когда саранча поползет, поджечь. Надо вырыть арыки в два-три ряда, тогда ни одна кулига не проскочит через огненный барьер.

Во дворе стало тихо, как будто в десяти километрах отсюда не происходила страшная драма, как будто все спокойно спали и только весенний ветер шарил в садах. Но так, конечно, только казалось. Ачил торопливо обувался, будил Маткаримова.

— Седлайте коней,— приказал Ачил. Он подошел к Мамаджану, поднял его с постели и поставил перед собой, очень похожего на подростка.

— Вот ты какой, ученый! Маленький, а сильный. Головой сильный,— говорил Ачил, разглядывая Мамаджана, точно впервые его видел.— Я все хорошо понял. Теперь ты скачи в район, расскажи про свой план. Пусть все им воспользуются. Не задерживайся, скачи.— Он еще раз любовно оглядел тщедушного Мамаджана, который стоял перед ним в длинной рубашке, босой.— Хош... Езжай, умница.

Дни проходили, как в бреду. Ачил-фирка запомнил лишь отдельные эпизоды. Сначала проводили собрания — боялись, что народ, успокоившись после исчезновения саранчи, не захочет больше работать. Но это опасение было напрасным. Люди поднялись все как один. Героем этих дней стал Мамаджан. Из уст в уста передавалось его имя: «Предложенне Мамаджана», «способ Мамаджана», «арыки Мамаджана». А его самого не видно. Сам он в районе рассылает во все концы инструкции и распоряжения. А по дорогам, по полям группами и в одиночку, целыми кишлаками и рабочими предприятиями на саранчу двинулись люди. Они шли пешком и ехали на арбах, скакали верхом и прибывали железнодорожными эшелонами, повсюду на дувалах, на оглоблях арб, на стенках вагонов висели лозунги: «Все на рытье рвов!», «Все на борьбу с саранчой!», «Спасем сады!» Поля никогда не видели людей в таком количестве. Ачил-фирка носился на взмыленном коне, не в силах объехать за один день весь фронт работ, и



не понять было, кто устал больше, он или конь... Арыки рыли в два ряда на протяжении трехсот километров. Трехсоткилометровая живая цепь людей беспрестанно и днем и ночью двигалась, шевелилась, десятки тысяч кетменей взлетали над головами, поблескивая на солнце. А потом поползла саранча, и в течение двух дней и двух ночей из арыков вырывались языки пламени и над землей стлался дым. До сих пор Ачил-бува не знает да и вспомнит языки пламени, черный мазут и падающих в огонь насекомых, за рядом ряд, за рядом ряд. А по другую сторону арыков ликовали люди — праздновали победу над желтой смертью.

Вечером, в день, когда последние насекомые, подползая, падали в огонь, веселье перенеслось в кишлаки, в махалли, и на гузары. Когда с песнями, под звуки карнаев пришли в кишлак, во дворе Совета нашли труп Курванали. Слух об убийстве сторожа-инвалида отрезвил людей, напомнил, что на их земле еще осталась опасность не меньшая, чем саранча.

Ачил-фирка и Маткаримов узнали об убийстве вдали от кишлака. Маткаримов накануне побывал в районе и теперь красовался при всей форме и с наганом. Ачил фирка и он, сев на лошадей, немедленно поскакали в кишлак. Ни тот, ни другой не сомневался, что это дело рук Сангина-байвачи. Ачил думал, какую роль в убийстве сыграл Ташходжа.

Взволнованные дехкане толпились во дворе Совета. Ачил-фирка уговорил их разойтись по домам. Труп сторожа, перенесенный в комнату, был накрыт красным полотнищем. Маткаримов сказал:

— В кишлаке есть кто-то из басмачей. Они явно знали, что сюда, на борьбу с саранчой, приехало несколько коммунистов. Думаете, в это время Сангин будет сидеть сложа руки? Надо уезжать. А потом я вернусь сюда и прочешу кишлак, начав с нашего бандита-хозяина.

Ачил-фирка понимал, что самое разумное — покинуть кишлак. Во всяком случае, если убийцы еще здесь, то они наверняка у Ташходжи и ночью идти к нему в дом опасно. Но уехать, не побывав у него, Ачил-фирка не мог. Это было похоже на бегство. Бегство представителей Советской власти от кучки бандитов. К тому же ему не хотелось доверить расследование убийства сторожа одному Маткаримову.

В полночь они подошли к дому Ташходжи со стороны конюшен, через дувал заглянули во двор. В хаузе квакали лягушки. Ни огонька, ни человеческого голоса. Как будто и двор и дом были покинуты.

Ачил-фирка не захотел пробираться к дому тайком и повернул к калитке, но Маткаримов удержал его за руку.

— Вам не кажется, что в михманхане<sup>1</sup> свет?— спросил он.

Ачил напряг зрение. Действительно, под окнами было как будто чуть посветлее. Они осторожно перепрыгнули через дувал и пошли к дому вдоль арыка. На веранде был постлан ковер, который хорошо заглушал шаги. Они остановились, прислушаваясь к тому, что делалось на мужской половине. Маткаримов, прижимая к груди наган, приник ухом к окну. В комнате кто-то разговаривал, но нельзя было понять, сколько там человек. Ачил тоже прислушивался. Говорил Ташходжа.

— Нет, они мне ничего не дали,— говорил он.— Да и что мне надо? Земля у меня есть, дети есть. Живу в достатке. Но я видел, как они любят землю. Видел, как они дрались за каждый ее вершок. Они понимают, что значит гибель посева для дехканина. А раз они это знают, раз они любят землю, значит, они друзья дехканину.

Ташходжа смолк, и Ачил напряженно ждал, кто ему станет отвечать. Но в комнате молчали, пока снова не заговорил Ташходжа:

— Я видел, что это такое — саранча. Не думаю, что найдется хоть один человек, которого может обрадовать эта желтая смерть. Обрадовать голод, который она несет дехканину. Я готов дать кров и накормить любого мусульманина, пока он честен. Но тот, кто пользуется людским горем, чтобы самому было хорошо, бесчестен, байвача!

Все было ясно. Через мгновение Ачил, толкнув дверь, а Маткаримов — окно, ворвались в комнату. В дрогнувшем от движения воздуха свете лампы они увидели дастархан, уставленный угощениями, сваленные в углу одеяла и на них двоих людей со связанными руками и

---

<sup>1</sup> Комната для гостей.

ногами. Сам хозяин сидел спиной к двери и даже не обернулся. Связанные замычали, пытаюсь вытолкнуть изо рта полотенца.

— Руки вверх!— крикнул Маткаримов. Связанные не только не могли поднять рук — они не могли шевельнуться, а Ташходжа не спеша встал и повернулся к Маткаримову с поднятыми руками.

— В чем дело?— спросил Ачил.

— Это Сангин-байвача,— сказал Ташходжа, кивнув на одного из лежавших.— А это его подручный. Они хотели, чтобы я разрешил им сделать на вас засаду. Пока они спали, я их связал.— Руки Ташходжи, видно, устали, и он их чуть опустил.

— Руки вверх!— заорал Маткаримов.

Ачил искоса посмотрел на него и отвел в сторону руку с наганом.

— Оставьте, смотрите лучше за теми. Хотя и это вряд ли нужно, они хорошо связаны.

Маткаримов, толкая Ташходжу дулом нагана, приказал ему отойти в угол и повернуться спиной.

— Понял, что дела плохи, и расправился с дружками,— сказал Маткаримов.

— Маткаримов, у вас в голове помутилось. Я бы хотел посмотреть на вас, когда вон те еще не были связаны.

— А вы сейчас на меня смотрите. Тогда я действовал бы так же.

Ачил-фирка неожиданно выбил у него наган. Маткаримов метнулся, чтобы его поднять, но Ачил наступил на наган ногой, потом неторопливо поднял, разрядил. Наган отдал Маткаримову, а патроны положил себе в карман.

— Так будет спокойней. Не знаю, кто вам доверил эту опасную игрушку,— сказал Ачил-фирка.— А теперь присядем и поговорим.

Вагон покачивался, пассажиры дремали.

— Что было дальше бува?— спросил Азимджан.

Ачил-бува уже давно молчал.

— Ты о чем, малыш?— спросил он.

— Что было потом с Маткаримовым?

— Ничего не было. Глупый был человек и подлый.

В очень неподходящие годы донес, будто я заступался за басмачей.

— А Ташходжа?

— Состарился так же, как и я. Но на покой не ушел. Он сейчас председатель Совета в своем кишлаке.

Ачил-бува прикрыл глаза, словно задремал. А Азимджан думал: какие еще видения прожитой жизни в памяти старика? Чем больше он узнавал подробности из жизни бувы, тем ближе и дороже становился ему его дед. Было как-то странно, что совсем иные, незнакомые Азимджану условия жизни в незнакомой стране волнуют его. Азимджан объяснял это кровным родством.

Бобо, видимо, устал от рассказа, и Азимджан не решался его тревожить. Пассажиры вокруг стали собирать свои вещи. Прошел проводник, объявляя:

— Станция Горчакова.

В Фергану Ачила-буву и Азимджана привез черноглазый паренек. Он увидел их на станции и пригласил в свой «Москвич». Машина остановилась на центральной улице, по обеим сторонам которой росли могучие тополя. Денег парень не взял.

— Благой поступок те же деньги,— сказал он.— Будьте здоровы, Ачил-бува! Вы меня не знаете, я вас знаю.— Парень приложил руку к сердцу, с тем и уехал.

Умида в это время купала детей. Очень трудоемкая работа, если учесть, что у нее их было семеро. В мыльной пене была не только ванная, но и передняя, и на полу стояли лужи воды. Двое уже натянули штанишки, трое сидели голенькие, ожидая очереди, еще один блаженствовал в ванной, погруженный в пышную пену. Седьмой лежал в комнате в люльке.

— Вай, дададжан мой!— воскликнула Умида, увидев вошедших, и повисла на шее у отца. Она была в широком шелковом платье с узорами, чуть присобранном на груди. На оголенных руках ее подсыхали хлопья пены. Миловидная женщина раскраснелась от работы. Она так растерялась, что забыла опустить подол платья, спохватилась и, еще больше покраснев, быстро оправила его. Она проворно присобрала волосы, накинула на голову косынку — по обычаю не полагалось при отце ходить с непокрытой головой — и принялась за детей. Ребятишки

подняли визг и суматоху вокруг дедушки. Умида быстро справилась с ними: визжащих и кричащих детей она мгновенно разместила — кого в ванну, кого в одну комнату, кого в другую, таким образом дети исчезли, как будто их вовсе и не было.

— По-моему, трое младших меня еще не видели?— сказал Ачил-бува, с улыбкой поглядывая на свою проворную дочь.

— Вай, дада! Конечно, не видели. Как они могли видеть, если вы приезжаете так редко,— ответила Умида. Азимджан не заметил, как она привела себя в порядок. Умида сделала это с невероятной быстротой и теперь, поблескивая глазами, с любопытством смотрела на него, в то же время укоряя отца, что не уведомил ее о своем приезде, сообщила, что муж в командировке и очень огорчится, если не повидает буву. Без всякой паузы Умида стала расспрашивать о родственниках, дальних и близких. Ачил-бува, не желая омрачать первые минуты встречи, уклончиво ответил, что все хорошо, что все, кого он видел, передают Умиде привет и любовь.

— А это твой племянник. Зовут его Азимджан, и живет он за границей.

— Вай! Неужто сын Анабиби? Отец, я же сестру не знала... Как хорошо, что вы приехали, я хоть немного представляю себе, какая у меня была сестра.

— Я не буду называть вас тетя, можно?— спросил Азимджан.

— Почему же?— спросила Умида.

— Ну, какая вы тетя? Мы же ровесники, а выглядите вы еще моложе. Буду называть вас сестрой, Умида-апа, ладно?

Умида снова рассмеялась, сказала:

— Какая женщина устоит против таких комплиментов? Хоп, зовите сестрой, мой дорогой племянник... Дададжан мой, бедненький, ты совсем устал... Дада, где вы?

Оказалось, что Ачил-бува ушел в ванную, где мылся его старший внук. Разговаривая с ним, умылся сам, втащил хурджун, достал легкую одежду.

— Потерпите немного, мой дада и дорогой племянник, сейчас приготовлю чай.

Когда Умида вышла из комнаты, Азимджан хлопнул себя по лбу.

— В доме столько детей, а мы не привезли ни одного подарка,— сказал он.

— Там, где много детей, один подарок не спасет, а только помешает. Обычно, когда я приезжал к Умиде, я всегда привозил запасные подарки, потому что никогда не знал, сколько у нее появилось детей за то время, что мы не виделись.— Ачил-бува говорил ласково и немного устало. Умида была его последним ребенком и самой любимой дочерью.— В этом доме, Азимджан, самое тяжелое горе теряет свою остроту. Я отдыхаю здесь душой. В семье Умиды всегда царят мир, любовь и согласие... Она душа семьи, рядом с ней всем как-то теплее.

Ачил-бува еще долго мог бы говорить о дочери, превознося ее достоинства и доброту, но в это время Умида внесла в комнату самовар. Ачил-бува сел на диван, поджав под себя ноги. Сразу было видно, что это его место. Азимджану Умида подвинула мягкое кресло. Потом стали появляться дети. Они успели принарядиться. Все, и мальчики, и девочки, были удивительно похожи друг на друга не столько чертами лица, сколько манерой держаться. Часа два ушло на то, чтобы восстановить с внуками старые знакомства и завести новые. Бува пытался запомнить их имена, но ничего из этого не получалось. Сначала старику было действительно трудно запомнить, а потом он стал притворяться, называя Карима Уйгуном под общий смех и веселые возгласы, как только старик путал чье-то имя, его хором поправляли.

Утром, за завтраком, когда дети ушли кто в школу, кто в детский сад, Ачил-бува рассказал о том, как живут Ариф и Камила, и о трагической смерти Акбарали.

— Я рад, дочка, что у тебя все спокойно. В твоём доме я отдыхаю душой. Да и наш Азимджан, наверное, устал от всех семейных неурядиц...— Бува вдруг замолчал, увидя в глазах своей дочери слезы. Он подумал, что Умида переживает смерть племянника. Так оно и было. Но не только это вызвало слезы Умиды.

— Берите виноград, Азимджан,— сказала она, чтобы отвлечь от себя внимание. Однако Ачил-бува хорошо знал Умиду, он сразу почувствовал, что у нее на душе что-то неладно.

— Умида, рассказывай. Нечего таить от отца. Я ведь вижу, что-то случилось. Муж здоров? Не повздорили?

— В семье все хорошо, бува... Честное слово...

— В чем же дело?

— Поверьте, папа, даже говорить не стоит. Все уже в прошлом и касается только меня.

— Как это так: «только меня»? Я кто, чужой?

— Простите, папа, я просто хотела сказать, все в прошлом.— Умида улыбнулась, и на сердце ее старого отца потеплело. Его дочь, умная, ласковая, показалась ему еще лучше, еще добрее. Не может быть, чтобы в ее жизни было что-то плохое.

— Слава богу, что прошло... О прошлом всегда легче рассказывать,— сказал Ачил-бува.

Вы, конечно, догадались, что придется выслушать новую повесть. Сами понимаете, что без этого не обойтись, а перед повестью, как у нас повелось,

## ЛЕГЕНДА О ДОН ЖУАНЕ И КОМАНДОРЕ

Собственно, легенда эта давно бытует и много раз пересказана в разных жанрах. Поэтому нам остается только о ней напомнить. Просто освежить ее в вашей памяти.

Итак, событие, как вам известно, произошло в далекой Севилье.

Дон Жуан стоял на кладбище, уставившись на каменный памятник Командора. Слушайте и знайте. Он не зря на него уставился. Командор не всегда был каменным. Именно об этом думал Дон Жуан, когда его разглядывал. Дело в том, что, как вы помните, у Командора была жена, прелестная донна Анна. Однажды ее увидел Дон Жуан и она его увидела. Что из этого получилось, вы либо помните, либо догадываетесь. Дон Жуан проник к донне через окно. В это время в спальню вошел Командор. Мужественный человек, увешанный орденами, молодой и знатный. Но какое до этого дело Дон Жуану? Аристократ или плебей, молодой или старый — все равно, никто не смеет мешать ему. Но в ту ночь, вытирая полый камзола окровавленное лезвие шпаги, он словно бы делал это впервые, испытывая страх и смятение.

На кладбище, когда он смотрел на памятник, по телу Дон Жуана пробегали мурашки.

— Испугались?— спросил его проникательный слуга.

— Ничуть!.. В доказательство приглашаю его на ночное свидание. Вы слышите, Командор, я вас приглашаю...

О том, что было дальше и как Каменный гость расправился с Дон Жуаном, вы наверняка помните, и потому не станем испытывать больше ваше терпение, тем более что уже ждет

## ПОВЕСТЬ, РАССКАЗАННАЯ УМИДОЙ

Тихими, тяжелыми шагами  
в дом вступает Командор...  
А. Блок

Умида никак не могла привыкнуть к европейскому времени и просыпалась первой в отеле. И сегодня она проснулась, когда еще весь отель спал, а на улице только-только занимался рассвет. Умида подумала, что в Фергане сейчас двенадцать часов дня и снова заснуть нечего даже и пытаться. Горничная успела принаровиться к своей клиентке. Как только над дверью номера загорелся красный глазок, она понесла ей черный кофе в малюсенькой чашечке.

— Bitte, Frau Doktor.

— O, danke schön.

Женщины правились друг другу. Как говорится, их звезды сошлись. Они многое успели узнать друг о друге за несколько дней знакомства. На Берту сильное впечатление произвела Умида. «У вас шестеро детей? О, как вы с ними управляетесь, доктор?» Умида знала, что Берта хотела учиться на машинистку, но ей помешали дети. Детей у нее было двое. Берта, в свою очередь, была посвящена в то, как трудно быть матерью и заниматься наукой, потому что дети болеют и у врачей. У врачей почему-то даже чаще.

Умида стоя выпила кофе, одновременно просматривая свой доклад, разложенный на столе. Она умылась и присела к туалетному столику, расчесывая волосы. Ей, как и всем делегатам, было выделено двадцать минут на сообщение. В ожидании очереди она вся истомилась. Наконец сегодня настал ее день. Попробуй двадцать лет работы уложить в двадцать минут! В сторону все пережитые сомнения, многочисленные неудачи, среди которых так редки радости открытий! Когда Умида после войны впервые переступила порог лаборатории, она, с коротко стриженными волосами и в больших кирзовых сапогах, казалась совсем еще девочкой. Сейчас из зеркала на нее смотрела умудренная жизненным опытом женщина, смуглая, с милой родинкой на щеке, с тяжелой косой черных, как смоль, волос, узлом уложенных на затылке, доктор Карнева. Умида улыбнулась, и зеркало послушно повторило ее улыбку. Вчера в вечерней газете



была ее фотография с подписью: «Молодой участник международного симпозиума из Советского Узбекистана».

Умида чуть подкрасила ресницы и брови, подчеркнула родинку. Долго выбирала серьги, прикладывая их к ушам. Выбрала тяжелые и строгие, с камнями из черной яшмы. Взяла флакон духов, но тут же снова поставила его на столик. Непонятно, зачем она купила духи. Так и не привыкла душиться, а все потому, что старший, Уйгун, когда еще был грудным, не переносил резких запахов. Умида надела черный костюм, специально сшитый для поездки за границу. Все было ладно, все было хорошо. Доктор Кариева была готова к докладу. А утро, как назло, все не наступало. К тому же небо обложили тучи. Пасмурная погода стояла уже целую неделю: ни дождя, ни солнца. Умида не могла привыкнуть не только к разнице во времени, к здешней погоде, но и к самому городу.

Откинув шторы, она смотрела на дома из красного кирпича, вытянутые вверх, с крутыми крышами — типичная готика, шпили на крышах. К отелю уже подъезжали машины и останавливались на противоположной стороне улицы. Чтобы хоть немного привыкнуть к городу, Умида не пользовалась автомобилем, всюду старалась ходить пешком. Сегодня, чтобы избежать всяких случайностей, стерегущих человека на улицах незнакомого города, она решила воспользоваться автомобилем. Трудно быть единственным представителем советской медицины на симпозиуме, на который съехались знаменитейшие ученые всего мира. Умида уговаривала себя быть смелой. До сегодняшнего дня это ей удавалось. Ну, а сегодняшнее волнение... Что ж, наверное, без этого нельзя.

Черный лимузин затормозил на огромной площади. Шофер вышел и, обойдя машину, открыл дверцу со стороны тротуара.

— Мадам...

Умида поблагодарила и ступила на мокрый асфальт. Чуть затянутое туманом, белело здание медицинской академии, все здание — стекло и сталь. Здесь проходил симпозиум по легочным болезням. То и дело подъезжали машины. Из них выходили ученые в длинных черных мантиях, увенчанные множеством почетных наград, молодые врачи в смокингах. Индийцы и африканцы в своих

национальных костюмах. Прозрачное здание походило на аквариум, заполненный разноцветными рыбками. Умида влилась в пестрый разноязычный поток и вместе со всеми стала подниматься по ступеням, цокая острыми каблучками-гвоздиками.

До начала заседания делегаты прохаживались по коридору. В конце его показался высокий эlegantный доктор Бергер в костюме стального цвета. Ему уже было за пятьдесят. Лысая голова на тонкой жилистой шее, но лицо молоджавое, как у всех сухопарых мужчин. И держался он молодо. Доктор Бергер, знаменитый хирург-легочник, привлекал к себе всеобщее внимание. Со всех сторон с ним раскланивались, он отвечал с вежливой улыбкой. В программе сегодняшнего дня его доклад был главным. Многие виднейшие ученые приехали на симпозиум ради того, чтобы услышать этот доклад. Умида проводила доктора Бергера взглядом. Конечно, ее сообщение не шло ни в какое сравнение с тем, что должен был поведать ученому миру доктор Бергер, хотя и оно было смелым словом в легочной хирургии. Но не это занимало мысли Умиды. Она провожала доктора взглядом и никак не могла понять, откуда у нее состояние тревоги, охватившее ее. Как только она видела знаменитого доктора, ей почему-то становилось не по себе, как если бы она уже встречалась когда-то с этим человеком и он оставил неприятное воспоминание. Но где она могла с ним встречаться? Разве что видела где-нибудь его фотографию?.. С двумя знакомыми польками она позавтракала и, расставшись с ними, пошла в зал. У нее, как у всех выступавших на симпозиуме, место было в президиуме, на возвышении в центре зала.

Умида прошла во второй ряд и села в свое кресло. В киоске она купила бюллетень симпозиума с программой на сегодняшний день. Оглядев круглый зал с рядами кресел, поднимавшихся к потолку, она развернула бюллетень, и на нее с первой страницы уставился чуть прищуренными глазами Курт Бергер. Доктор снялся, положив руки на стол, и, улыбаясь, глядел прямо в объектив. Фото было цветным, и на запястьях видны были рыжие волосы. Руки хирурга с очень сильными пальцами. Внимание Умиды отвлекли жиденькие аплодисменты. Зал аплодировал председателю сегодняшнего заседания — голландскому доктору.

Зажглись глазки телевизионных камер. Осветились иллюстрационные экраны, вспыхнули прожекторы, зажужжали киноаппараты. Один за другим выходили на кафедру докладчики. При их появлении дружно щелкали переключатели наушников. Большинство сообщений так или иначе были известны, поэтому многие делегаты сидели без наушников. Но вот председатель объявил, что слово для доклада имеет доктор Курт Бергер. Мгновенно все переменялось, как будто по залу промчался порыв ветра. Высокую прямую фигуру доктора осветили прожекторы, и он стоял, освещенный ими, величественный и снисходительный. Делегаты вставали, приветствуя ученого. Десятки корреспондентов протягивали к трибуне микрофоны.

Доктор Бергер ждал, пока восстановится тишина. Он заговорил, и неожиданно оказалось, что у доктора густой бас. Он, доктор Бергер, осознает, сколь почетна и ответственна предоставленная ему трибуна, и он чрезвычайно счастлив не только возможностью поделиться своими мыслями, но и послушать своих коллег из всех стран мира, узнать об их успехах. Служение науке, говорил доктор, требует самоотверженности, всей жизни человека, при этом не следует ждать благодарности человечества — наградой ученого является само открытие.

Умида сидела в очень удобном кресле, но при этих словах поймала себя на мысли, что ей очень неудобно сидеть. Прожекторы освещали профиль оратора: нервные крылья тонкого носа, брови, ресницы, кажется, рыжие, даже не рыжие, а белесые. И эти руки на трибуне, с рыжими волосками на запястьях. Умида не видела со своего места бровей и ресниц, но точно знала, что они не только рыжие, сколько белесые, и глаза не голубые, а скорей водянистые, бесцветные. Но почему она это знала? Почему?

Возвышенные слова, произносимые густым басом доктора Бергера, звучали с оттенком легкой иронии. Если его скромные достижения, говорил он, окажутся полезными науке, то он будет считать себя вознагражденным за ночные бдения, заполненные трудом и многими разочарованиями.

Умида сидела без наушников. Она прилично знала немецкий язык, еще не успела забыть разговорную речь.

А несколько дней пребывания в этом городе восстановили даже произношение. Когда Умида говорила по-немецки, ее принимали за немку и удивлялись восточной внешности. Умида уже некоторое время назад поймала себя на том, что прислушивается не к словам докладчика, а к его манере говорить, к ироническому звучанию голоса. Она была уверена, что знает, каким может быть этот голос в гневе.

Кресло, на котором сидела Умида, заскрипело, она наконец решила переменить положение, но совсем не думала, что кресло так громко скрипит: многие в первом ряду повернули голову в ее сторону.

Бергер тем временем перешел к деловой части сообщения. Он склонился над листами доклада, как над операционным столом. Умиду потянуло вытереть с его лба капли пота. Ей почудилось, что он сейчас коротко бросит: «Зажим», «Тампон»... Она, неожиданно даже для себя, поднялась. Ей захотелось, чтобы доктор увидел ее. В это время в зале раздались аплодисменты, но Умида не слышала, что сказал Бергер. Она спустилась в зал, прошла в первый ряд и, демонстративно откинув сиденье, присела напротив доктора Бергера. На нее зашикали, но докладчик ее не замечал. Он говорил:

— Какой части легкого достаточно, чтобы человек мог дышать, мог жить? Две трети? А может быть, хватит половины? Ну, а если останется не пораженной болезнью всего одна четвертая часть? Что будет с больным?— Бергер кидал в зал вопросы, и зал настороженно ждал, когда на них последуют ответы.— Можно ли сегодня сказать о минимальных границах, при которых больной может жить и при нарушении которых умрет? Я беру на себя смелость на основании многочисленных практических операций ответить — да, можно...— В зале стало еще тише.— Сейчас я оглашу данные операций, проделанных мною. Ганс Каффельд, 1937 года рождения, из Гамбурга, оперирован 13 сентября 1954 года; Давид Гюнтер — 1928 года, из деревни Гойзер...

Доктор Бергер неторопливо перечислял имена, читал выписки из истории болезни.

Умида больше не сомневалась. Ей только хотелось, чтобы он хотя бы на мгновение взглянул на нее с высоты трибуны. Она сидела против него прямо и вызывающе, но он был увлечен докладом. Тогда Умида на-

послала на клочке бумаги, что отказывается выступать со своим сообщением в этом зале, с трибуны, на которой выступает доктор Бергер. Она встала, подала председателю записку и, сопровождаемая удивленными взглядами, пошла к выходу. Как ни увлечены были делегаты докладом, но все же кое-кто, особенно из близко сидящих к Умиде, понял, что она покидает зал демонстративно. Выражение лица председателя, только что прочитавшего записку, это подтверждало. Тотчас вездесущие репортеры кинулись за Умидой. Выходя из зала, она слышала, как звонил колокольчик председателя и его старческий голос призывал к порядку.

Умида не помнила, как добралась до отеля: то ли на машине, то ли пешком. Она бросилась в кресло и долго сидела. Постучав, в номер вошла Берта. Ее лицо, покрытое веснушками, как ржавчиной, было краснее обычного.

— Доктор, что с вами? Посмотрите в зеркало...

— Нет, нет... Не надо...

— Меня послали узнать, что с вами. Без конца звонит телефон, а вы не берете трубку.

— Меня нет. Слышите, Берта? Меня нет...

Когда горничная вышла, плотно прикрыв за собой дверь, Умида впервые подумала: «Что я натворила?» Она представила, какой поднимется шум. «Но я не могу, не могу... Я всего-навсего человек и не могу это вынести», — говорила она сама себе, точно желая оправдать свой поступок.

В дверь всунула свою рыжую голову Берта:

— Простите, фрау, к вам пресса...

— Берта, я просила вас никого не пускать.

— Я и не пускаю, фрау. Они просили меня доложить.

— Нет, нет... Не пускайте...

Дверь закрылась, но уже через пять минут Берта снова всунула голову.

— Покоя нет... Корреспонденты, фрау доктор...

— Нет, нет, нет...

— «Франкфурте Альгемейне», фрау, только один вопрос! — сказал за дверью мужской голос, и в ту же секунду, отстранив Берту, на пороге показался невысокий мужчина в очках и с фотоаппаратом.

— Нет, — сказала Умида.

В последний момент нахальный корреспондент уснул

шелкнуть своим аппаратом. Умида, ослепленная вспышкой, захлопнула дверь. Она открыла шторы, но пасмурный день почти не давал света. Доктор Бергер... Курт Бергер, вот когда снова довелось встретиться... А ведь она даже не знала его фамилии... Для нее он был просто герр оберст, главный хирург госпиталя.

По улице в тумане с зажженными фарами проезжали машины. От лучей света, попадающих в окно, на стенах метались тени...

«Фольксваген», заскрипев тормозами, остановился перед отелем, а Умиде показалось, что она услышала шум машины перед больничным бараком.

...Новая партия больных с рудника. Их привозили на грузовике под конвоем. Рудник где-то далеко — страшное место, там добывали не то цинк, не то свинец... А больница на опушке тихого леса, как и положено быть больнице для легочных больных.

Умида слышала о руднике еще в концлагере. Ее перевели в эту больницу из лагеря на должность медсестры, потому что она знала немецкий язык. Она могла быть довольна судьбой. Правда, ее смущало одно обстоятельство: никто из больных, попадая сюда, не выздоравливал, что ж, хотя бы перед смертью больной вновь мог почувствовать себя человеком на чистой и теплой постели. Больных бывало не очень много, и Умида думала: это потому, что с рудника привозят только тех, кто подает надежду на выздоровление. На первый взгляд они даже кажутся совсем здоровыми, и только через несколько недель пребывания в больнице болезнь разрушает их организм и операции не спасают от смерти. Каждый из них переносит не одну, а несколько операций, но ничто не может спасти их от яда, которым забиты легкие.

Вот и эта новая партия больных производит впечатление вполне здоровых людей. Они спрыгивают на землю, опасливо и с любопытством поглядывая на молоденькую сестру. Никто из них в жизни не видел узбечку. Больные разных национальностей. Они жмутся робкой кучкой. И только когда она ведет их в ванную комнату, где вдоволь горячей воды, где после купания им выдает чистое белье, пижамы, халаты, а потом приводит в светлые палаты, где стоят застланные чистым бельем кро-

вати, они, повеселевшие и еще не веря своему счастью, улыбаются ей.

Смерть в больнице от недуга — законная смерть. Но Умиде все равно не по себе, когда она думает, что эти молодые люди обречены, что за время своей работы в больнице она не видела ни одного выздоровевшего. Их не спасало даже искусство главного хирурга.

Разместив вновь поступивших, Умида вернулась к своим больным в палату на шесть мест. Высокий поляк Рослав спросил:

— Новеньких привезли? Поляки есть?

С Рославом у нее прекрасные отношения. Он веселый, приветливый. И Умиде кажется, что это первый больной, который обязательно выздоровеет.

— Кажется, есть,— ответила она.

От окна на нее смотрел немец. Смотрел напряженно, как будто хотел проникнуть в душу медсестры.

— Почему «кажется»?— спросил он.— Либо есть, либо нет...

Умиде казалось, что немец постоянно ее экзаменует, как будто в чем-то подозревает. Наверное, думает, что просто так, без всякой цели, не возьмут из лагеря такую молоденькую и такую хорошенькую. Временами Умида чувствовала, как растет его враждебность. В такие дни он отказывался принимать лекарства и выполнять назначения врача. «Я не болен»,— упорно твердил он и смотрел на Умиду мрачными пронизательными глазами.

Он лежал на кровати, большой и сильный, и грудь его, как гора, выпирала под одеялом. Умида подошла к нему, протягивая градусник. Он молча взял его, и под пальцами хрустнуло хрупкое стекло.

— Мерьте температуру себе, а я здоров,— сказал он.

Он не в первый раз ломал термометр.

— Ну вот,— сказала Умида.— Опять мне уменьшат паек. Нехорошо, вы ведь мой тезка...

Немца звали Умайдер, но тезкой Умида назвала его впервые. Он растерялся.

— Что ты над ней измываешься?— спросил Рослав.— Что она, для своего удовольствия с нами возится?

Немец покорно взял новый градусник, сказал угрюмо:

— Извините.

— Что ж с вами делать? Придется извинить.— Уми-

да перешла к постели француза. Дела этого больного были совсем плохи. Он и от природы не был богатырем, а сейчас высох, как мумия. Он уже перенес четыре операции, но на остатках легких снова появился нарыв: так говорил главный хирург. Когда француз по ночам, обняв колени, вдруг начинает с надрывом кашлять, со стороны кажется, что он сейчас выплюнет свои легкие. Умида отворачивалась, упираясь лбом в холодную стенку, бессильная хоть чем-то ему помочь. У него на шее синели, напрягаясь, жилы, и кровавые брызги покрывали ладонь. Умида не раз думала, что в его состоянии куда легче умереть, чем жить. Но он не умирал и, естественно, не хотел умирать. Он изо всех своих силенок цеплялся за жизнь и с трогательным послушанием выполнял все назначения. Он лежал сейчас на спине, и казался, под одеялом ничего не было, только голова на подушке, голова без тела. С бледного, бескровного лица на Умиду смотрели огромные глаза страдальца. Француз отдыхал в перерыве между двумя приступами удушья, стараясь как можно экономней использовать для дыхания оставшийся кусок левого легкого. Правого у него уже не было.

Сделав все, что полагается делать дежурной сестре, Умида придвинула стул к окну и присела. Что происходит там, в мире? Больница казалась ей золотой клеткой с желтыми шторами, затерянной в этом лесу.

Сильные приступы тоски нападали на нее, когда кто-нибудь умирал. Она обычно предчувствовала их смерть и определяла ее приход с точностью до одного часа. Симптомы смерти были удивительно одинаковы. Там, на родине, больные одной и той же болезнью умирали по-разному. Здесь одинаково.

Умида долго глядела в темный лес и не заметила, как задремала. Ее разбудил на рассвете слабый голос француза. Больной звал ее. Умида подошла. Он знаком попросил присесть на свою койку. Больной был в хорошем настроении, пытался улыбаться, глаза его блестели, точно угасающие угольки. Все было так, как бывало с другими, кроме настроения. Француз заговорил с ней, но Умида не поняла. Простые просьбы больных Умида привыкла понимать на всех языках, но это была не обычная просьба больного — француз пытался что-то ей рассказать. О чем-то спросить. В общем, ему, очевидно,



нужно было с ней поговорить. Она наконец поняла, что он спрашивает, есть ли у нее дети. Умида улыбнулась и отрицательно покачала головой. Француз показал, что у него их трое.

— Жак, Дени, Люлю...

— Люлю,— повторила Умида. Ей очень понравилось имя, такое ласковое.

— Жак... Дени... Люлю...— снова повторил француз, как будто хотел передать молоденькой сестре, как по-своему чудесен каждый из детей, что одним именем он в состоянии вызвать почти физическое ощущение их близости. Повторив несколько раз детские имена, француз прикрыл глаза. Умида поняла, что он умирает.

В это время немец тихо позвал ее:

— Тезка!..

Грустно улыбаясь, Умида подошла к нему.

— Скоро?— спросил немец.

Умида сделала вид, что не поняла.

— Что «скоро»?— спросила она.

— Сестра, вы действительно ничего не знаете? Ни о чем не догадываетесь?

— Не понимаю...

— Француз умирает. Все мы тоже скоро умрем. А я даже не болен...

— Не надо себя тревожить. Скоро обход. Постарайтесь уснуть.

Немец посмотрел на нее мрачно и подозрительно.

— Не знаю, то ли вы притворяетесь, то ли действительно ни о чем не догадываетесь... Разве вы не видите, что я не болен?— он махнул рукой и отвернулся к стене.

«Не болен»,— грустно подумала Умида. Всем, кто здесь лежал, поначалу казалось, что они здоровы. Болезнь легких так коварна... Они догадывались о ней, когда уже были близки к смерти.

Утром увезли француза. Умида, стараясь казаться спокойной, готовила своих больных к обходу врачей.

Когда открылась дверь, первым вошел герр оберст, и тут же палата наполнилась врачами. Главный хирург редко делал обход и всегда неожиданно.

Врачи окружили Рослава. Поляк пытался казаться бодрым. Он ни на что не жаловался, на все вопросы отвечал, что чувствует себя хорошо, как будто этим мож-

но было обмануть не только врачей, но и саму болезнь. Главный хирург долго слушал его, улыбнулся.

— Хорошо, очень хорошо,— сказал оберст.

Рослав засмеялся.

— Спасибо, доктор,— сказал он.

Доктор ткнул пальцем в сторону Умиды, задумался, и все ждали в почтительном молчании. В то время Бергер еще не был лысым и лицо его сохраняло гладкую кожу и молодой румянец. Чуть поскрипывали до блеска начищенные сапоги, под белым халатом угадывался мундир немецкого офицера.

— Подготовьте к операции,— сказал он.— Это последняя. Я думаю, последняя,— сказал он Рославу, лицо которого мгновенно побледнело.

Умида записывала в историю болезни указания врача, и руки ее дрожали: то, что было скрыто от глаз других, увидел доктор — болезнь Рослава прогрессировала, иначе зачем была бы нужна еще одна операция? Только когда Умида записала распоряжение врача, уставленный в нее палец опустился. Главный хирург перешел к кровати Умайдера.

Умида украдкой посмотрела на поляка. Рослав лежал бледный и с каплями пота на лбу. Герр оберст тем временем весело разговаривал с немцем, задавая ему вопросы. Он держал больного за руку — считал пульс.

— Волнуетесь?— спросил он.— Ничего, ничего... Все может обойтись.— Доктор повернулся к Умиде, сказал:— Сливочного! Побольше сливочного масла!

Главный хирург, а за ним врачи вышли из палаты, и в коридоре долго были слышны их удаляющиеся шаги.

Умайдер повернулся на другой бок, но так, что чуть не сломал кровать.

— Тезка, что с вами?— подошла к нему Умида.— Вы можете быть довольны. Кажется, вы правы, и вашу болезнь можно заглушить без хирургического ножа...

— Хватит! Не называйте меня больше тезкой! Слышите! Я вам не тезка. К чертовой матери вашу фальшивую участливость...

— Не кричите на меня!

— Ага! Оскалили зубки? Ладно, несите сливочное масло. Хоть поем вволю...

Когда Умида проходила мимо кровати поляка, Рослав взял ее за руку.

— Не обижайтесь,— сказал он.— В этой больнице происходит что-то странное. Ни мы, ни вы не понимаем что. Но что-то происходит. Понимаете? Что-то происходит...

— Где?

— И тут, и во всем мире...

— Но что? В чем вы подозреваете больницу и врачей?

— Не знаю...

Умида прибирала палату, а Рослав говорил:

— Легкие у меня, наверное, как у быка: сколько их ни кромсают, а все остается, что можно еще кромсать. А оберст мясник, ему лишь бы резать. Слушай, немец, тебя будут кормить маслом, а у меня уже давно оттяпали одно легкое. Теперь принимаются за второе...

Недели через три пришла весна. В открытые окна дохнуло запахом теплой земли и цветущих трав. Стало тихо и радостно, как будто в мире больше не было войны и никто не умирал, ни там, на полях сражений, ни здесь, на больничных койках. Рослав, на удивление всем, начал снова набирать силы после операции. Он весело разговаривал с пчелой, влетевшей в окно:

— Не липни... Ну чего пристала? Там тебе цветы, а тут?.. Мотай отсюда...

Главный хирург был очень доволен своим пациентом и прописал Рославу не только сливочное масло, но и мед в неограниченном количестве. Запах меда и привлек пчелу. Между оберстом и Рославом вроде бы установилась своеобразная дружба. Доктор смотрел на своего пациента, как на человека, которого он создал своими руками. Умида стала верить, что Рослав единственный, кто уйдет из этой палаты на своих собственных ногах.

Как-то утром в палату пришли санитары с носилками и унесли Рослава.

— Сестра!— закричал немец. И когда Умида вошла, спросил:— Куда унесли поляка?..

Умида недоуменно посмотрела на пустую койку. Ей никто ничего не сказал.

— Наверное, на консилиум?— Умида посмотрела на Умайдера.

— Консилиум?— немец приподнялся на койке.— Садитесь,— сказал он.

— Говорите, сидеть мне некогда.

Немец лег и довольно долго молчал.

— Вам, кажется, только двадцать лет?— спросил он.

— Допустим, но какое это имеет значение?

— Я думал, что в вашей стране не умеют служить и вашим и нашим...

— Если вы хотите, чтобы я вас слушала, говорите яснее...

Умида вся похолодела: вот сейчас она наконец узнает, в чем ее подозревает немец, а заодно с его помощью проверит и свои подозрения, которые появились у нее совсем недавно.

— Я вас слушаю,— напомнила Умида.

— Эх вы, медсестра... Кому вы служите?!— В вопросе Умайдера было презрение.

Умида поняла, что больше он ничего не скажет, но если не скажет он, то тем более не следует говорить ей.

Прошло несколько дней. Умайдера назначили на операцию. Койка Рослава продолжала пустовать. Все попытки Умиды узнать, что с ним, наткнулись на стену молчания. Однажды утром Рослава принесли на носилках и уложили на прежнее место. Но это был уже не тот Рослав. Он потерял голос, дышал коротко и часто, был бледен и большую часть дня и ночи лежал с закрытыми глазами. Как-то Умида, вытерев с его лица пот, тихо спросила:

— Узнаете меня, Рослав?

Большой прикрыл глаза в знак того, что узнает.

Он лежал два дня, но так и не мог собраться с силами, чтобы заговорить. В палате, особенно ночью, слышно было его частое, короткое дыхание. На третий день в палату зашел оберст и, когда узнал, что не выполнено его распоряжение и Умайдер не готов к операции, начал кричать. От его обычной сдержанности не осталось и следа. Умида не могла вставить слова в поток брани. Ей же никто не передавал распоряжения главного хирурга... Но он ничего не хотел слушать. Только беспечность самого Умайдера, который лежал к оберсту спиной и ухмылялся, несколько приободрила Умиду. Когда Рослав окликнул ее, вернее, издал губами неопределенный звук, Умида подошла к нему, больше не обращая внимания на главного хирурга. Рослав показывал глазами на окно, и она поняла, что он просит его открыть. Она, чуть приподняв его за липкую от пота

спину, подложила подушку; когда она повернулась, чтобы открыть окно, оберста уже и не было в палате.

В глазах Рослава отразился уголок весеннего леса, видного из окна. Глаза его повлажнели и влажнели все больше, и по лицу покатались слезы. Умида поняла: приближается агония...

Ночью, ближе к рассвету, Рослав позвал ее. Когда она подошла, он показал глазами в ту сторону, где лежал немец, и эти простые движения вновь сбили дыхание. Умайдер не выдержал, закричал:

— Пусть скажет!

— Лежите тихо. Он не в состоянии вас перекричать.

— Он не должен идти на операцию, — по складам прошептал Рослав, но странно, шепот его был слышен во всех уголках палаты.

Умайдер вскочил:

— Слышали? Слышали? Никто не должен делать операции... Он режет здоровые легкие... Понимаете? Здоровые легкие... Для опытов...

Рослав умолк. Другие больные крепко спали.

— Теперь понимаете? — спросил Умайдер.

— Я начинала уже догадываться. Только я не думала, что вы здоровые. Я думала, что эти бесчеловечные опыты он проделывает над теми, кто все равно обречен на смерть...

— Выход один — бежать, — сказал Умайдер.

— Да, да... Бегите, хуже не будет.

— А вы?

— Я буду вам только обузой. Узбечка в Германии... Куда вы со мной денетесь?

— Но вам нельзя оставаться. Вас не будут оперировать, но вы свидетель. А в таком деле не должно быть свидетелей, понимаете?

Они подошли к открытому окну. Умида быстро сняла белый халат.

Той ночью они бежали. На войне случалось самое невероятное. Их побег был одной из редких, почти неправдоподобных удач.

В дверь довольно сильно постучали. Умида не могла понять, то ли она задремала, то ли так сильно задумалась. В полутемной комнате у дверей стояли двое.

— Извините, фрау доктор,— говорила Берта.— Кажется, мы вас напугали? Но мы долго стучали, прежде чем войти. Можно зажечь свет?

Щелкнул выключатель. Умида зажмурилась. Рядом с Бертой она увидела Бергера.

— Он очень просил провести его к вам. Сказал, что он ваш коллега и что вы знакомы.

Горничная хотела выйти, и Умида чуть было не закричала: «Не уходите», но вместо этого попросила:

— Принесите кофе...

Потом Умида внимательно оглядела доктора Бергера. Он стоял со шляпой в руке, кланялся и был совсем не страшен: вежливый, подтянутый мужчина, едва начавший стареть.

— Что вам угодно, герр оберст?— спросила Умида.

— Можно сесть?

— Садитесь.

Бергер сел и положил шляпу на колено.

— Ваша записка с отказом сделать сообщение была прочитана в конце заседания. Делегаты уполномочили меня выяснить, чем вызван ваш отказ...

— Странно. Именно вам, светилу науки, делегаты поручили это пустяковое дело. Почему бы?

— Хорошо. Допустим, я сам напросился. Это ни в коей мере не мешает мне спросить от имени симпозиума: чем вызван ваш отказ выступить?..

— Возможно, что вы меня действительно не узнаете, но догадаться, почему я отказалась выступать с той же трибуны, что и вы, наверное, не трудно... Неужели во время войны у вас было так много медсестер узбечек? Или, может быть, те ваши опыты — незначительный эпизод в вашей практике? Настолько незначительный, что вы просто о нем забыли?

— Я ваш гость здесь, в номере, коллега. А вы гость в этой стране. Не будем этого забывать?..

— Не смейте называть меня коллегой. Я вам не коллега!

— Ну что ж, тогда фрау доктор?

— И не доктор! Нет, и не доктор. Пока науку попирают такие, как вы, я не доктор. Я просто должна быть сильным, бдительным человеком... Чтобы вы не могли прирезать меня в этой комнате. Прирезать, как свидетеля ваших преступлений...

Вошла фрау Берта, принесла кофе. Бергер ждал, пока она выйдет.

— Не расходуите пафос по пустякам. Он пригодится во время вашего сообщения. Ведь у вас, кроме пафоса, вряд ли что-нибудь будет. А я ученый.

— Вы убийца! Я с детства привыкла преклоняться перед наукой и перед теми, кто ей служит...

— Я тоже с детства обрек себя служить науке,— Бергер говорил серьезно, с грустной интонацией усталого человека.— Вы, конечно, думаете, что я рассчитываю вызвать жалость. Нет... Я давно не верю в человеческую жалость. Не верю с тех пор, как, умирая от голода, бродил среди руин родного города, пока не купил врачебную практику...

— Бергер! Я не хочу вас ни слушать, ни говорить с вами... Уходите!

— Я это сделаю. Выскажусь и уйду. Я обращаюсь к элементарной логике. На войне гибли миллионы, просто так, ни для чего. Миллионы убитых с обеих сторон... Те же, кто умер в моей больнице, умер во имя живых, во имя науки...

— Хватит! Не поминайте больше науку. Какое вы имеете к ней отношение? Ганс Браун называл себя поэтом потому, что призывал истреблять народы не лозунгами, а стихами. Те, кто изобрел печи в Освенциме, были инженерами. Но, главное, они и вы были фашистами, убийцами. Фашизм — вот ваша сущность. Но этого вам мало. Вы убийца, но вам хочется слыть гуманистом, вы убийца, а вам хочется выглядеть благодетелем рода человеческого. Вы весь зло, а хотите, чтобы люди верили, что все ваши помыслы направлены на службу добра. Вы стусок фальши...

— Не буду с вами спорить. Вы, как и все у вас там, в России, фанатик. Я не был врагом России. Что бы вы ни говорили, я работал для науки. Мои открытия, мои опыты все равно останутся в науке...

Умида чувствовала, что начинает уставать. Цинизм этого «сверхчеловека» угнетал ее.

— Опять наука! Наука для человека. Вы же убийца,— сказала она.

— Вы примитивны, как амеба... Человек!.. Человек уже давно стал звонким, как пустая бочка, словом, фрау...

Умида уселась поудобней в кресле, как будто поняла, что быстро избавиться от Бергера ей не удастся.

— Человек — бочка! Наконец вы стали говорить ясно...

— Да, опускаться до вашей примитивной логики не имеет смысла. Вы продукт оглубления человеческого интеллекта... Вы исповедуете фикцию, что человека, а вместе с ним и все общество можно очистить от скверны, сделать святыми. Вы полагаете, что боретесь за человека, а оказывается, что человеку нужны не вы, а мы. Потому что главное для человека жить. И ради того, чтобы он жил и был здоров, человек готов согласиться с тем, что сотни других умрут ради этого. Вот, смотрите...— Бергер выхватил из кармана и бросил на стол десяток вечерних газет, и везде были броские заголовки над его фотографией: «Открытие доктора Бергера», «Сколько воздуха нужно человеку?», «Самое маленькое легкое». Среди этого рекламного шума Умида увидела в углу газетного листа информацию в несколько строк: «Советский ученый отказался от своего доклада».

— Вы думаете, что громом рекламы заглушите правду? Многое на себя берете, Бергер! Когда газеты говорят о вашем преступлении, они заглушат гром рекламы.

— Вот этого не будет! Никогда не будет! Вы не поймали меня на месте преступления. Люди, которых я оперировал в моей клинике после войны, живы! Слышите, живы! А те, кто умер, умер на глазах врачей, что зафиксировано в историях болезни. Я вас не знаю... Я полагаю, что вы не ученый и только потому отказались от своего сообщения. Вы просто поняли, что вам нечего сказать...

— Я многое поняла!— Умида встала, подошла к двери и распахнула ее.— Будем считать, что мы объяснились, стороны к согласию не пришли, а теперь вон!

Бергер встал. Он не ожидал столь решительного конца.  
— Вы слышите? Вон!

— Имейте в виду, без доказательств, без свидетелей не советую что-нибудь предпринимать. Говорю это вам, как женщине, которая производила на меня некоторое впечатление... Впрочем, и теперь еще производит...

— Вон!

Бергер надел шляпу на лысую голову. Умида неко-



тоже время смотрела, как он шел по коридору, стройный и сухопарый, постукивая по паркету каблуками туфель..

Без доказательств, без свидетелей! Бергер знал, что говорил. Умида это сразу поняла, как только осталась одна. С чего начать? У нее мог быть только один свидетель: Умайдер. До войны он жил в этом городе. Умида еще до столкновения с Бергером хотела попробовать найти своего товарища по побегу. Но как это сделать? Фамилию она знала, но как его зовут? Фриц Умайдер? Курт Умайдер? Нет. Куртом звали Бергера. А имени Умайдера она не знала. Она только знала, что большой и неуклюжий Умайдер хорошо вышивал. Его вышивкой они и кормились после побега. Умида подсмеивалась тогда над ним: «Такой богатырь, а вышиваете. Разве это мужское дело?» Она так и прозвала его Богатырь. В тот день, когда они прощались, перед тем как расстаться, он говорил ей, помешивая угли в печурке:

— После войны откроем с женой швейную мастерскую...

Они пекли в заброшенном гараже картошку и говорили в последний раз о себе, о своих планах.

Умайдер ненавидел политику и попал на рудник из-за своего сына, дезертировавшего из немецкой армии. Вот и все, что знала Умида о человеке, который мог ей помочь.

«Так. Предположим, я завтра узнаю в финансовой инспекции, которая собирает налоги, о всех Умайдерах, имеющих швейные мастерские. Что дальше?» — думала она. Потом она стала думать о том, чтобы просто собрать пресс-конференцию, поговорить с пацками на сенсацию журналистами. Если даже предположить, что часть их ей поверит и напечатает свои сообщения? На следующий же день живые свидетели Бергера, десятки сотни вылеченных им людей, опровергнут ее обвинения. Нет, надо было найти своих свидетелей. Хотя бы одного своего свидетеля. Надо было либо попробовать найти Умайдера, либо отказаться от разоблачений.

...Никогда ночь не казалась Умиде такой длинной. Умида едва дождалась утра. В кафе на тротуаре, кото-

рое только что открыли, она купила бутерброд и, жуя его на ходу, побежала в адресное бюро. Выяснилось, что нужное ей учреждение называлось не «Центральной финансовой инспекцией», а «Префектурным управлением финансовой инспекции федеральных земель». Умида взяла такси и дала шоферу адрес.

Такси остановилось у старого кирпичного дома. Умида разыскала комнату на пятом этаже. Когда она поднималась по лестнице, за ней шел довольно старый человек с фотоаппаратом на шее. Она не успела разглядеть его лица, только заметила неестественную желтизну кожи. Она не сразу поняла, почему обратила на него внимание, и только мгновение спустя, когда он уже скрылся с глаз, вспомнила, что это же лицо промелькнуло перед нею в кафе.

В налоговой инспекции Умиде дали тридцать три адреса портных, даже не спросив, зачем ей понадобились портные Умайдеры. Из тридцати трех Умайдеров семь были Огюсты, трое Гюнтеры, а остальные Конрады, Густавы, Карлы. Умида решила начать с Огюстов. Надо же было с кого-то начинать.

Первым Умайдером оказался молодой человек лет двадцати пяти. Он жил в глубоком сыром подвале, и здесь же была его мастерская. Отец молодого человека умер.

— Сколько лет было вашему отцу?— спросила Умида.

— Около восьмидесяти двух...

Умида не стала ни о чем больше спрашивать, только заинтересовалась, как пройти к ближайшей станции метро. Второй адрес привел Умиду к зданию современной постройки из стекла и стали. Это была не мастерская, а целая фабрика, хозяин которой, к сожалению, уехал в Мюнхен.

— Он все такой же высокий, ваш хозяин, или уже стал расти вниз?— спросила Умида так, будто речь шла о ее старом знакомом. Все, кто был в приемной, расхохотались. Умида тоже улыбалась.

— Вы ошиблись, мадам! Наш шеф стал последнее время расти вверх. Он уже вырос до пояса вот ему,— молодой человек показал на мужчину среднего роста.

— Не преувеличивай, шеф почти с меня. Не надо разочаровывать эту милую фрау...

Умида не дождалась конца фразы. На улице она остановила такси. Дело пошло быстрее, но и разочаровывающий финал становился все ближе. В одном из пригородных поселков за ними увязался «мерседес».

— Стойте-ка,— сказала Умида.

Такси остановилось, а «мерседес» завернул за угол и тоже остановился.

— Поехали!

Такси тронулось, «мерседес» тут же поехал следом. Он провожал Умиду по всем дорогам, а на глухой окраине с шумом промчался в опасной близости от такси. Шофер такси улыбнулся. Он оказался не из робких.

— Вас пугают, фрау! Не обращайтесь внимания. Сейчас мы от них удерем.— Он неожиданно свернул в один переулок, в другой, третий, потом постоял в каком-то тупичке, а когда снова выехал на улицу, «мерседеса» нигде не было видно. К последнему Огюсту Умида пришла пешком. И этот был не тот. Высокий, с крючковатым носом, он говорил тонким пронзительным голосом и показался Умиде очень злым, да к тому же по-стариковски болтливым. «О боже,— подумала Умида,— он способен уморить разговором и оглушить своим голосом». Когда она выбежала на улицу и была уверена, что уже избавилась от старика, он окликнул ее сверху:

— Один момент, фрау,— сказал старик. Он удобно облокотился на подоконник и, очевидно, поджидал ее появления.— Меня часто путают с верблюдом,— говорил старик.— Нет, не с тем одногорбым верблюдом, который живет у нас в зоопарке. Против того верблюда я ничего не имею. Я имею в виду этого паршивца Умайдера, действительно похожего на верблюда. Ну, скажите, разве он не похож на верблюда, если, конечно, это тот Умайдер, который вам нужен?

Умида засмеялась:

— Похож на верблюда?

— Что значит «похож»? Я утверждаю, что верблюд он, а не тот, в зоопарке.— Старик захихикал.— Он думал, что я без него пропаду, ушел от меня и открыл свою мастерскую. А я, как видите, плевать на него хотел...

— Он тоже Огюст Умайдер?— спросила Умида.

— Густав Умайдер, чтоб ему пусто было. Густав!  
— Густав?— Умида сверилась с полученными в налоговой инспекции адресами: да, Густав! Есть такой в местечке Гельдингфорд.

— К несчастью, есть,— сказал старик.

— Гельдингфорд далеко отсюда?— спросила Умида.

— К несчастью, далеко...

— Но почему «к несчастью»?— спросила Умида и засмеялась.

— Если бы он жил поближе, я бы каждый день заходил к нему, чтобы хорошенько поколотить.

— Спасибо вам,— сказала Умида.

— Зачем он вам, фрау? Упаси вас бог что-нибудь у него шить...

— Я еще не знаю, он ли мне нужен,— ответила Умида.

— А я так совершенно убежден, что не он. На всякий случай передайте верблюду привет...

Умида поняла, что старик будет говорить столько, сколько его будут слушать. С чего это она взяла, будто он злой? Ничего злого в старике не было. Просто есть такие люди, которые напускают на себя бог весть что, лишь бы прикрыть свою слабость и незащищенность. Не дослушав, Умида поторопилась уйти.

В гостинице Берта вместе с кофе принесла ворох визитных карточек. Она перечислила, сколько самых разных людей, от корреспондентов до врачей, хотели повидать Умиду.

— Что вы натворили, фрау доктор, ума не приложу,— смеясь, сказала Берта.

— У меня у самой ум за разум заходит,— призналась Умида и попросила горничную оставить ее одну. Она сказала Берте, что хочет еще поработать. На самом деле она просто хотела спать.

Утром, когда Берта постучала в дверь, Умиды уже не было...

...Улицы были устланы листьями каштана, чуть влажными и желтыми. Там, где листья сметены в кучи, они слегка дымили и пахли прелью. Краски и запахи осени везде одинаковые. А вот сам городок чужой. Старинная немецкая провинция. Казалось, что все силы жителей городка были потрачены на вывески. Над самой невзрачной лавчонкой, над баней и парикмахер-

ской — всюду висели добротные, написанные причудливыми готическими буквами вывески.

Мастерская Густава Умайдера помещалась в длинном одноэтажном доме в глубине двора. Как только Умида открыла дверь под огромной вывеской, в нос ей ударил запах каких-то красок, весь дом был наполнен стрекотом швейных машин.

Умайдера в мастерской не было, и это обрадовало Умиду — не сразу наступит разочарование, если ему суждено наступить. Ее повели куда-то во двор и попросили подождать. И Умида ждала, присев на скамье под каштаном. Она спокойно осматривалась, а потом так же спокойно смотрела на высокого, неуклюжего из-за полноты мужчину, который шел к ней через двор. Умида уже понимала, что это тот Умайдер, которого она искала, но все равно продолжала сидеть.

— Здравствуйте. Мне сказали, что я вам нужен. Слушаю... — сказал мужчина.

— Тезка!

Умайдер смотрел на гостью, и взгляд его становился все напряженней.

— Сестра?! — спросил мужчина. — Сестра! — уверенней повторил он и вдруг обнял Умиду, повторяя: — Сестра, конечно, сестра!

Они оба не очень хорошо помнили эти первые минуты встречи. Подошла полная, рыхлая женщина, как оказалось, жена Густава Гертруда. Она с улыбкой уговаривала мужа и Умиду войти в дом, потому что мастера побросали работу. По тому, как Гертруда отнеслась к гостье, Умида поняла, что Густав рассказал о ней жене и Умиду в доме знают.

— Смотрите, никто не работает. Имей в виду, убытки я отнесу на твой счет, — сказала Гертруда мужу.

Он обнял полные, расплывшиеся плечи жены, сказал Умиде:

— Мастерскую мы открыли на паях. Она у меня полноправный компаньон.

— «Она у меня...» Еще неизвестно, кто у кого, — ответила Гертруда и пошла в кухню, чтобы приготовить что-нибудь для гостей.

Слушая их шутивную перебранку, нетрудно было догадаться, что супруги живут счастливо и в согласии

и что друг ее Густав, как почти все большие и сильные мужчины, подкаблучник.

Умида и Густав уселись на диван. Она рассказала о своих поисках, о том, как ей помог старик.

— Старый дрозд,— сказал Густав и засмеялся.

Умида умолчала о том, как «дрозд» прозвал Густава.

Она сообщила о встрече с герр оберстом.

— Неужели этот палач жив?— спросил Густав.

Умида хотела сказать, что, к сожалению, в этой стране живы многие палачи, но дипломатично промолчала.

— Он не только жив. Он процветает как ученый. Сотни убитых им людей — цена его научных успехов. Курт Бергер — знаменитый ученый!

— Вот это да... Этот хищник? Ученый! Убийца он, вот кто!

— Я так ему и сказала. Но слова на таких не действуют, Густав. Я решила предать его прошлое гласности, и мне нужен для этого свидетель...

— Нет!!!

Это «нет» крикнула Гертруда. Голос ее глухо и сильно прозвучал в комнате. Она стояла, прислонясь к косяку двери, как будто боялась, что не удержится на ногах.

— Нет, нет, нет! Густав не станет ввязываться в это дело,— повторила она тише, но так же решительно.

— Фрау Гертруда, фрау Гертруда, послушайте...

— Нет, говорю, нет! Хватит с нас. Хватит!— Гертруда подняла руку, словно желая отгородиться от Умиды.— Мы только-только выбились из нужды. Нет, нет, никуда его не впутывайте, прошу вас...

Умида растерялась. Она посмотрела на Густава, ища у него поддержки.

— Гертруда,— сказал он, но жена закрыла уши руками.

— Опять?— спросила она.— Ты хочешь снова ввязаться в политику? Смотри, во что обратила меня твоя политика! А я еще не так стара... Где моя молодость? Где?

— Гертруда, я не вмешивался в политику, ты же знаешь! Я просто не мог не спрятать сына... Мальчик рос без матери... Что бы он подумал, если бы я его не спрятал? Ведь он бы решил — это потому, что ты ему не родная мать...

— Так как же ты говоришь, что не вмешивался в политику? Вспомни, каким ты вернулся из лагеря? Забыл? Теперь все политика. Грации, которые мы шьем, политика. Платья — политика. Все политика...

Пока Гертруда говорила, Умида смотрела на Густава.

— ...Тезка, — тихо позвала она.

Густав поднял на нее страдающие глаза и затряс головой. Умида почувствовала, что этот сильный и мужественный человек не в силах противостоять слабости, женской слабости. Умида поняла, что ей надо бороться не с ним, а с его женой.

— Вы мать, — сказала она. — Я понимаю, мать борется за жизнь... Но как мне вам объяснить: бороться только за жизнь и благополучие своей семьи все равно что дезертировать из общих рядов, ослаблять общую борьбу... В конце концов, вы в одиночку не выстоите. Вас сомнут бергеры...

— Все, достаточно, фрау! Мы высказались. Муж не станет ввязываться ни в какие дела...

— Но в этом нет для него никакой опасности... Я прошу его быть на пресс-конференции и подтвердить мои слова, подтвердить известные ему факты...

— И вы считаете, нет опасности? Вы после всего отправитесь к себе, к своим детям, а нам надо жить здесь! Вы представляете, какая жизнь нас здесь ждет? Прежде всего, эти новые наци будут бойкотировать нашу мастерскую. Это в лучшем случае, а в худшем ее просто сожгут...

— Густав! Если не разоблачим его мы, кто же его разоблачит!

— Таких, как он, много, сестра. Всех не разоблачишь. Жена права. Я не могу рисковать делом. Мы только-только стали прилично жить. Снова подняться у меня уже не хватит сил.

Умида встала и пошла к двери. Она не могла сердиться на Умайдера и не могла продолжать этот тяжкий разговор.

— Куда же вы, сестра?! — окликнул ее Густав.

— Простите, что побеспокоила вас. Мне казалось, что мой долг был прийти к вам... Что в разоблачении Бергера вы заинтересованы не меньше меня... Ведь Бергер ваш...

— Останьтесь, сестра...

— Кофе готов, фрау... Неужели люди должны встречаться только для борьбы?... Почему бы нам просто не посидеть вместе за чашкой кофе?— По щекам Гертруды текли слезы.

Оставаться дольше с этими людьми было выше сил Умиды. Последнее, что она запомнила,— умоляющий взгляд Густава. И, как ни странно, этот взгляд внушил ей какую-то надежду. Быть может, он одумается, постыдится остаться в стороне, в то время как она одна, чужая в его стране, будет бороться с Бергером.

— Но мы еще встретимся, сестра?

— Это будет зависеть от вас, Умайдер.

В надежде, что Густав все же придет, она оставила свой адрес в прихожей на столике для шляп.

Положение Умиды было очень трудным. Отступить она не могла и не хотела. Сама мысль о том, что Бергер может торжествовать победу, мгновенно придавала Умиде силы. Она поняла, что не имеет права уехать, не объяснив участникам симпозиума мотивов своего поступка. Но она должна быть готова к тому, что ее свидетельство назовут ложью. Пусть называют как хотят! «Какое мне дело до тех, кто не захочет мне верить. Я-то знаю, что говорю правду. И ни одному человеку не может прийти в голову, что такое можно придумать. Да и зачем? Какая у меня может быть другая цель, кроме желания разоблачить убийцу...»— думала Умида.

В номере отеля на столе Умида увидела конверт. В него был вложен билет на самолет, отправлявшийся в Москву в одиннадцать вечера. Она невольно посмотрела на часы — было десять часов. Если быстро сложить чемодан, можно еще успеть. Умида улыбнулась. Раз ей предлагают улететь, значит, ее боятся. Умида позвонила.

— Кто это принес?— спросила она у горничной, которая дежурила вместо Берты.

— Рассыльный авиакомпании, по вашему заказу, мадам...

— Хорошо. Благодарю вас...

Умида медленно, с удовольствием разорвала билет на мелкие клочки.

Пресс-конференция состоялась на следующий день. Всегда пустой конференц-салон на первом этаже отеля



был переполнен. Корреспонденты, фоторепортеры, публика сидели на допотопных диванах, расположились на антресолях, куда вела деревянная скрипучая лестница. Не хватало мест, и многие устроились на подоконниках и ступеньках лестницы. Отдельно, за длинным столом, сидели ученые — организаторы и руководители конгресса. Наиболее пронырливые журналисты и фотокорреспонденты выбрали места так, чтобы слышно было каждое слово, и еще до начала пресс-конференции они то и дело заносили что-то в блокноты. В свете прожекторов под низкими сводами зала уже плавал густой сигаретный дым.

Когда в зал вошла Умида, разноязыкий говор начал постепенно стихать. Пресс-атташе советского посольства, совсем еще молодой человек, одетый со вкусом и просто, спокойно переждал, пока не стихло пощелкивание фотоаппаратов, затем открыл конференцию.

— Слово для заявления предоставляется советскому ученому доктору Карневой.

— Дамы и господа,— сказала Умида.— После моего отказа выступить с научным сообщением на международном симпозиуме по легочным болезням представители прессы заинтересовались причиной отказа. Считая, что причину моего отказа должна знать широкая общественность, я и осмелилась побеспокоить вас.— Умида стояла одна за длинным полированным столом, в черном жакете поверх пестрого узбекского платья, и говорила по-немецки. Это сразу завоевало ей симпатии публики. Во время паузы она оглядела сидевших в салоне и на антресолях и тех, кто толпился в проходах, не попав в салон. Умайдера не было. «Что ж, буду бороться в одиночку»,— подумала Умида. Она излагала суть своего заявления, все время чувствуя, что слишком явно старается убедить присутствующих. Она понимала, что этого не следует делать. Ее выступление, не укрепленное показаниями свидетелей, тем более должно звучать как объективный голос совести ученого.

Большинство уже прослышало о том, что произошло на симпозиуме, но мало кто знал подробности, и, когда стали проясняться факты, салон загудел. Заскрипели диваны, деревянные ступени. Наиболее нетерпеливые журналисты, оставив открытыми свои магнитофоны, побежали к телетайпам, те, кто успел поднатереть на по-

добных конференциях, сидели, перекинув ногу на ногу, изредка обмениваясь короткими замечаниями или перебрасываясь записочками.

Когда Умида рассказывала о Рославе, сзади кто-то крикнул:

— Позор Германии!

Умида продолжала говорить, больше не думая, какое произведет впечатление на публику. От этого она стала спокойней, и рассказ ее захватывал слушателей своей естественностью. Не все даже заметили, когда она кончила, просто подумали, что Умида сделала паузу, чтобы справиться с воспоминаниями.

Корреспонденты задавали вопросы, предварительно высоко поднимая штандарт с названием газеты, радиои- или телекомпании, иногда название просто громко выкрикивалось. Если вопрос не представлял общего интереса, он тонул в гуле голосов, и тем самым отпадала необходимость на него отвечать.

Один из первых вопросов, который насторожил зал, был задан негромко и внятно:

— Скажите, доктор, вы хоть раз принимали непосредственное участие в операциях Бергера... ну, скажем, в качестве ассистирующей сестры?

Умида ответила на вопрос прежде, чем поняла скрытое в нем коварство.

— Нет,— сказала Умида.— В мои обязанности сестры входили уход за больными, подготовка их к операциям. Я была палатной сестрой и в операционную не допускалась. Потом, не забывайте, я была всего лишь пленной.— Умида обнажила запястье и показала залу номер заключенной концлагеря. Зашелкали фотоаппараты, Умида рукой заслонялась от вспышек, слепящих глаза.

Тот же человек, который задал вопрос, так же негромко и внятно сказал:

— В операциях не участвовали, операций не видели, а берегесь судить об их целесообразности...

Умида хотела ответить, но ее остановил пресс-атташе.

— Не стоит,— сказал он.— Если бы вы принимали участие хоть в одной операции, он бы объявил вас соучастницей... Есть ли еще вопросы, дамы и господа? — громко спросил пресс-атташе.

Второй вопрос показался Умиде проще:

— Где и когда можно ознакомиться с вашим научным сообщением? Войдет ли оно в сборник материалов симпозиума?

— Если туда войдет доклад Бергера, то моего сообщения наверняка там не будет...

— А существует ли оно вообще, ваше сообщение? — Тот, кто задавал эти вопросы, сидел под лестницей, и с ним были еще двое. Довольно молодые, они флегматично жевали резинки и сонно, с наглой бесцеремонностью разглядывали Умиду. Последний вопрос потонул в шуме, и тишина вновь восстановилась, когда пожилой журналист встал со своего места и громко назвал газету, которую он представлял.

— Мадам,— сказал он по-русски.— Вы очень убедительно рассказали о больнице и операциях Бергера... Не могли бы вы назвать кого-нибудь из тех, кого он оперировал и кто остался жив... Или же какого-нибудь другого очевидца?

Умида ждала этого вопроса, самого простого и естественного. Десятки раз наедине с собой она пыталась на него отвечать. Но ни тогда, ни теперь не могла найти точного и ясного ответа, зная, что по крайней мере один свидетель есть, но она его назвать не смеет.

— Я думаю, что такие есть, должны быть... Но я их не знаю... Я чужая в этой стране... У меня свидетелей нет!

Тонкая высокая женщина что-то выкрикнула по-французски. Умиде перевели. Женщина спрашивала:

— Мадам Кариева, допустим, что жертв при операциях Бергера вообще не было... Признали бы вы тогда значение его операций для науки?

— Нет! Я не могу уговорить себя, что не было убитых, не было жертв. Они были. Я видела их собственными глазами. Этими руками давала им лекарства, обмывала их потные, истомленные лица. Я видела здоровых людей, которых искусственно делали больными и умерщвляли... Я врач, мадемуазель, я живу для того, чтобы уберечь людей от преждевременной смерти, а не убивать их...

Зал притих.

— Вы не врач, а искусный агитатор!

Этот выкрик из-под лестницы не нарушил парализующей тишины. Приняв тишину за признак внимания,

один из тех, кто сидел под лестницей, вертя на пальце ключ от машины, сказал:

— Мадам, вы не назвали ни одного свидетеля, не привели ни одного вещественного доказательства против доктора Бергера. Предположим, что мы настолько глупы, что поверим на слово хорошенькой женщине... Но вы ведь не огласили своего научного сообщения. Вы хотите, чтобы мы поверили в ваше сопричастие к науке без всяких на то доказательств? Не слишком ли многого вы от нас требуете, мадам?

Тишина в зале, казалось, стала привычной. Умида чудилось, что она уже видела этого человека, только он был тогда рыжим и казался стариком. Но вспоминать у нее не было времени.

— Лично вам я никаких доказательств не приведу. Во-первых, вы ничего не поймете в моем сообщении, потому что не имеете ничего общего с наукой; во-вторых, история знает, что на таких, как вы, доказательства не производят никакого впечатления. Дело в том, что фашизм сегодня, к сожалению, явление международное, а я нахожусь с ним в состоянии войны...

Кто-то зааплодировал, кто-то закричал:

— Это оскорбление прессы!..

В общем шуме осуждения и защиты пресс-атташе придвинул к себе микрофон, сказал:

— Дамы и господа, благодарим вас за внимание! Надеюсь на объективное освещение этой пресс-конференции...

В номере, после того как ушел пресс-атташе, Умида долго не могла успокоиться. Было душно и жарко. Сначала она сняла с себя жакет, но легче не стало. Что, собственно, случилось? Она высказала все, что хотела. Совесть ее должна была бы успокоиться. А покоя не было. И это потому, что она не смогла убедить в своей правде других. Люди, перед которыми она говорила, оказались глухими к голосу сердца. А может быть, она преувеличивает свою неудачу? Ведь были же те, кто отнесся к ее рассказу с полным доверием. Во всяком случае, сенсационность ее сообщения заставит говорить все газеты, радио, телевидение, а это уже успех...

Умида распахнула окно. Улица пахла дождем. Он собирался целую неделю и все не мог пролиться. Где-то далеко погромыхивало, и в отвесах молний проступа-

ли крыши. А проем окна был черным, как будто его чем-то заставили, таким тяжелым и плотным был воздух предгрозовой ночи. Когда уже не было сил терпеть эту душную темноту, откуда-то из глубины ночи сверкнул белый зигзаг молнии, и тотчас раскололся с громом плотный полог воздуха, казалось, треснул купол неба. Все задрожало. Умида показала, что она на мгновение увидела и почувствовала, как оседавшие в землю красные кирпичные дома заколыхались, точно бумажные. Молния осветила крыши, острые шпили башен, деревья, каждый затрепетавший лист. Потом снова все погрузилось в темень, и наконец с шумом полил теплый, освежающий дождь. Умида, не желая и страшась включить свет, ощупью добралась до постели, но спать ей не хотелось. Она думала о том, что кто-то сейчас пытается решить проблему кибернетической модели мозга, кто-то все дальше и дальше пробирается в глубины материи и все это для человека и во имя человека и делается человеком, его умом. И вот надо же, чтобы в каких-то его извилинах вдруг пробуждались звериные инстинкты миллионолетней давности! Человек проник уже в космос, а где граница между человеческим интеллектом и инстинктом животного, до сих пор точно не установлено. Один епископ сказал: «Инстинкты уже не могут угрожать человеку. Человек давно вышел из звериного состояния. Теперь ему может угрожать только дьявольское». Какая ерунда! Конечно, легко все темное в человеческой душе валить на дьявола. Но где же ответственность самих людей?

В мыслях Умиды перемешались эпохи, понятия. Смешался сон с явью, день с ночью. Когда она открыла глаза, то первое, что увидела, был дневной свет в открытом окне. Дождь прошел. Погода прояснилась. Если бы так же прояснилось и на душе Умиды... В дверь номера стучались.

— Войдите,— сказала Умида. Она заснула, не раздеваясь, и теперь сильно озябла.

— О, фрау доктор! — с порога заговорила Берта. — Смотрите-ка, его убили. Такой был ладный, такой приветливый! — Берта со слезами на глазах положила на постель ворох газет.

Умида взяла газету, которая лежала сверху. Первое, что она увидела, была фотография изможденного чело-

века с глазами, страдальчески смотрящими в объектив. Умида взяла чашку с кофе, и вдруг рука ее стала мелко дрожать. Кофе пролился, и Берта забрала у нее чашку. Под фотографией был напечатан отчет о вчерашней пресс-конференции. Отчет подробно передавал весь ход конференции с репликами, аплодисментами. Но Умида, читая отчет, не могла понять, о ком говорила Берта. Человека, изображенного на снимке, никак нельзя было назвать ладным. А Берта говорила:

— Я совсем расстроилась. Только раз видела его у вас, а не могу примириться с тем, что его уже нет в живых!

— О ком вы говорите?

— О том господине, который был у вас позавчера... Стройный такой, лысый, а на вид совсем еще молодой...

— Так что же с ним случилось?

— Я же говорю, убили его... Вот этот убил,— Берта показала на фотографию.— Вот здесь сказано, прочтите.

Умида ничего не понимала. Она стала читать заметку, которую ей показала Берта.

— Он вот здесь, в этом кресле, сидел. Такой складный, сдержанный... Вам его совсем не жалко?

— Но ведь это был Бергер, доктор Бергер! — почти крикнула Умида.

— Ну да... Я же и говорю... Как мне его жалко...

Умида больше не слушала причитаний Берты. В заметке сообщалось, что около двух часов ночи, «как раз, когда я открыла окно», — подумала Умида, — выстрелом из револьвера был убит в своем рабочем кабинете всемирно известный ученый доктор Бергер... Умида всмотрелась в фотографию убийцы: такие страдающие, почти безумные глаза она видела только в концлагерях.

Умида поспешно пересела в кресло, еще раз внимательно просматривая газету. Все правильно, напрасно она думала, что никто из бывших пациентов Бергера не уцелел. Убийца Бергера был одним из пострадавших. А вот и его рассказ о себе. Умида быстро пробежала глазами газетные столбцы. Ему было девятнадцать лет, когда его, спортсмена и антифашиста, перевели из застенка гестапо в клинику Бергера. Он бежал из клиники во время налета авиации с послеоперационной повязкой и жил шестнадцать лет с одной половиной легкого. Это была не жизнь а медленное угасание. Выжить ему по-

могла ненависть к своему палачу. Вчера по радио, когда он услышал показания Умиды, он понял, что его час настал. «У меня уже был для этого случая припасен пистолет. Я нашел дом своего палача. Что затем было, вы знаете... Я жил ради того, чтобы свершить над ним свое правосудие. Теперь все счеты с жизнью у меня сведены»,— сказал он, придя в полицию. Полиция отказалась взять убийцу под арест, так как по заключению врачей он нуждался в немедленной госпитализации.

Справки, которые Умида навела тут же по телефону, а потом личная встреча с убийцей подтвердили, что этот мститель не жилец. Врач, который разговаривал с Умидой, сказал:

— Он протянет неделю, две, ну, может быть, месяц... Но месяц будет уже чудом!

— Я никак не могла представить его девятнадцатилетним спортсменом, бобо! Ни тогда не могла, ни теперь,— сказала Умида.

— Где он сейчас? Вы ничего о нем не слышали?

— Теперь его уже нет, Азимджан,— ответила Умида.

— Хорошо, что он был... Если бы ты опоздала на месяц, его бы тоже не было... Последнего свидетеля!

— Просто страшно! Бергер знал: расчетливые убийства принесут ему славу, потому что сам результат важен людям. Он совершал свои зверские опыты, потому что знал — они будут хорошо оплачены. Разве это не страшно?

— Страшно! Очень страшно, малыш! — Ачил-бува, потирая онемевшие колени, поднялся. Чай уже остыл. В комнатах было много солнца, непрерывно жужжал шмель, залетевший за занавеску.

— Отец, я часто думаю о том, что человечество становится безнравственным. Человек освобождает величайшие силы природы, способные уничтожить все живое. Но кто же будет контролировать его поступки, если будет утрачена нравственность? На земле неисчислимы запасы атомной энергии, но где взять запасы нравственности?

Ачил-бува, шагая по ковру в ичихах, остановился против Умиды и погладил ее, как ребенка, по голове.

— Доченька моя,— сказал он.— Большая и малень-

кая, умненькая и глупенькая, ты задала вопрос и не знаешь, что сама же на него ответила. Где, спрашиваешь, запасы нравственности? В тебе, в твоих товарищах, в миллионах людей у нас и за рубежом. Сама жизнь будет для человечества неиссякаемым источником нравственности.

Умиджа поцеловала ласкавшую ее руку отца. Азимджан засмеялся. Слова, сказанные бобо, очень хорошо раскрыли характер его удивительной тети и совпадали с тем, что думал о ней он сам. Он представил себе, какую сенсацию вызовет его рассказ об этой незаурядной женщине в кругу его знакомых. Но самое потрясающее все-таки то, что она его тетя!

В самолете их соседом оказался журналист. Когда самолет побежал по бетонной дорожке, он, запыхавшийся, сел в кресло, одарив их сверкающей улыбкой.

— Говорят, что газетчик успеет даже на собственные похороны,— сказал он.— Жалко, никто не засекает время, на последних ста метрах я наверняка установил мировой рекорд... Простите! Вы не Ачил-бува? Угадал? Конечно, отгадал,— заявил он, не дожидаясь ответа.— Редкая память. Три года назад видел вашу фотографию... А кто рядом с вами? Внук? Очень приятно. Не удивляйтесь, что я много говорю. Зато, когда я пишу, то не произношу ни одного слова... Вы тоже в степь? — осведомился он.— Отлично! Будет весело. Юлдаш-ака человек гостеприимный!

Журналист Азимджану нравился. Ачил-бува тоже ничего не имел против его говорливости.

Журналист знал, о чем говорил. Как только погасло табло над дверью, запрещающее курить, их спутник достал сигарету. Из всех карманов его куртки торчали газеты и журналы, которые он молниеносно просматривал и тут же передавал Азимджану, не спрашивая, хочет тот читать или нет. Азимджан с улыбкой складывал их перед собой. Журналист явно не мог быть ни секунды без дела. Он то читал, то говорил. Но чаще совмещал и то и другое.

— Юлдаш-ака в этом году избран депутатом... Наверное, слышали? Ведь он сейчас директор комбината! — говорил он, перелистывая страницы журнала.



Ачил-бува давненько не виделся с племянником и ничего не знал о его новых постах и должностях. Но в том, что племянник в степном крае не последний человек, Ачил-бува был уверен.

— Юлдаш с детства проявлял способности. Очень похож на своего отца,— сказал Ачил-бува.— Отец его Абдулахад был по-настоящему ученым человеком. Он много знал и многому научил нас...

— Бува, я думал, что до революции не только в нашем роду, но и во всей Средней Азии царили невежество, нищета, бесправие. Так по крайней мере я читал во многих книгах. А теперь узнаю, что Алимтай, отец Камилы, был учителем и вот отец Юлдаша тоже учитель, даже ученый.

— У нас еще немало любителей все упрощать,— сказал бува.

— Да, народ был нищ и бесправен, в нем царили невежество и предрассудки, но разве можно забывать и о духовном богатстве народа — создателе эпоса, монументальных макомов.

— Разная бывает нищета,— сказал журналист.— Народ никогда не страдал духовной нищетой...

— Это правда, сынок,— сказал Ачил-бува.

— Где это там? Вы сказали: читал там! — немного запоздало спросил журналист.

— Я приехал из-за границы,— ответил Азимджан.

— Тогда, простите, ваши представления о прошлом нашего народа наивны. Вспомните хотя бы его величество Навои... Посмотрите картину, где Улугбек стоит рядом с Птоломеем. Должен вам сказать, что Беруни читал «Илиаду» на древнегреческом языке. Ал-Фаргани был академиком Багдадской академии. Данте вспоминает его в «Божественной комедии». А Машраб! Чем судьба Машраба на Востоке отличается от судьбы Джордано Бруно? А Ал-Хорезми... — журналист перевел дыхание, а Азимджан, не слышавший ранее и половины этих имен, смотрел на него, раскрыв рот.

Ачил-бува в это время думал о предках, чьи имена вошли в историю: о том, кто ехал послом из Бухары в Москву к Ивану Грозному и утонул в Волге, о том, кто доставил рыбакам Арала первый номер «Правды», и о тех, кто участвовал в Туранской экспедиции Петра I, и о тех, кто умер вместе с Завки в подземелье...

— Ал-Хорезми.. — журналист уже готов был поведать еще об одном великом человеке.

Но Ачил-бува остановил его:

— Вы забрались очень далеко в историю, сынок! Это неплохо, но мне бы хотелось кое-что рассказать вам о более близком времени. Тем более что мой брат Абдулахад тоже уже причислен к истории. К нашей истории.

## РАССКАЗ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Кончался сентябрь. Опустели убранные поля. На лугах возвышались стога сена, почерневшие от дождей. Ветры насквозь продували облетевшие леса, и далеко была видна пламенеющая вершина дуба. Листья, срываясь, кружили в воздухе и опускались на сырую землю. Среди белых берез странно и чуждо проглядывала зеленая хвоя, набухшие от дождей тропинки пахли грибной сыростью. И человек, идущий по тропинке, в черном чапане без рукавов поверх халата, перепоясанного двумя платками, в белой чалме, прояснявшей его лицо с черной бородкой, тоже выглядел странным и чужим среди русских просторов. Он шел, заложив руки за спину, и ноги его мягко ступали по опавшей листве. Он глубоко вдыхал осенние запахи полей и лесов и жадно смотрел по сторонам. Он остановился, чтобы сорвать пламенеющую гроздь рябины, кинул в рот несколько ягод, ощутил на языке горьковатую сладость.

Вдали на тропе показался верховой, и человек свернул в дубовую рощу. В этих местах было очень много тропинок. Они вились между деревьями и болотцами, огибали кусты и вновь встречались друг с другом. Человек шел, не выбирая тропок, и, наверное, поэтому сисва вышел на дорогу, с которой свернул, и тот, кто ехал верхом, оказался уж совсем близко. То ли это был привычный путь лошади, то ли верховой умышленно искал встречи — так или иначе, пеший и конный сближались. Дети, собиравшие в поле колосья, встречные мужики, завидя верхового, низко кланялись и снимали шапки. Когда лошадь, бодро вышагивая вдоль опушки, поравнялась с прохожим, он, чуть посторонившись, сложил

руки на груди и по мусульманскому обычаю согнулся в почтительном поклоне. Лошадь остановилась.

На лошади гэ-молодому прямо сидел старик с широкой бородой и густыми бровями, из-под которых зорко смотрели небольшие глаза. Он проворно слез с седла, не выпуская поводя.

— Здравствуйте. Кто вы?

— Я человек по имени Абдулахад Кари,— сказал чужестранец.

— Вы турок или иранец?

— Я из страны Узбекии, ваше благородие, узбек я...

— Не называйте меня «ваше благородие». Зовите меня Лев Николаевич.

— Я вас знаю, Лев Николаевич!

— Давайте посидим,— Лев Николаевич не стал ждать ответа. Он свернул с тропы. Они вышли на полянку, где среди пожухлой травы торчало несколько пней. Лев Николаевич сел на один из них.

— Как ваше здоровье, Лев Николаевич?

— Хорошо... Все ближе к смерти... Это тоже хорошо...

Абдулахад растерялся от спокойной горечи этих слов.

— У вас хорошая лошадь,— сказал он.

Низкорослая, с длинной гривой кобыла спокойно стояла там, где ее оставил хозяин.

— Делир... В ней есть что-то от человека. Я иногда думаю, уж не заколдованная ли она... Помните «Алифлайла»?

— Конечно, помню.

— Вы так и не сказали мне, кто вы? Как сюда попали?

— Я мулла... Сослан сюда властями.

— Так, так... А вот меня никуда не ссылают. Вокруг меня столько страдальцев, а меня не трогают...

— Зачем вам это? Не надо. Ссылка — это очень тяжело...

— Знаю! На свободе не легче!.. Как вы здесь живете? Где?

— Ничего живу... Здесь хоть и мало, но есть мусульмане: карачан, черкесы... Хожу на обряды, читаю молитвы, коран...

— Ну да, вы ведь мулла.

— Я не столько мулла, сколько учитель... домулла...  
Коран я знаю наизусть, с детства...

— Наверное, знаете и толкования?

— Конечно, знаю...

— За что же вас все-таки сослали? За какие грехи?

— Я был членом Государственной думы, Лев Николаевич, и вместе с другими депутатами написал царю прошение. Мы просили, во-первых, поделить часть байских земель между бедняками, а во-вторых...

— И во-первых достаточно,— перебил Лев Николаевич. Он пальцами расчесывал бороду и улыбался.— Это как раз то, что надо! Забрать землю и отдать ее тем, кто на ней работает... Вы знаете Генри Жоржа?

— Нет, Лев Николаевич!

— Ну и не надо... Требование ваше очень верное.— Его глубоко запавшие глаза блеснули из-под бровей.— Ведь мы с вами единомышленники. Такое требование я также изложил царю в свое время... Ну, а во-вторых?

— Второе — отменить реформу Столыпина.

— Я хорошо знал отца Столыпина... А его самого качал на коленях... Был ребенком, а стал Столыпиным... Вы никогда не задумывались, как из детей вырастают столыпины? Я вам расскажу. Мне передали на днях разговор со стражником в Ясной Поляне. «Что это у тебя висит сбоку, нож, что ли?» — спросили у него, «Да нет же, сабля». — «А что ты ею делаешь? Хлеб режешь?» — «Зачем хлеб?» — «Так, значит, будешь рубить мужика, который тебя кормит?» — «Не капусту же ею рубить...» — «Но ты же сам мужик, не стыдно тебе рубить саблей своего приятеля?» — «Такова моя служба», — сказал стражник. Ему говорят: «Зачем тебе надо было поступать на такую службу?» Он ответил: «Что подделаешь, цена мне шестнадцать целковых, а на этой службе мне платят тридцать два». В два раза больше. Понимаете? Выгодно... Вот так вырастают столыпины. Цена ему грош, а за службу получает в год восемьдесят тысяч...

Лошадь ощипывала траву вокруг пней. Лев Николаевич спросил:

— Как вы зашли в эти места?

— Я живу отсюда недалеко, в Козловой Засеке. Иногда хочется побыть в уединении, вот и брожу. Мне

нравится русская осень... Я унесу ее в своем сердце.  
Скоро покину Россию...

— Вот как? А потом куда?

— Если будет суждено, домой в свои края. К жене, детям. У меня их шестеро...

Тень от облаков с поляны переместилась к лесу, и все повеселело. Делир с хрустом пережевывала траву. И это был единственный отчетливый звук среди невнятных осенних шорохов.

— В молодости я сильно увлекался Востоком. В то время мне хотелось написать роман о декабристах и я много прочитал о походах Петровского на Хиву и Хорезм. Знал восточных поэтов. Напомните кого-нибудь, мулла Абдулахад.

— Прочесть я смогу, но вряд ли сумею перевести хотя бы смысл.

— Ничего. Читайте...

Абдулахад прочел первую пришедшую на память газель.

— Нет, не понял,— огорченно сказал Лев Николаевич.— Что-то уловил, а целиком не понял. В Казани я довольно хорошо освоил тюркский. Языки забываешь. Вы не можете прочесть другое, попроще?

— Я прочту вам из «Мудрости» Яссави<sup>1</sup>.

— Как будет по-вашему мудрость?

— Хикмат...

Мужик, проходивший по дороге с вязанкой хвороста, оторопело остановился: на пеньке, склонив голову, сидел яснополянский граф, а перед ним стоял ссыльный басурманин и, подняв глаза к небу, говорил, как будто жаловался. Мужик перекрестился и заспешил уйти. Абдулахад произносил стихи нараспев, как читают коран:

Если есть в тебе разум, утешь бедноту,  
покровительством не обойди сироту,  
а от сытых и праздных беги со всех ног,  
чтоб корыстный тебя и коснуться не мог.

Я завязнул в земле, и ни шагу вперед,  
но я жажду, чтоб понял меня мой народ.  
Я горел, совершенным не став от огня.  
Я хочу, чтоб, как землю, топтали меня.

Если встречу раба, к нему в рабство пойду  
и под ноги к нему путь-дорогой паду.

<sup>1</sup> Поэт XII века.

Вот чего я, отрекшись от мира, желал.  
Пеплом жара влюбленных я б с радостью стал.

Если деспот тебя уязвит — вечно плачь!  
Умоляй! Он сильнее тебя, твой палач.  
Не щади свою душу и сердце томи —  
за людские грехи деспот правит людьми!

— Как, вы сказали, его имя?

— Яссави...

— Почему я его не знаю? Яссави... Удивительно!  
Кришна, Будда, Лао Цзи, Сократ, Эпиктет, Марк Аврелий, Руссо, Кант, Эмерсон, Чан, а теперь и Яссави... И все говорят одно и то же. Все мудрецы, все религии. Так вот, мулла, нравственная правда и религиозная правда — обе одна правда... Смотрите, не утратьте эту мудрость и не вздумайте заниматься политикой...

— Лев Николаевич, но вы сами, оставаясь мудрым, не чужды политики...

— Вот как? Я этого не знал...

— А ваша статья «Не могу молчать!»?

— Я действительно не мог молчать... Если бы царь был человеком совершенной нравственности, он бы послушал меня и приказал людям любить друг друга и жить в согласии... Мне пора. Жена волнуется, когда я долго задерживаюсь на прогулках.— Он как-то вдруг устал и на глазах постарел. Лев Николаевич поднялся, заложив большие пальцы мужицких рук за кавказский пояс, пошел к лошади...— Кстати,— он остановился и подозвал муллу,— в Туле у профессора Румянцева прекрасная библиотека. Не теряйте времени, поработайте в ней. Ничто не помогает нам лучше, чем книга и одиночество...— Он достал из кармана широкой блузы тетрадь, открыл пузырек с чернилами, висевший на воротнике, и написал записку.

Они простились. Один продолжал свой путь верхом, другой стоял и смотрел вслед. Сколько раз во время своих одиноких прогулок мулла издали видел великого старика и всякий раз спешил уйти с дороги, боясь встречи. Оказывается, нечего бояться. Почему мудрость лишена власти и почему власть лишена мудрости? «Все ближе к смерти... Это тоже хорошо». «Если бы царь был

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи даются в переводе Б. Слуцкого.

человеком совершенной нравственности. » «Я действительно не мог молчать». Всадник и лошадь удалялись. Они выглядели удивительно маленькими среди этих просторов. Жизнь не подчинялась мудрости старика, и он нес с собой свою неразрешимую боль.

В доме профессора Румянцева к изгнаннику из далекой Узбекинии отнеслись очень сердечно. Особенно дочь профессора. Она напоминала мулле Наташу Ростову. Ежедневно на рассвете мулла шел по размытым осенним дорогам в Тулу и поздно вечером возвращался обратно. И как бы рано он ни приходил, его всегда ждал стакан горячего чая, а по вечерам на окне библиотеки горела лампа, и этот огонек светил мулле на его обратном пути.

Мулла читал Толстого запоем, подряд. Он искал причину его боли, думал о прочитанном, вышагивая версты по осенним дорогам. Постепенно он начал угадывать трагедию великой души. Так ему, по крайней мере, казалось. Мудрец не мог уместить свою жизнь в собственной мудрости, не мог научиться смирению, которое проповедовал. Он взрывался, бунтовал и тотчас в отчаянии начинал себя вновь смирять. Он-то себя смирял, а книги, им написанные, продолжали призывать к бунту.

Проходя мимо верстового столба, от которого отходила дорога в Ясную Поляну, мулла всегда сдерживал шаг. Ему очень хотелось еще раз повидать Толстого и поговорить с ним, сказать ему о том, о чем думал, читая его книги. Но всякий раз перед муллой вставало внезапно постаревшее, усталое лицо. «Зачем тревожить? — думал мулла, а тем временем верстовой столб на повороте оставался позади.

И все же один раз Абдулахад решился. Прямая, как струна, липовая аллея привела его в усадьбу. Выпал первый снег, и все вокруг было белым, молодым и радостным. Но радость в душе муллы быстро угасла. Возле коновязи перед домом стояло много саней, запряженных в одиночку и тройками. Лошади с хрустом жевали овес из торб, подвешенных на шеях. На крыльце и на веранде сидели приехавшие. Кое-кто прогуливался по дорожкам парка. Мулла Абдулахад понял, что все они ждут приезда. Люди были самые разные: студенты в зеленых фуражках, купцы в дорогих шубах, крестьяне в зипунах,

люди, похожие на профессоров и артистов. Мимо муллы прошли двое, и хлыщ в лисьей шубе говорил:

— Граф в романе «Понедельник»...

— Не «Понедельник», сударь... «Воскресение».

— А я как сказал? «Понедельник»? Простите, конечно, «Воскресение»... Так вот, в романе «Воскресение»...

Мулла поспешил свернуть в глухую аллею, чтобы не слышать голос хлыща. Он шел и читал на спинках скамеек надписи: «Покончить со смертной казнью», «Слава великому гению!», «Уставшие в борьбе, в этой обители вы отдохнете душой». Некоторые надписи он не мог прочесть, потому что вырезанные буквы запылило снегом. Сидевший на одной из скамеек человек, явно иностранец, говорил полупьяному купцу:

— Я не могу уехать из России, не повидав графа Толстой... Храм Василий Блаженный я уже видел...

— Надо, надо повидать... Это как же, быть в России и не повидать.

Мулла, окончательно теряя присутствие духа, повернул к беседке. Вдоль перил тоже были надписи: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь и преклоняйтесь перед гением этого Человека!», «Гигант-мыслитель, спасибо!» Мулла вышел к веранде. На крыльце какой-то мужичонка в рваной поддевке, косоглазый, с горбом, выпиравшим из-под левой лопатки, говорил:

— Бог мне свидетель! Всю жизнь в чистоте и добре... И все по их милости, то есть по милости графа... Мурашки не обидел, мясо, яиц в рот не беру... Да...

Мулла повернул на центральную аллею, чтобы поскорее уйти. Он слышал, как с веранды дворецкий громко объявил:

— Их сиятельство граф Лев Николаевич принимать не будут-с!

Мулла уже не улавливал слов в общем ропоте возмущения и разочарования визитеров. Он бежал из Ясной Поляны, точно ее осквернили у него на глазах. Все, что он видел, было подтверждением его дум. Муллу вдруг осенило, что и сам Лев Николаевич чувствует свое бессилье и понимает его причины...

Меж тем проходили дни, недели. Приближался конец ссылки. Ударили морозы. Зима легла на землю прочно и надолго. На рассвете, проходя заветный столб, мулла снова свернул в аллею. Что его заставило именно в это



утро зайти в усадьбу, он не знал. Он просто не мог противиться своему желанию.

В мгlistых рассветных сумерках едва белел снег и проступали силуэты лип. Уже перед домом мулла почувствовал: что-то неладно. От веранды к конюшне ходили люди с фонарями, у крыльца стояли розвальни. Тут же толпились набежавшие из деревни встревоженные мужики. Из их разговоров мулла догадался о том, что случилось.

— Ушел! Ушел родимый!..

— Ночью бежал, храни его господь!..

И больше ничего. Никаких объяснений, никаких подробностей.

В доме профессора знали не больше. Все время кто-то приходил, кто-то уходил. Говорили, что граф ушел в монастырь. Кто-то принес весть, что он решил примириться с церковью. Но эту версию тут же отвергли. Позже выяснилось, что Толстой уехал утренним поездом и его, больного, сняли с поезда на станции Астапово...

Мулла вернулся к себе в Засеку. Но в своей комнате, которую он снимал у писаря Матвея, работавшего в управлении чугунолитейного завода, мулла не находил покоя. В полночь, так и не заснув, мулла прибавил огня в лампе, помыл старые чарыги, выстирал и повесил сушить чалму. Он торопился сделать это до пятницы. Полночь прошла, а сна не было. Мулла пролежал до рассвета, вперив взгляд в потолок.

На рассвете мусульмане собрались в комнате глухого башкира, чтобы почитать намаз. Карачаевцы, чеченцы, все двенадцать человек, встали на колени. Мулла раскрыл коран, хотя и знал молитвы наизусть.

Когда читали Суджук, дверь неожиданно раскрылась и в комнату вошел пристав Гвоздев. Он стоял на пороге, выбирая из усов льдинки, потом присел на стул в углу, разглядывая молящихся. Он не прерывал моления, но намаз все равно уже был осквернен, хотя мулла и дочитал до конца все молитвы.

— Вот что, господа,— сказал пристав, когда мулла произнес «аминь». — По приказу министра с сегодняшнего дня запрещается собираться вместе больше трех человек. Расходитесь и учтите на будущее; никаких сходов...

Молящиеся в одних носках стояли в тесной комнате, загораживая окна, и потому было темно.

— Господин пристав, мы собираемся здесь только для молитвы,— сказал Абдулахад.

— Приказ министра не предусматривает никаких исключений. А с вами, мулла, у меня особый разговор.

Когда все вышли, пристав взял его под руку.

— Вы что-то зачастили в город, мулла. Вам осталось до конца ссылки три дня. Не вздумайте искать встреч со своими новыми друзьями. Особенно поостерегитесь ездить на поклон к тому безбожнику и буитовщику, хоть и графу. Поняли? За нарушение продлят ссылку...

Едва мулла переступил порог дома, как его встретил бледный хозяин.

— Преставился раб божий,— сказал Матвей.— Она с косою не разбирает ни малых, ни великих. Преставился граф на станции Астапово,— Матвей всхлипнул, точно задохнулся.

Абдулахад не стал задерживаться. Он лишь захватил деньги. Предупреждение пристава вылетело у него из головы. Через пять минут мулла шагал на железнодорожную станцию.

Уже в вагоне он вдруг совершенно отчетливо осознал: «Это же умер Лев Николаевич... Толстого больше нет, и боли его нет...» Мулла вспомнил: «Все ближе к смерти... Это тоже хорошо...» Значит, он чувствовал приближение смерти, ждал ее, как избавления от своей боли...

В вагоне и на перроне было очень много людей. По скорбным лицам их мулла догадывался о том, куда они едут. Отправление поезда почему-то задерживали, и это заставляло всех волноваться.

— Что же это? Почему не едем?..

— Время не подошло...

— Нет, как же, уже пора...

Кто-то плакал, кто-то горестно вздыхал. Мулла заметил в другом конце вагона переодетых жандармов. Он знал их в лицо, невольно запомнил, часто заходя в жандармское управление, чтобы отметить. Наконец поезд тронулся.

В движении было легче. Теперь уже ничего нельзя было исправить, оставалось просто сидеть. Мулла и не

хотел ничего исправлять. Но не повидать Толстого еще раз, хотя бы мертвым, он просто не мог.

Поезд остановился, не доехав до станции. Пассажиры поврыгали на снег. Мулла невольно отметил, что в природе было только два цвета: белый и черный. На белом снегу чернели фигуры людей. Люди бежали, чтобы успеть первыми попасть к дому. Но пройти к дому все равно оказалось невозможным: людей оттесняли жандармы. Мулла остановился перед широкой спиной. Он не знал, что заставляет его рисковать. Он даже не спрашивал себя, любил ли человека, лежавшего в доме мертвым. Он просто знал, что человек этот велик своей причастностью к человечеству.

На плечо Абдулахата легла тяжелая рука.

— Я вас предупреждал, мулла,— сказал пристав Гвоздев. Абдулахад оглянулся, а по щеке скатилась слеза и льдинкой застыла в бороде.

Самолет приземлился, едва Ачил-бува закончил рассказ. К борту подкатили трап. Азимджан первым спустился на огромное поле. На другом конце точно вросло в землю низкое и длинное здание аэровокзала. Отличные, очень современные взлетные полосы и похожее на барак здание совсем не подходили друг другу. Под новый аэровокзал только открыли котлован.

— Не удивляйтесь, мы новостройка,— сказал журналист.

Он куда-то сбегал и вернулся, запыхавшийся и сияющий.

— Идемте,— сказал он.— Нас ждет машина...

Через десять минут езды по ровному шоссе они въехали в город. Это был удивительный город без окраин. Многоэтажные дома, скверы и парки мелькали за стеклами машины. Улица, по которой ехали, была, очевидно, главной строительной магистралью, потому что по ней то и дело проносились грузовики с длинными платформами.

— Какая же это степь? Это современный город,— сказал Азимджан.

— Вы очень наблюдательны,— журналист захохотал.— Ваше замечание очень хорошо ложится в начало статьи. «Когда мы въехали в Чулабад, между прочим,

чул — это степь, наш спутник-иностранец удивленно воскликнул: «Где же степь? Это современный город!». По-моему, годится, а?

Машина остановилась возле многоэтажного дома. За широкими окнами нижнего этажа переворачивались листы бумаги, здесь печаталась газета, в которой сотрудничал журналист.

— Я приехал. Шофер вас отвезет, Ачил-бува. Тут недалеко, всего квартал. Покажите дом Юлдаша-ака, — сказал журналист шоферу. — Привет, очень рад был с вами познакомиться. И благодарю за внимание...

Юлдаш жил на третьем этаже. В этом же доме был гастроном.

— Очень удобно, — сказал Азимджан.

На лестничной площадке Ачил-бува, разглядев номер квартиры, позвонил. Звонили долго, но никто не открывал.

— Никого нет дома, — сказал Ачил-бува и присел на верхней ступеньке лестницы, поставив сбоку хурджуны.

С верхнего этажа с собачонкой на руках спускался мальчик.

— Вы к дяде Юлдашу? — спросил он. — Ключ под половиком...

Ачил-бува приподнял коврик и взял ключ.

— Надежно спрятан, — сказал он и открыл дверь.

В квартире директора комбината и депутата Верховного Совета было три комнаты. Кабинет, заставленный полками с книгами, и две другие, порядком запущенные: в одной стояли две кровати, во второй — обеденный стол. Зато в ванной оказалась холодная и горячая вода, много разного мыла и даже духи. Ачил-бува с внуком помылись в свое удовольствие, после чего Азимджан побрился и сразу помолодел.

— Бува, у вас так много внуков, детей. Вы не видите их годами. У каждого из них есть дом, квартира, каждый из них любит вас и готов приютить. А вы все время в дороге, все время ищете новых встреч с людьми, как будто вам не хватает родных...

— Хороший человек — уже родной человек, малыш...

— Но в вашем возрасте пора иметь свой дом. А вы живете один-одинешенек в Чинаре.

— Одиноким я никогда не был. Всю жизнь жил не дома, но среди людей. Была некогда семья, большая,

дружная. Дети повзростали, разъехались. Но они остались монми детьми, и одиночества, даже когда я их по долгу не вижу, у меня нет. Когда живешь так долго, как я, малыш, уже не чувствуешь разницы между родственником и просто хорошим человеком.

— Но в вашем возрасте люди ищут покоя... А у вас в стране... я вообще не встретил ни одного человека, который бы жил в свое удовольствие. Даже Умида... Я уже не говорю о других ваших детях и внуках. Неужели можно жить такой напряженной и тревожной жизнью и быть счастливым? Вы сами счастливы, бобо?

— Да, Азимджан. У меня завидная судьба. И у детей моих множество тревог и забот, потому что они не могут жить бездумно, их трогает все, что происходит в жизни. Я такими их вырастил. Такие они мне дороги. И если у кого-то из них не хватает сил для такой жизни, я корю в этом себя. Это я что-то им недодал...

— Удивительный вы человек, бува.— Азимджан смотрел на деда, как будто заново его увидел. Чем больше он его узнавал, тем сильнее к нему привязывался. В этом могучем старике было столько сил, что хватило бы на десяток молодых, и столько мудрости, что ею можно было оделить десятки стариков.

Они разговаривали в кабинете. Хлопнула входная дверь, и квартира сразу наполнилась людьми.

— Это вы, бува? — спросил Юлдаш, заглядывая в кабинет.

Азимджан не знал, сколько лет они не виделись. Но Юлдаш не проявлял никакого удивления, обнаружив в своей квартире дядю.

— Вы всегда умеете обрадовать, Ачил-бува! Там, где вы, всегда счастье.

Мужчины, которые пришли вместе с Юлдашем, и он сам явно торопились. Все были в хороших костюмах, оживленные, говорливые.

— На свадьбу собрались, дети мои? — спросил бува.

— Почти угадали... Сегодня двадцатилетие комбината, значит, все мы женихи...

Те, кто пришел с Юлдашем, по всему видать, были завсегдатаями этого дома. Они обступили буву, бесцеремонно, но дружелюбно разглядывали Азимджана и говорили, говорили...

— Все хорошо, но где моя жена? — спросил Юлдаш.

— Где же Азиза может быть? Возле Рано, конечно,— это ответил мужчина с волосами, тронутыми седью.

— Так, инженер! Ты, как всегда, загадываешь загадки. А что Рано? Где она?

— Она в роддоме...

— Жена в роддоме, а муж молчит,— сказал Юлдаш и посмотрел на человека в светлом костюме.

— Нельзя же общий праздник срывать,— краснея от смущения, сказал тот.

Но Юлдаш уже не слушал, он разговаривал по телефону:

— Дом культуры?.. Передайте директору, что торжественное собрание переносится на завтра... Да, да, говорит директор комбината... Оповестите всех по телефону...

В это время в комнату вошел старик с двумя корзинами, наполненными свертками. Он недоуменно оглядел притихших людей.

— Поставьте корзины, отец,— сказал тот, что был в светлом костюме.

— Разберутся без нас, пошли... Чай на плите...— сказал Юлдаш, выпроваживая друзей.

— Куда вы? — спросил старик.

— В роддом... Нельзя такое дело доверять одним женщинам...

Подталкивая друг друга и посмеиваясь, они вывалились на лестничную площадку. После их ухода стало необыкновенно тихо.

— А-а-а,— старик безнадежно махнул рукой.— Как им только доверяют серьезные дела...

— Как же так? Отменить торжественное собрание! — Бува пожал плечами...

— Вы еще их не знаете. Они друг для друга не только собрание отменят. Дожили до седых волос, а ума совсем нет,— ответил старик. Он вышел на кухню и вернулся с чайником.— Будем чай пить... Подумайте только, один директор комбината, другой главный инженер, третий парторг, а мой — мастер, и все одинаково несерьезные...

— Значит, вы отец...

— Отец, отец. Подвиньте вон ту корзину,— сказал старик Азимджану.— Жены у них ровня мужьям: одна

рожает, все вокруг сидят. Приходится мне хозяйством заниматься.— Старик разлил в пиалы чай, достал из корзины какой-то сверток.

— Просто удивительно,— сказал очень довольный Азимджан.

— Ничего удивительного нет, смолоду такне. С первого дня строительства комбината вместе.

Старик отхлебнул чай, готовясь кое-что рассказать. Не будем торопиться. Его рассказ мы слушаем попозже, а теперь

### ЛЕГЕНДА О ЗАСОХШЕМ САДЕ

При дележе отцовского наследства Салкинбаю достался сад. Это был чудесный сад, удивительно хорошо подобранный, так что каждое дерево помогало расти и плодоносить другому, а все вместе давали большие урожаи яблок, персиков, слив, груш, инжира, винограда, черешен... Своими урожаями сад покрывал все расходы по хозяйству.

Слушайте и знайте. Салкинбай нахвалиться не мог своим садом. Где бы ни появлялся, всем его расхваливал: какая в нем прохлада, какой большой доход, вся благодать рода человеческого в садах и садоводах. Послушаешь его — и станет ясно: пока жив Салкинбай и его сад, человечеству нечего беспокоиться, сады не иссякнут, фруктовые базары не оскудеют.

Люди посмеивались про себя, но спорить с Салкинбаем не спорили. Зачем огорчать человека, если он без сада вроде бы и не человек, а так, тень от человека.

Наступила третья весна счастливого владения садом. Деревья в свое время зазеленели, покрылись цветом. Салкинбай, заложив руки за спину, похаживал по саду, приговаривал:

— Вот это сад! Ну и сад! Чудо, а не сад!

Встретил его батрак, говорит:

— Хозяин, пора провести чеканку винограда, вон сколько побегов появилось, а пользы в них никакой. Только ослабляют лозу.

— Нет, нет... Пусть растут. Чем больше зелени, тем лучше!— ответил Салкинбай.

В пролом забора, который есть во всех заборах между добрыми соседями, заглянул сосед:

— Салкинбай, яблони сплошь обвил вьюнок, надо бы того, очистить.

— Нет, нет,— ответил Салкинбай.— Отдельные деревья для меня ничего не значат. Я люблю свой сад целиком. Пусть он будет зеленым-презеленым.

В конце сада была очень плодovitая груша редкого сорта. Посадил ее старик батрак, когда еще был не очень старым. Напала на грушу гля, и самые урожайные ветки дерева провисли. Батраку очень стало жаль дерева, и он ночью пересадил грушу в открытое поле — пусть растет в одиночестве, авось выздоровеет.

Соседи жалели сад, говорили Салкинбаю:

— Послушай нас, сосед. В саду растут разные деревья, и уход за каждым должен быть разным: персики надо вовремя обрызгать, яблоня не терпит лишних веток, инжир любит солнце, а для алычи нужна вода. У каждого дерева свой каприз...

— Дерево и есть дерево, будь то алыча, инжир или персик, — отвечал Салкинбай с самоуверенностью невежды. — Не говорите мне: деревья, а говорите сад. Из-за одного-двух деревьев я не стану губить красоту сада.

Настала осень. На базары повезли фрукты. Только Салкинбай бродил одиноко по саду и глядел на пустые деревья, удивляясь, что на них нет плодов.

Голодный и озябший Салкинбай вспомнил про грушу, которую слуга посадил в поле. Слушайте и знайте. Груша тоже погибла вдали от большого сада.

Несчастный Салкинбай и высохшая груша стояли и смотрели друг на друга. И тут, говорят, груша обрела дар речи. Но что она сказала Салкинбаю, никто не слышал, а он об этом никому не говорил.

**А теперь**

## ПОВЕСТЬ, РАССКАЗАННАЯ ЗА ПИАЛОЙ ЧАЯ

А ведь это только сверху кажется,  
только сверху видать, что  
снизу масса, а на самом деле  
внизу отдельные люди живут,  
имеют свои наклонности, и один  
умнее другого.

*Андрей Платонов*

Веселые беспечные парни стояли в кузове, поддерживая друг друга. Грузовик, тарахтя и подпрыгивая на ухабах, выкатил за пределы стройки. Позади остались возведенные стены без крыш, дома, с которых еще не убрали строительные леса, дымящие трубы уже пущенного завода. Прохожие провожали глазами грузовик и орущих от избытка сил и веселья парней.



В кузове был секретарь комсомола стройки Юлдаш со своими товарищами. Ехали они на свадьбу в степной колхоз в своих лучших костюмах, накрахмаленных белоснежных рубашках и в выходных башмаках. За рулем сидел Пакана Пак. Коротышка Пак. Шофер кореец, упрямый и несговорчивый. Пока уломали его, потеряли час времени. А ну как свадьба начнется без них?

— Давай, Пак! Жми, Коротышка.

— Гони, Пакана Пак!

Парни орали, наваливались друг на друга. Их обдувало степным ветром, по-весеннему влажным, пахнущим травами, и обочины дороги были синими от васильков. Кто-то поет, кто-то, обернув расческу папиросной бумагой, заливается соловьем. Саиджан, сварщик, обняв за плечи Юлдаша, шепчет:

— Знаешь, что невеста — сестра Азизы?

Еще бы Юлдашу этого не знать, когда он знает об Азизе все!

— Кто ведает, а вдруг я ее сегодня поцелую? Может, разрешит, а?

— Может быть, и разрешит, — отвечает Юлдаш.

— На свадьбе девушки всегда покладистей. Обстановка действует, — делится Саиджан своими надеждами.

Юлдаш промолчал. Не станет же он разрушать надежды друга и портить его радость завистью. Да и как можно завидовать, если девушка любит не тебя, а твоего друга? А Саиджан ни о чем не догадывается, ему невдомек, что его комсомольский вождь тайно влюблен в Азизу.

Пакана Пак, Пак Коротышка, нажимает на газ, и грузовик катит по степной дороге, а парни в кузове поют, веселятся.

Но вот они смолкли. Впереди на обочине стояли две машины: открытая и крытый фургон. А перед машинами трое машут друг на друга руками. И больше всех кипятится, вот-вот ударит, старик. Коротышка Пак резко затормозил, и парни попрыгали на дорогу.

— Что за шум без драки? — крикнул Саиджан.

Двое, готовые сцепиться, даже не оглянулись. А третий только плечами пожал.

— Эге, дело серьезное, — сказал кто-то из парней и на всякий случай встал между стариком и молодым — пусть поостынут, пока разберутся.

— Что, орехи не поделили? — спросил Юлдаш.

Старик opravил воротник, за который норовил ухватиться молодой, посмотрел на парней, точно говоря: «Только вас здесь не хватало».

— Помогите, братцы,— взмолился молодой, прижимая руки к груди.— Уходит ведь, газ уходит, а ему на это наплевать...

— Мне свое дожить охота,— кричал старик.— Вот смотрите, что я тут могу сделать!..

Парни насторожились и сразу услышали, как из земли со свистом вырывается газ. Быстро подбежали. Землю разворотило, и воздух над этим местом переливался, точно морево.

Молодой, он оказался рабочим-обходчиком, тем временем рассказывал:

— Иду, смотрю, течет газ... Вызвал аварийку, прислали... Вот этого прислали,— снова закричал он и потянулся руками к старику.

— Полегче, джигит, полегче,— сказал Саид.

— Отчего это могло произойти?

— От разностенности труб. Заводской брак,— сказал обходчик.

— Газ-то перекрыли? — спросил Саид.

— Перекрыли. Даже компрессором выдавили, а он бежит. И еще долго будет бежать. Расстояние очень большое.

— Хоть это понимаешь,— чуть поспокойней сказал старик.— Как я туда полезу с паяльником? Зачем тебе меня в шашлык превращать — все равно не прожарюсь, жилистый я...

Никто из парней не засмеялся. Саид взглянул на Юлдаша, Юлдаш взглянул на Саида. Сзади кто-то сказал:

— Плохо дело. Пошли, а то опоздаем.

— Вот это правильно. Езжайте себе, куда сжали. Когда вытечет газ, сварим в лучшем виде,— сказал старик, совсем успокоившись.

Парни медленно побрели к машине. Коротышка запустил мотор.

— А как же завод? — спросил Саид.

— Не только наш завод. Еще несколько предприятий внизу останутся,— отозвался Юлдаш.

Парни полезли в кузов. Один Саид медлил.

— Эй! Ты что, не едешь? — крикнул Пак.

Саид подбежал и влез в кузов уже на ходу. От былой лихости парней ничего не осталось. Присели на корточки, прижимаясь спиной к кабине. И тут Саид вскочил, заколотил кулаками в крышу. Пак резко тормознул, так что все друг на друга попадали, выпрыгнул на дорогу, заорал:

— Что там у вас?

— Назад, Коротышка! — закричал Саид.

Пак не спорил. Он даже не стал разворачивать машину. Так и подъехали к месту аварии задом.

Саид открыл дверцу ремонта, позвал старика. Вместе стали выгружать на дорогу кислородные баллоны, аппарат, щиток. Старик только спрашивал:

— Это зачем? Я туда не полезу, парень...

— Раздевайтесь, ребята. Лопаты в машине, — сказал Саид. — Несите из кузова брезент.

— Дуришь, парень. Ой дуришь, — ворчал старик, но беспрекословно дал все нужные инструменты.

— Как вас зовут? — спросил Саид.

— Закир...

— Закир-ака, какую машину пошлем за насосом?

Я думаю послать вашу, быстрее обернется...

— Можно и мою, — неожиданно согласился Закир-ака и крикнул шоферу: — Эй, поехали...

Тем временем парни во главе с Юлдашем уже раскапывали траншею. От газа начала кружиться голова. Но парни продолжали работать, лишь изредка отходя в сторону, чтобы глотнуть свежего воздуха. Саид разделся и с трудом натянул комбинезон старика. Когда труба обнажилась, Юлдаш предупредил:

— Осторожней махайте лопатами. Зацепите трубу, может дать искру. — Он выбрался из траншеи, подошел к Саиду.

— Как-то оно получится?

— Не знаю... Как-нибудь получится, — Саид опробовал горелки.

Тем временем вернулась машина с насосом. Парни, одуревшие от запаха газа, вытирали своими белоснежными рубашками вспотевшие лица. Закир схватил за руку сначала Саида, потом Юлдаша:

— Имейте в виду, весь риск ваш. Я своего согласия не даю...

Когда обернутый мокрым брезентом Саид неуклюже полез в траншею, не выдержал и обходчик:

— Может, и правда не надо? Черт с ним, с газом...

Но Саид уже включил аппарат, из траншеи вырвалось пламя и затрепетало метровым языком. Фиолетово-синее пламя как бы парило над траншеей, как будто стремилось улететь. Подойти близко к траншее никто не решался — от нее веяло жаром. Саида не было видно, и что он делал, никто не знал. Даже не условились, какие подавать сигналы, если он почувствует себя плохо. Вину за такую беспечность Юлдаш чувствовал на себе. Обмотав голову каким-то мешком, он сунулся в траншею, и как раз в это время из нее выползал Саид.

— Сбивай пламя водой! — крикнул Юлдаш и сам побежал к насосу.

Мощная струя показалась слабенькой струйкой, едва влетела в пламя. Ребята помогли Саиду выбраться. Отнесли его на брезенте подальше в степь. При этом кто-то неловко подхватил его под руку.

— Вывернешь, корова! — крикнул Саид.

«Корова» обрадованно засмеялась:

— Жив!

Глотнув воздуха, Саид улегся поудобней, глубокими вдохами и выдохами выгоняя из себя газ.

— Не так страшно, как казалось, — сказал он, встретясь с встревоженным взглядом Юлдаша. — Пламя схватывается не у самой трубы. Отлетает вместе с газом...

Через несколько минут Саид снова полез в траншею. На этот раз его обвязали веревкой и условились, что он немедленно за нее дернет, как только почувствует опасность. Но независимо от того, будет сигнал или нет, решили больше минуты его в траншее не оставлять.

Семь раз Саид спускался в траншею. Уже после пятого раза пламя стало опадать. Когда Саида вытащили, он был похож на комок глины, от которого шел пар. Пришлось струей воды обмыть брезент, прежде чем его удалось развернуть. Саид лежал с закрытыми глазами, тяжело и с хрипом дыша. Брови и усы его обгорели.

— Пусть Закир-ака доварит шов, — сказал Саид и закашлялся.

Закира не пришлось просить дважды. Он только никак не мог найти щиток, пока не догадался заглянуть в траншею.

Ребята сидели притихшие. Обходчик заметил, что Саид заснул, осторожно прикрыл его своим пиджаком. Проспал Саид около часа, а как только проснулся, спросил:

— Траншею не закопали? Молодцы... Нужно проверить шов. И битум с изоляцией сгорели начисто...

— Все будет сделано, джигит,— сказал обходчик.

А Закир-ака добавил:

— Можешь не сомневаться.

После этих заверений ребята залезли в кузов, и Пак Коротышка тронул свой драндулет. Машина неслась по степи. Парни снова стояли в кузове и, хотя не побывали на свадьбе, пели свадебную песню:

Хай-хай, песня, сердце-песня.  
Песен много, ёр, ёр!  
Я тебя целую, песня,  
Недотрога, ёр-ёр...

Машина въехала в улицу. Прохожие останавливались и недоуменно провожали глазами поющих парней, грязных и растерзанных, как если бы они возвращались с побоища. А те, кто знал, что они ездили на свадьбу, спрашивали друг друга:

— Что с ними?

— На свадьбе подрались? Какая свадьба без драки? — отвечали знатоки свадебных обрядов.

А парни пели:

Из-за тебя душа моя  
Горит в огне, ёр-ёр.  
Тебя целую в губы я,  
Ты позволяешь мне, ёр-ёр.

Так закончилась поездка на свадьбу.

— Азизу я так и не поцеловал,— сокрушенно сказал Саид.

Юлдаш вернулся в общежитие. Долго не спал. Строящийся город, корпуса комбината и уже пущенный завод, как островки в степи, были опоясаны огнями. Кое-где в темноте вспыхивали далекие дуги электросварки. На строительстве работы не затихали ни днем, ни ночью. Юлдаш по звукам ориентировался в этой ночной, скрытой от глаз, жизни стройки. Он пришел сюда в числе

первых комсомольцев, когда вокруг лежала выжженная табунная степь. Сначала работал помощником крановщика, а теперь стал бригадиром вагонетчиков.

Несостоявшаяся поездка на свадьбу имела неожиданные последствия. Парни не очень-то скромничали. На комбинате заговорили, что они ликвидировали аварию. А еще через день в областной газете появился репортаж о том, как комсомольцы комбината проявили героизм и обеспечили головным заводам бесперебойную подачу газа. В репортаже было не больше тридцати строк и ни одной фамилии тех, кто проявил героизм. Ребята внешне вроде бы и не придали этому значения, но Юлдаш понял, что такая обезличка их задела. Саид, прочитав репортаж, казалось, беспечно сказал:

— Если мы «весь комсомол», уже неплохо...

Юлдаш быстро отодвинул от себя тарелку с супом (газету получили во время обеденного перерыва) и побежал к председателю завкома, автору репортажа.

Фарманов встретил Юлдаша бодрым возгласом:

— Привет, комсомол!

Фарманов, конечно, знал, как зовут Юлдаша, но такая была у него привычка обобщать. Юлдаш не был склонен считаться с его привычками.

— Мое имя Юлдаш,— сказал он.

После этого Юлдаш сел, не ожидая приглашения, и стал подробнейшим образом рассказывать о происшествии на газовой трассе.

— Слышал, слышал, молодцы, комсомол! Все это мне уже рассказывали,— Фарманов поднялся, как будто собирался поздравить Юлдаша. Было ему за пятьдесят, но из-за своего юношески безбородого лица он выглядел намного моложе. Во все времена года он ходил в гимнастерке с широким командирским ремнем и в сапогах. Говорил коротко и категорично.— Вы продемонстрировали находчивость и спайку, присущие рабочему коллективу. Где действуют скопом, там и зайцу деться некуда. Вы показали себя маленькой частицей большого и слаженного коллектива...

— Это я уже прочел в вашей заметке и потому пришел,— перебил Юлдаш.

— Хож, но вы чем-то недовольны?

— «Недоволен» — не то слово. В «маленькой частичке», как выражастесь, люди! Понимаете, люди... С име-

нами и фамилиями, с характерами... И эти люди, особенно один из них, проявили настоящую смелость...

— Конечно, дорогой. В чем же дело?

— В том, что даже имен этих людей вы не сочли нужным назвать. Вам важны были не они, а то, что они сделали как «частичка большого слаженного коллектива». Вы являетесь одним из руководителей этого коллектива и обнародовать это, поставив свою подпись, не забыли...

— Э-ха-ха, вон в чем дело! По-вашему, надо было за счет коллектива выпятить вашего дружка, как там его звать?.. А может быть, и вас? — Фарманов нагнулся над столом и, склонив набок голову, улыбочиво смотрел на Юлдаша.

— А я пришел к вам в надежде что-то втолковать и, если еще можно, исправить, — с горечью сказал Юлдаш.

— Время выскочек прошло, дорогой! Поскромнее надо быть, поскромнее. Вот так, комсомол!..

Чтобы не наговорить лишнего, Юлдаш выбежал в приемную. Выбежал и остановился. На диване сидел Саид, закрыв руками лицо, точно пряча его от стыда... «Все слышал», — подумал Юлдаш.

— Саид! Зачем ты здесь? — спросил он.

Саид вскочил. В этот момент из кабинета вышел Фарманов.

— А, это и есть тот самый герой? — Фарманов мгновение разглядывал его. — Красивый паренёк, ничего не скажешь!..

Вот и все. И пойми тут, похвалил или обругал человека.

Пожалуй, с того дня в Саиде стало проявляться то, что Фарманов назвал желанием выделиться. С посещения приемной Фарманова, по мнению Юлдаша, и началось перерождение друга. Толчком послужил услышанный разговор, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Юлдаш был против того, чтобы людей стригли под одну гребенку, поэтому он осуждал Фарманова, вместе с тем ему было ясно, что человек не становится другим оттого, что кто-то не оценил должным образом его поступка. Значит, Саид и раньше считал себя особенным, не таким, как другие, просто не представлялось случая этому проявиться. Юлдаш никогда не думал, что его друг идеальный. Замеченные перемены не очень его беспокоили.

ли, пока он не услышал, что Саид увольняется со стройки. Больше всего Юлдаша поразило то, что Саид ничего ему об этом не говорил. Он узнал новость вечером в клубе от Салима — парня прозвали на комбинате паникером за его удивительную способность всего пугаться, поэтому Юлдаш сначала ему не поверил и решил тут же повидать Саида.

Он нашел сварщика лежащим на кровати с папиросой. Сразу было видно, что не с первой: так было накурено, что дым заходил клубами, как только Юлдаш открыл дверь. Однокомнатная квартирка, в которой жил Саид, была неплохо обставлена. На кухне даже был холодильник. Ничего особенного, парень собирался жениться. Но грязь на полу и немытая посуда на столе говорили о том, что Азиза по крайней мере дня два сюда не заглядывала.

Саид как-то нехотя встал, сдвинул на край стола грязные тарелки, достал из холодильника водку, а из буфета рюмки.

— Стоит с допотопных времен,— сказал он,— выходит, кстати.

— Слушай, правда, что ты подал заявление?

— А что, если правда? — Саид, не спрашивая согласия Юлдаша, наполнил рюмки.— Одни приходят, другие уходят... Вольному воля. В каком месте вытянуть ушки на казане, решать тому, кто этот казан отливает.

Юлдаш, не чокнувшись, выпил, словно проглотил глоток воды. Спросил:

— Прикидываешься или на самом деле дурак? Саид, друг, я же знаю тебя! Какая муха тебя укусила? Как ты можешь покинуть друзей, коллектив?

При слове «коллектив» Саида всего передернуло. Он отставил рюмку, так и не выпив, и схватил папиросу.

— Если ты решил, что после твоих слов я побегу брать обратно заявление, ты сам дурак!

— Куда же ты пойдешь?

— Куда глаза глядят. В город пойду.— Саид с отвращением ткнул в пепельницу недокуренную папиросу и при этом обжег палец. Он по-детски поднес его ко рту и облизнул.— Скажешь, за длинным рублем побегу? Что ж, и рубль на улице не валяется... А главное, не буду слышать этого слова: коллектив.— Саид очень похо-



же передразнил Фарманова, так похоже, что Юлдаш улыбнулся.

— Вот ты и высказался,— Юлдаш закурил.— Думаешь в одиночку жить? Так ведь это не выйдет...

— Я это я! Понимаешь? И когда мне говорят, что меня нет...

— Почему это тебя нет?

— А ты, ты есть? Тебя даже по имени не называют. Просто: «Эй, комсомол».

— Ничего не вижу в этом унижительного, тем более что называет так один человек, которого я к тому же не уважаю... И в слове «коллектив» нет ничего плохого. И мы с тобой обязаны коллективу всем, что у нас сегодня есть. У тебя вот эта квартира... Я уже не говорю об уважении, которым ты пользуешься...

— Вспомнил Доску почета? Висели на ней наши фотографии. Потом твоя затекла под стеклом от дождя. Отклеился угол. Я видел, как ты на нее косился. Коситься косился, а поправить не решался. Боялся, подумают: честолюбив комсомол! А потом и моя фотография подмокла и затекла так, что и лица не разобрать...

— Все дело в этом?

— Не все! Это я всего лишь вспомнил...

— Есть и этот промах! Те, кому положено, недоглядели. Но ты, похоже, требуешь к себе особого внимания. Хочешь выделиться?

Саид промолчал. И снова вскипел:

— Говоришь, в коллективе все равны... А почему же лозунг социализма: «От каждого по способностям, каждому по его труду»? Значит, не равны, а?

— Саид, опомнись... Равны и уравниловка — понятия разные...

Но Саид уже ничего не слушал.

— Развелись «демократы!» «Массовый героизм!..» Если массовый, то, по-моему, уже не героизм, а норма поведения... Только где она есть?

— Вон куда тебя занесло!.. А Великая Отечественная война? А послевоенные стройки?

— Ты мне рта не затыкай. Много героев — это еще не массовость. Например, Героев Советского Союза можно пересчитать... Но даже и среди них таких, как Гастелло, не так-то много. Значит, героизм героизму рознь...

— Что ж, не всегда можно все учесть, потому и ставят памятники неизвестному солдату. Неизвестному — это для того, чтобы никого не забыть...

— Неизвестный,— уже забытый или просто никому не ведомый, что в общем одно и то же...

Юлдаш спохватился, что спор потерял конкретность, что Саид спорит ради спора. Но остановить его уже не мог, да и не хотел. Стало даже любопытно послушать до конца, что он скажет, этот парень, которого не один год Юлдаш называл другом. А Саид запальчиво говорил:

— Неизвестный... Безвестный... Не имеющий имени! А может, его и на самом деле не было! Я слышал, есть в Африке какие-то особые муравьи. Когда они ползут, то вся земля на несколько гектаров становится черной. Если впереди попадается яма, то передние в нее кидаются, на них падают задние, и так до тех пор, пока яма не оказывается полной, и по спинам тех, кто упал, остальные переходят на ту сторону... Ну, а если это не яма, а бездонная пропасть? Нет, Юлдаш! Не желаю быть муравьем...

— Так! Высокая мудрость! Сравнить меня, наших друзей с муравьями. Только зачем для таких красочных сравнений путешествовать в Африку? Саранча ведет себя очень похоже. Где ты такого набрался, Саид?

— Как тебе известно, я все время с вами, среди вас...

— Короче, Саид! Подумай, прежде чем уйти... Ты теряешь всех нас.

— Подумал... Рано или поздно вы тоже это поймете.

— Тогда прощай. Тогда нам не о чем разговаривать.

Юлдаш ушел. На столе остались стоять две рюмки: одна пустая, другая полная.

— Я есть я. Я человек, у меня свой особый мир, у меня есть собственные представления о жизни,— сказал Саид в пустой комнате и выплеснул водку за окно.

Возле дома Саида Юлдаш встретил Азизу. Девушка быстро шла по тротуару, опустив голову и никого не замечая.

— Азиза!

Она остановилась, испуганно оглядываясь.

— Это ты, Юлдаш?

— Как видишь. Я от Саида. Он совершает глупость. Надеюсь, ты это понимаешь?

— Неужели только ты один умный, Юлдаш?

Азиза вошла в подъезд. Юлдаш медленно пошел по улице. Он знал: Азиза догадывалась о том, что оставалось тайной для Саида. Девушки всегда догадываются, когда в них кто-то влюблен. Значит, она не поверила в его бескорыстие. Только этого не хватало! Но что он мог сделать? Глупо оправдываться в том, в чем тебя открыто не обвиняют.

Саид уехал. Дни шли, и после отъезда Саида два человека не находили себе покоя: Азиза и Юлдаш.

Строительство комбината не затихало ни на секунду.

Через ворота бетонного завода облепленные цементной пылью въезжали платформы с сырьем и непрерывно выезжали автомашины с прицепами, нагруженными крупными железобетонными конструкциями. Как грибы, вырастали стены новых цехов. Валившие из труб клубы дыма заволакивали небо над степью пепельной пеленой.

В одно из воскресений Юлдаша вдруг вызвал Фарманов.

Юлдаш, направляясь к нему, подумал, что тоже не знает имени этого человека. Фарманов и Фарманов. Так все и называли его на комбинате: товарищ Фарманов. Жил он в молодежном общежитии, в том же корпусе, где и Юлдаш. Но к себе в комнату приходил только ночевать, все дни проводя в кабинете. Есть ли у него семья, никто не знал. Просто не интересовались, настолько он всем был безразличен — ни друзей, ни приятелей... Говорили, что есть у него дочь, но она где-то училась и ни разу не приезжала к отцу. На каждом собрании его куда-то избирали, начиная от ДОСЛАФа и кончая добровольным Обществом по озеленению. Директор комбината поручил ему работу с молодежью. Фарманов и эту дополнительную нагрузку принял безропотно. На комбинате у него была репутация делового человека. Но когда он, засунув пальцы за широкий ремень на старенькой гимнастерке, смотрел на Юлдаша требовательным взглядом из-под круглых очков, Юлдаш забывал, зачем

пришел и что хотел сказать. Ему просто хотелось уйти или по крайней мере молчать.

В кабинете на столе Фарманова лежали всевозможные графики и планы.

— Садись, комсомол,— сказал Фарманов. Он изучал график работы Дома культуры, как полководец карту.— От семи до девяти время ничем не заполнено. Как же так?

Юлдаш смотрел на пустую клетку, заходя то с одной стороны, то с другой, но не мог сообразить, что на это ответить.

— Поставим «лекция»,— сказал Фарманов.— Давай-ка придумывай тему.

— Но в этом месяце уже есть пять лекций...

— Ничего, ничего. Лекцию!

— Я не согласен. Мероприятия ради мероприятий. Зачем нам это? Мы не в состоянии подготовить много интересных лекций. Плохая лекция только отпугивает людей. Лучше оставить это время свободным.

Фарманов, вертя в пальцах большой красный карандаш, обошел вокруг стола.

— Для чего? — спросил он.

— Для того, чтобы люди сами могли выбрать, чем им заняться.

— Безделье — мать всех пороков! Пьянство, хулиганство, безнравственность — все от безделья. Займите, займите молодежь, она же вам потом будет благодарна... Пусть будут в клубе, в коллективе. Не хотите лекцию, давайте танцы. Танцы — это хорошо!.. Если на виду.

— Ладно, поставим танцы,— согласился Юлдаш.

— А теперь о тех, кто пренебрегает нашими мероприятиями. Вот вам список... По неизвестным причинам пропускают клубные занятия. Нельзя этого допускать. Будем принимать к ним меры: вы по своей линии, я по своей. Но сначала возьмите у каждого объяснение... Письменное... Прямо отсюда и отправляйтесь.

— Так вот сразу? Я еще не завтракал...

Реденькие брови Фарманова едва заметно нахмурились. Он с удивлением уставился на Юлдаша, ну точно бы увидел перед собой крылатого верблюда. Речь идет о воспитании молодежного коллектива, а комсомольский вожак заявляет, что голоден.

— Слушайте меня, комсомол!..

Но Юлдаш по глазам уловил ход его сложных мыслей. Пререкаться не имело смысла.

— Ладно, совмещу приятное с полезным. Обойду этих разгильдяев и заодно у кого-нибудь поем,— сказал Юлдаш, взял у Фарманова список и поспешил уйти.

Первым в списке стоял Туляган (он просто тезка того Тулягана из целинного совхоза). Туляган работал такелажником в цехе крупных блоков, а жил на квартире старого мастера своего же цеха. Но все свое время проводил не в комнате, которую снимал, а на чердаке. Чердак этот раньше служил голубятней сыну мастера. Но сын ушел в армию, и чердак полностью перешел в распоряжение Тулягана. Летом он даже здесь спал. А в другое время читал, работал, собирал свои радиоприемники. Дело в том, что еще в ФЗО Туляган стал заядлым радиолюбителем. Родителей у него не было, и воспитал его дядя, известный в Узбекистане художник.

Когда Юлдаш залез к нему на чердак, Туляган обрадовался.

— Сам господь послал ко мне хорошего человека, чтобы отметить хорошее дело,— сказал он и вытащил из-под одеяла болгарский коньяк в плоской бутылке.

— Нет, Толя, я голоден,— сказал Юлдаш.

— В чем дело? И это сообразим.— Он тут же принес лепешку, кусок жареной баранины и кучу яблок.

Уплетая обильную снедь, Юлдаш поведал о цели своего прихода.

— Все ерунда,— ответил Туляган. Он положил перед Юлдашем красную книжечку.

— Что это?

— А ты возьми ее, возьми посмотри. Подержи в руках...

Это было удостоверение, разрешающее Тулягану выход в эфир.

— Понял? Такое не каждому дают. Скажи своему Фарманову. Я семь лет ходил из-за нее в радиоклуб... Пей. Вчера был на соревнованиях?

— На каких соревнованиях?

— Республиканских. Принимали сигналы на ско-

рость. Неплохо справился, сам видишь! — Туляган помахал книжечкой и бережно вложил ее в нагрудный карман. После этого он стал вертеть ручки настройки своего самодельного приемника-передатчика длинными пальцами, загрубевшими от такелажной работы. В приемнике после треска раздались какие-то посвистывания, снова треск и пощелкивания.

— Время, дают... Я еще познакомлюсь с ними со всеми... Они еще узнают мои позывные... Весь мир будет слышен на этом чердаке...

Юлдаш, поев, вытер руки и спустился с чердака, даже не попрощавшись с Туляганом. Прощаться было бесполезно: Туляган все равно ничего не слышал и не воспринимал, кроме треска и свиста приемника, от которого у нормального человека могла разболеться голова.

Из всех, кто был в списке, ближе к Тулягану жил Тиркаш.

Тиркаш на несколько лет был старше Юлдаша и, человек семейный, жил в двухкомнатной квартире, которую получил недавно в новом трехэтажном доме. Работал он помощником мастера на печи по обжигу силикатного кирпича. Был хорошим общественником, пел в хоре, но в последнее время перестал ходить на репетиции.

Юлдаш застал Тиркаша за довольно странным занятием: он стриг двух своих сыновей. Старший сидел на табуретке, а младший держал перед ним зеркало. Как только машинка касалась шеи, старший кричал, что ему щекотно, а младший смеялся, то и дело отводил зеркало. Вокруг табуретки было полно рыжих и белесых волос. Юлдаш сел на диван, ожидая, пока Тиркаш кончит.

Потом, когда дети убежали в другую комнату, Тиркаш присел рядом и закурил.

— Вот так, братишка, уезжают...— сказал он.

Юлдаш заметил, что Тиркаш чем-то не на шутку огорчен.

— Уедут — вернутся,— сказал Юлдаш.— Куда ты их отправляешь?

— Совсем уезжают... целый год прожили вместе, теперь уезжают...

Все, кто знал Тиркаша и Марию Николаевну, завидовали их жизни. Во время обеденного перерыва, когда

рабочие выходили с территории завода, чтобы поесть на чистом воздухе, она с двумя мальчиками уже поджидала у проходной. Один из мальчиков держал под мышкой лепешку, другой стоял с бутылкой молока. Тиркаш, увидя их издали, невольно убыстрял шаг. Все четверо усаживались на берегу арыка, за которым начиналась степь. Мария Николаевна любила смотреть, как муж ест. На комбинате привыкли видеть их вместе. Правда, находились злые женские языки, говорили, что жена на десять лет старше мужа. И никто не знал, что на самом деле их брак был фиктивным.

В 1942 году во время эвакуации города Бердичева Тиркаш, тогда молоденький лейтенант, остановился на постой у вдовы с четырьмя детьми. Он пожалел беспомощную женщину с грудным младенцем. Она стояла на улице, глядя, как уезжали соседи. Немцы были совсем близко. Тиркаш побежал в одну сторону, в другую — ни машины, ни подводы. Он знал, что на станции грузился эшелон с семьями военнослужащих. Заперев в доме детей, он схватил за руку Марию и побежал с ней в загс. Женщина-регистраторша недоуменно посмотрела на них, но брак зарегистрировала и выдала свидетельство. Так они стали «мужем и женой», а через час эшелон ушел и увез неожиданно приобретенную семью Тиркаша.

Год назад Тиркаш совершенно случайно встретил Марию Николаевну и поселился у нее. Самый старший сын ее Коля уехал учиться, дочь Ирина в семнадцать лет вышла замуж, Миша и Витя жили с матерью.

Пока Тиркаш говорил, Юлдаш сидел, закрыв руками лицо. Его охватывал то жар, то холод. Он продолжал так сидеть и после того, как Тиркаш замолчал, боялся, что помешает ему неосторожным движением закончить исповедь. Но Тиркаш молчал, и тогда Юлдаш решился задать вопрос:

— Почему же она уезжает?

— Не знаю... Еще тогда, когда мы регистрировались, она взяла с меня слово, что если встречу девушку, то не буду считаться с нашим браком... Я ей в шутку сказал, что если она встретит мужчину, то я тоже не буду к ней в претензии... Так и жили. А вот в последнее время она все чаще стала говорить: «Когда же ты женишься, женись, ведь я мучаюсь». Я ей и так и сяк — не помогает. Вот собралась. Хочет ехать куда-то к родным. Говорит,

взрослые дети помогут вырастить малышей. Но куда мне без них деваться?

Юлдаш не вынес его взгляда. Воспользовался тем, что дети позвали Тиркаша, и потихоньку ушел.

Проклиная Фарманова, Юлдаш направился к Фархату. Собственно, кроме Фархата ему нужен был и Пулат. Но найти одного — это все равно, что найти другого — друг без друга их встречали крайне редко. Оба работали в котловане на скреперах, оба были боксеры-разрядники, и их называли не иначе как «тандем Фархат — Пулат». На афишах соревнований так и объявлялось: «Пара Фархат — Пулат». Они провели много боев, но так и не определился победитель, и среди комбинатских мальчишек оба пользовались одинаковой популярностью, поровну разделяя симпатии болельщиков. Но спорили Фархат и Пулат не только на ринге: Юлдаш не помнил случая, чтобы видел их не спорящими.

За этим занятием он их и застал.

Пулат сидел на подоконнике, обхватив руками колени. А Фархат ходил из угла в угол, развивая свою точку зрения. На столе и на постели лежали тома медицинской энциклопедии. На появление Юлдаша друзья не обратили никакого внимания.

— Человек от поколения к поколению должен становиться лучше, совершеннее. — Фархат, не прерываясь, на ходу пожал руку Юлдашу. — Человек — существо общественное и не может быть занят самим собой...

Юлдаш попытался спустить их с вершины высокой полемики на землю.

— Где были вчера, почему не пришли на занятия? — спросил он.

— Вчера были здесь, — ответил Пулат, считая свой ответ достаточно исчерпывающим. — ...В том-то и дело, что общественное! И в то же время человек — это индивидуальность. Поэтому каждый должен в совершенстве изучить самого себя. Без этого невозможно познать свою духовную сущность. Мы уже соприкоснулись с иными мирами, а что знаем о себе?

Юлдаш начал злиться.

— А позавчера где были? — спросил он.

— И позавчера были здесь, — ответил Фархат. — ...Я не собираюсь тебя опровергать. Я тебе лишь втолковываю, что современная деятельность человека требует



всесторонних знаний. Всеобъемлющих людей быть не может. Поэтому нужна узкая специализация.

— Но минимум медицинских знаний человек должен приобрести,— проворно вставил Пулат.— И не только для того, чтобы уметь помочь другим. Врачи — это само собой. Но каждый человек должен уметь оказать себе медицинскую помощь.— У Пулата был вид победителя.— Ты говоришь про квазары. Они летают где-то на расстоянии шести миллиардов световых лет от земли, но вот у тебя заболел живот и тебе уже не до квазар, ты бежишь к врачу. Поэтому я утверждаю: работая в любой области, человек прежде всего должен быть медиком...

Фархат был несколько потрясен логикой оппонента. Он даже остановился посредине комнаты.

— Но зачем, скажем, инженеру быть одновременно медиком? — спросил он.

— Потому что здоровье человека — прежде всего, кем бы он ни был — инженером, ученым, рабочим. Минимум медицинских знаний — вот залог здоровья.

Фархата не добил этот выпад. Пулат, как говорят боксеры, лишь сбил ему дыхание. Чтобы выиграть время, Фархат решил привлечь к спору Юлдаша.

— Что скажешь, комсомольский вождь? — спросил он.

— Скажу, что такие диспуты надо устраивать и проводить в клубе под руководством квалифицированных и компетентных людей, тогда вы сможете до чего-нибудь договориться.

Замечание Юлдаша задело обоих. Пулат спрыгнул с подоконника, подошел к столу и выпил стакан кефира (дружки совершенно не употребляли спиртного). Фархат стоял посредине комнаты и задумчиво потирал переносицу. Юлдаш вышел.

Было уже темно, и на улице зажглись фонари. Злясь на себя, а особенно на Фарманова за потерянный день, Юлдаш шел к Азизе. Чем ближе он подходил к дому Азизы, тем медленнее становились его шаги. Что он скажет ей? Будет читать нотацию? Ведь она заподозрит, что он придирается к ней за то, что не ему отдано ее сердце.

Все вышло по-иному. Дверь открыла Азиза, и только Юлдаш перешагнул порог, она прислонилась головой

к его груди и заплакала. Волосы ее чуть растрепались, она стояла босая, в широком, без воротника платье, при собранном на груди. Юлдаш прислонился к косяку двери, чувствуя в чках свинцовую тяжесть.

— Что случ лось, Азиза? — только и спросил он.

Азиза плакала.

— Хороший у вас дружок!.. Хоть бы письмо прислал..

Мать Азизы вышла в коридор.

— Что ты, глупенькая, убиваешься? Радоваться должна, что вовремя его поганая душа раскрылась,— говорила она.

Азиза заплакала сильнее.

Юлдаш неожиданно провел ладонью по горячему и мокрому от слез лицу Азизы.

— Он не только ее обманул, он всех нас обманул,— сказал Юлдаш.

Потом он долго стоял в подъезде дома Азизы. Надо было еще побывать у формовщика Нормата и лаборантки Ольги. Но Юлдаш решил, что к ним не пойдет. Хватит с него. Нормат, страстный коллекционер современной живописи, наверняка сидит дома и любитесь очередным приобретением. Холостяк Нормат все свободные деньги тратил на картины, покупая их на выставках. А Ольга занята своим генералом. Уже год, как за ней ухаживал молодой генерал, летчик. Он приезжал каждое воскресенье из военного городка в ста километрах от комбината.

Фарманов много лет провел на руководящей работе и выработал себе правило проверять исполнение своих указаний.

Утром Юлдаш сидел у него в кабинете.

— Ну как, комсомол? — Фарманов стоял у стола, заложив пальцы за ремень гимнастерки.

— Обошел почти всех,— ответил Юлдаш.

— Почему почти, а не всех?

— Все стало ясно...

— Что ясно?

— Народ не посещал занятия по уважительным причинам.

— Какие же это причины?

— У каждого свои...

— Так, комсомол. Значит, то, чем мы занимаемся, никому не нужно и бесполезно?

— Почему же бесполезно и не нужно? Даже я вчера потерял день не без пользы для себя. Кое в чем еще раз убедился.

— В чем же?

— Во многом, что мы делаем, еще немало формализма. Мы еще не всегда учитываем запросы людей, их интересы.

— Вот как... Предлагаешь идти на поводу у тех, кто пренебрегает коллективом, увлечен какими-то своими личными делами?

— Если бы вы знали, какие это ребята и в чем их интересы, вы бы так не говорили, товарищ Фарманов...

— Тот, кто пренебрегает коллективными мероприятиями, для меня ясен... Каждый из них думает: я особенный, я не похож на других. Нет, комсомол, все мы одинаковы, мы едины, мы коллектив!..

— И они коллектив. Но, если вы заглянете в душу каждого, от этого коллектив станет только крепче.

— Заглядывать в душу каждого у нас с тобой жизни не хватит, комсомол! Иди и подумай над этим... Я надеюсь, что ты скоро поймешь свои заблуждения.

Прошла весна. Солнце беспощадно сушило степь, и бурая земля поползла трещинами. Юлдаш, обеспокоенный судьбой Саида, исподволь узнавал, что с ним, где он. Саид работал в городе то ли в горгазе, то ли в райгазе. Ходил по квартирам, ремонтировал плиты, газопроводы. Жил он, как говорили, сам себе хозяин. Денег не считал, хватало и выпить и закусить. Азиза не могла его забыть, к Юлдашу относилась мягче, но все равно сдержанно.

На комбинате меж тем начал работать керамзитовый цех. Надо было ускорить прокладку дороги для подвоза сырья. Решили создать из молодежи дорожные бригады. Юлдаш возглавил одну из таких бригад, и в нее, конечно, вошли его ближайшие друзья: Туляган, Тиркаш, «тандем» Пулат и Фархат, Салим, Нормат, Зариф. Когда готовились к отъезду, узнали, что руководителем дорожных работ назначен Фарманов.

— Коллективы готовы, комсомол? — спросил он К.

не глядя, положил в папку списки добровольческих молодежных бригад.

Через два дня был назначен выезд. В заботах по организации бригад Юлдаш как-то выпустил из виду Азизу. Перед отъездом пошел к ней.

Юлдаш нажал кнопку звонка и ждал, пока откроют, привалясь плечом к стене. Дверь открыла мать Азизы, заплакала.

— Уехала,— сказала она.— К нему уехала...

— Он прислал письмо?

— Ничего не прислал. Собралась и уехала.

Юлдаш понял, что сейчас из него плохой утешитель. Его состояние угадала мать Азизы и, когда Юлдаш уже спускался вниз по лестнице, сказала:

— Где же вы раньше были, сынок?!

В общежитии Юлдаш повалился на койку...

В это время Азиза стучала в калитку. Никто не открывал. На калитке была надпись: «Во дворе злая собака». Поэтому Азиза не решалась войти. Постучав, она отходила на несколько шагов и ждала. Рядом был небольшой базар. Прямо на пыльной улице стояли ведра с фруктами, кувшины с кислым молоком, на дощечках лежали лепешки. Постучав еще раз, Азиза отошла подальше. Она с самого утра бродила по городу, разыскивая этот дом, и сейчас едва стояла, перекладывая из руки в руку тяжелую сумку. Солнце беспощадно жгло голову. Когда она уже собиралась совсем уйти, калитка неожиданно открылась. Средних лет симпатичная женщина, высунув голову, посмотрела по сторонам и уже хотела закрыть калитку.

— Подождите, секундочку подождите,— Азиза подбежала, запыхавшись.— Скажите, здесь живет Саид?

— Здесь, милая, но его сейчас нет. А вы кем ему будете?

— Я... Я родственница. Я сестра.

— Вот как? А мы с ним договорились, что никаких сестричек он сюда водить не будет.— Глаза женщины масляно заблестели.

— А разве такие условия бывают? — спросила Азиза.

— А как же без таких условий? Молодому да холостому квартиранту только дай волю. Как же, милая, не

Ставить условий? Сегодня вот вы пришли, завтра другая сестренка пожалует.

Азиза боялась расплакаться.

— Я должна его видеть, понимаете, должна! — сказала она.

— Ну если должны, то входите, — сказала женщина. Азиза медлила.

— Входите, входите, — говорила женщина, готовясь закрыть калитку, и пропустила Азизу во двор.

Женщина пошла впереди Азизы по вымощенной кирпичом дорожке.

— Собаки нет, не бойтесь. Это так, для остратки написано. Живем около базара. То приходят попить, то пустые ведра оставить — совсем покоя нет.

Двор был небольшой, окруженный дувалом, кое-где осыпавшимся. Между двумя старыми яблонями разбиты грядки клубники, а перед верандой несколько кустов роз. В самом доме было три комнаты — каждая с отдельным выходом на веранду. Хозяйка, поскрипывая лакированными туфлями без каблуков, входила то в одну комнату, то в другую, то в третью. Входила, выходила, снова входила. Азиза все это время оставалась на веранде.

— Какие у вас красивые серьги, — сказала Азиза. — Они вам очень к лицу и молодят вас.

— А зачем меня молодить? — женщина засмеялась. — Я и так не старая. Зовут меня Малохат.

— Вы одинокая, Малохат-апа?

— Не была бы одинокой, разве впустила бы в дом столько жильцов? — спросила она. — Думаете, мало забот с ними? В комнатах прибереи, чаем напои... Вот вы, голубка, похвалили мои серьги, а ношу я их без всякого удовольствия — не для кого. Все время отнимают эти проклятые...

— А этих «проклятых» много?

— За каждой дверью по одному. Еще ничего, когда живут одинокие. Это даже весело. А когда попадают семейные, так хоть из собственного дома беги.

— А где вы сами живете? — спросила Азиза.

— Вон в той пристроечке. — Малохат неожиданно заплакала. — В той пристроечке и проходят мои последние годочки.

Слезы хозяйки не тронули Азизу.

— А где комната Саида? — настороженно спросила она.

Малохат кивнула на дверь. Слезы ее так же быстро высохли, как и появились.

— Можно посмотреть? — Азиза прошла в комнату, не дожидаясь ответа. Прежде всего ей бросился в глаза большой ковер на стене. Сложенный вдвое китайский ковер лежал на полу. Вся комната просто утопала в коврах. Кроме ковров, был шкаф с зеркалом, фарфоровые вазы на полированном серванте. В изголовье софы стоял радиоприемник. Азиза в жизни не видала такой роскоши.

— Как красиво, — невольно сказала она.

— По заработкам и убранству, — ответила Малохат.

— Все это Саида?

— Не мое же. У меня такого сроду не бывало.

Азиза осторожно присела в мягкое кресло. Малохат ходила по комнате и то рукой, то подолом вытирала и без того ослепительно сверкавшую мебель.

— Никогда не думала, что у Саида такая большая зарплата, — сказала Азиза.

Малохат посмотрела на нее, как будто только сейчас увидела.

— Кто же сейчас живет на зарплату, голубка?

— Где же он берет деньги?

— О, какая вы наивная! Сколько в городе плит и конфорок. Одному включи, другому замени. Третьему поставь плиту без разрешения. Поставить плиту не так-то просто. Есть очередь, нужны разрешения...

Азиза почувствовала, как у нее холодеет лицо. Малохат оборвала болтовню, спросила:

— Вы, собственно, кем Саиду приходитесь? Ведь я, дура, действительно поверила, что вы сестра... Такая наивненькая не полезет к мужчине без приглашения...

Азиза тоже посмотрела на Малохат другими глазами. Теперь женщина не казалась ей красивой. Просто молодящаяся баба с золотыми кольцами на руках и с дорогими серьгами в ушах. Все эти украшения показались Азизе безвкусницей, а сама Малохат смешной и жалкой в попытках казаться моложе своих лет.

Когда пришел Саид, они сидели настороженные, не глядя друг на друга. Он поставил у порога чемоданчик

с инструментом и зло посмотрел на Малохат. Та немеленно вышла из комнаты. Саид пополнел, с лица его сошел степной загар. Как только Малохат вышла, он схватил Азизу за руку, сказал:

— Сегодня собирался тебе писать.

— Долго собирался.

— Говоришь, как будто упрекаешь. А мне перед тобой не в чем оправдываться. Я действительно рад, что ты приехала.

Он нагнулся и поцеловал Азизу.

— Устала с дороги? Хочешь помыться?— спросил он и снял с себя рабочую куртку, не стесняясь Азизы.

Азиза вышла с ним во двор к умывальнику. Помыла руки, сполоснула лицо. Потом умывался Саид.

В комнате он надел белоснежную сорочку. В черных волосах, зачесанных назад, поблескивали водяные капли. Включив электрический кофейник, Саид вышел и вскоре вернулся с подносом, на котором лежали лепешки и сладости.

— Будем пить кофе,— сказал он.— Если бы ты знала, до чего я рад тебя видеть.

Азиза помалкивала. Пила кофе с лепешкой.

Зазвонил телефон. Саид поговорил, положив трубку, сказал:

— Нашли!.. Отбою от них нет,— и, довольный, засмеялся.

За это время, что пили кофе, телефон звонил несколько раз. Саид начал злиться.

— Ума не приложу, как они меня находят?

— Кто — они? Товарищи по работе?

— Какие товарищи... Клиенты. У нас на работе всего тринадцать человек. В дела друг друга не вмешиваемся.

— Дружный коллектив,— насмешливо сказала Азиза.

Саид засмеялся.

— Коллектив...— повторил он.— Кстати, как там Юлдаш? Все носится со своим коллективом?

— Представьте себе, да! А вы, похоже, достигли того, чего хотели. Свободны, самостоятельны, известны всему городу.— Азиза исподлобья смотрела на него.

Саид улыбнулся. Его не трогала насмешливая горечь слов Азизы.

— Быстренько вы со всем управились,— говорила она.— Обжились, обставились. Как говорится, прибра- рахлились.

— Ерунда. В этой комнате мой только приемник.

— А остальное?

— Остальное принадлежит хозяйке, и за пользова- ние мебелью она берет с меня деньги.

Азиза растерялась, не зная, кому верить.

— Откуда же это у нее? Ведь она нигде не рабо- тает?

— Она ловкая женщина,— сказал Саид, явно одоб- ряя хозяйку.

— Вы гибнете, Саид. Неужели не понимаете, гиб- нете! Вам надо бежать отсюда. Вернуться к нам. Не- ужели вы забыли нашу стройку, своих друзей? А вечера в клубе? Наш парк? Парк ведь мы посадили своими ру- ками, и в нем уже есть тень... Саид, вы же бросились в огонь, потому что все это вам было дорого... Неужели все забыто?— Азиза смотрела на него, и он не выдер- жал ее взгляда.

— Я ничего не забыл,— холодно сказал он.

— Нет, забыли, если могли променять на это...

— Я думал, вы пришли ко мне. К такому, как я есть. А вы, оказывается, явились в роли агитатора...

— Да, Саид. Я пришла к вам. К такому, как я вас знала. Но за те два часа, что я здесь, я повзрослела. У меня открылись глаза... Вы думаете, что стали ис- ключительной личностью? Нет, Саид. Не стали. Я верю, хочу верить, вы придете к нам.

— Что же, попробуйте уговорить. Обработайте мое сознание.

— Попробуем... Понимаю, что это очень трудно. Но, может быть, не безнадежно... Будем тащить вас за уши... Все хорошее, что в вас было, я надеюсь, осталось. Мы еще обязательно встретимся, Саид. Мы придем к вам с Юлдашем, со всеми вашими друзьями и тогда пого- ворим.— Азиза подхватила сумку и выбежала из ком- наты.

Азиза была уже на улице. Прислонилась лбом к же- лезной полоске с нарисованной на ней головой собаки. Из-за высокого забора она слышала зов Саида, но и слышала слова хозяйки, запиравшей калитку.

— Она ушла,— сказала Малохат.



И Азиза действительно ушла. Она побежала по улице мимо опустевшего базара и, глотая слезы, твердила:  
— Мы еще вернемся. Мы вернемся с Юлдашем.

В двухстах тридцати километрах от комбината строительные бригады разбили лагерь. Место это называлось почему-то Давтепа<sup>1</sup>, хотя караванные тропы здесь никогда не проходили. Тот, кто дал это имя, наверно, догадывался, что когда-нибудь по дикому взгорью проложат дорогу к пустынным берегам реки с нагроможденными на них плоскими скалами. Ни деревца, ни человеческого жилья не было вокруг на десятки верст. Добирались на баржах. Плыли пятнадцать суток. Природа как будто специально соорудила здесь причал, и баржи вплотную подходили к плоской, вытянутой вдоль берега скале. Когда с гор от силикатных разработок спустится дорога, перевозка сырья будет обходиться комбинату очень дешево.

Дикий пустынный берег ожил. Возле двух шалашей, оставленных проектировщиками, поставили полевые вагончики под общежития, построили деревянные бараки с брезентовыми крышами. В них разместилась столовая и склады. Запустили движок, и по вечерам берег светился приветливыми огнями. В бараке, где была столовая, отгородили уголок для канцелярии: Фарманов жить не мог без канцелярии. Но сидеть за грубо сколоченным столом не оставалось времени: дозваться сюда никого не дозовешься — все заняты разгрузочными работами, по телефону разговаривать нельзя по причине отсутствия телефона, и поэтому ему волей-неволей приходилось всегда быть на людях. Среди шуток, смеха, криков, а нередко и крепкого словца — на работе всякое случается — Фарманов как-то терялся, а молодежь к нему привыкла, и порой просто забывалось, что он здесь начальник.

— Папаша, подойди сюда... Возьми железку с того конца...

И Фарманов подходил и помогал перетащить тяжелую станину.

Дни были горячими. Спешили до осенней распутицы

<sup>1</sup> Караванная тропа.

перегрузить все необходимое оборудование и стройматериалы. Баржи подходили почти каждый день. Нередко в ожидании барж разгрузочные бригады спали прямо на берегу. К чести Фарманова, он проводил ночь вместе со всеми. Но от внешних перемен до изменения характера еще очень далеко. Юлдаш в этом вскоре убедился. В тот день, когда разгружали взрывную технику и взрывчатку, лил дождь. Фарманов нервничал, торопил перенести груз под крышу. И вдруг вместо ящика с толом увидел на плече парня связку книг. Парень бегом спешил укрыть их от дождя в жилом вагончике.

— Стой! Вернись! — закричал ему вслед Фарманов. Он промок в своей гимнастерке и дрожал на ветру.

— Сейчас вернусь, только книги отнесу, — крикнул парень.

— Стой! Имя, фамилия?!

— Пулат, с вашего разрешения.

И вот в этот момент в Фарманове пробудился Фарманов. Он догнал парня (и откуда у него такая прыть взялась), рванул с его плеча связку, и книги, рассыпавшись, упали в грязь. А дождь лил, и грузчики, покрикивая: «Дорогу, дорогу!» — пробежали мимо с ящиками и бумажными мешками на спинах. Пулат, чуть не плача, скользя по камням, собирал намокшие книги.

Утром до начала работ Фарманов потребовал вызвать Пулата в канцелярию.

— Может быть, не стоит? — спросил Юлдаш, не изъявляя никакого желания выполнить распоряжение Фарманова.

Они разговаривали в канцелярии, и через дощатую стену слышны были голоса завтракающих рабочих.

— Что значит не стоит? Попустительством заниматься?

— Понимаете, такой это парень Пулат. Не может жить без книг.

— Книги, комсомол, я тоже люблю. Я многое чего люблю. Но если каждый свое «люблю» будет ставить выше государственных интересов, это конец коллективу.

Юлдаш даже поморщился при слове «коллектив». В устах Фарманова оно как-то теряло свой смысл и приобретало какой-то другой. А Фарманов стоял в своей старенькой гимнастерке, не просохшей от дождя, и ничего не вызывал в Юлдаше, кроме жалости и раздраже-

ния. У Юлдаша болело горло, — наверное, простыл вчера. Спорить ему не хотелось, но он решил, что как раз время поговорить с Фармановым решительно и открыто.

— Вы с большим уважением относитесь к коллективу, товарищ Фарманов. Так вот, поручите нам, коллективу, Пулата. Мы сами займемся его воспитанием...

— Ерунду говорите. Руководитель коллектива я!

— Вы сами говорите ерунду, — ответил Юлдаш.

В глазах Фарманова что-то дрогнуло. Кажется, впервые в своей жизни он не знал, как себя вести. Юлдаш воспользовался его растерянностью.

— Когда коллектив начинает единолично воспитывать такой руководитель, как вы, ничего хорошего ждать не приходится... Вспомните Саида!..

— Вы и того честолобца, индивидуалиста берете под защиту? — спросил Фарманов. — Ну, знаете, комсомол!

— Не называйте меня «комсомолом». Я уже вам говорил: меня зовут Юлдаш. В данном случае я защищаю не Саида. Коллектив. По существу, что Саид, что вы — одно и то же явление. И он и вы плюете на коллектив. Вы никого из нас не знаете и знать не хотите. Мы для вас толпа. Саид хоть честно в этом признался, а вы строите из себя демократа. Хотя всего-навсего бюрократ. Если вы этого не понимаете, мы поможем вам понять. А если ваши поступки сознательны, мы заставим вас по-настоящему уважать коллектив, — Юлдаш вышел, хлопнув дощатой дверью.

Фарманов остался стоять, как стоял. Он никогда до этого не чувствовал себя таким бессильным. И ничего привычного не было под рукой. Не было даже телефона, чтобы позвонить в партком и посоветоваться, что делать. И мысли в голове были непривычные. Всю свою жизнь он отдал работе. И вот в последние годы что-то не клеилось. Почему? Почему? Когда руководитель задает себе вопрос «почему?» — это уже хорошо. Значит, рано или поздно он найдет ответ, хотя часто трудно избежать ловушек, в которые попадает такой руководитель из-за своего характера, в силу укоренившихся привычек...

А работа шла своим чередом. Только между Юлдашем, а значит, и молодежными бригадами, с одной стороны, и Фармановым — с другой, не налаживались деловые контакты. Это мешало в личном общении, но зато

Фарманов больше не срывался. Фарманов не мог пожаловаться на молодежь, но горечь от того, как люди к нему относились, нарастала. Комсомольцы не замечали его, что есть Фарманов, что его нет, им было безразлично. При этом внешне никто не покушался на его авторитет. А Фарманову казалось, что в каждом их действии скрыто желание его унижить.

Предстояло взорвать скалы на пути к разработкам. Фарманов мало смыслил в подрывных работах, но считал долгом начальника постоянно проводить совещания и инструктажи, которые только отрывали от дела. На одно такое совещание не явились Туляган и еще два подрывника — они остались бурить шурфы. Такого случая Фарманов давно ждал.

После работы Фарманов пришел в вагон-общежитие. В вагоне было темно и, похоже, пусто. Но чей-то странный голос настойчиво и повелительно потребовал:

— Почему вошли без разрешения, вон!.. Почему вошли без разрешения, вон!

У Фарманова вздыбились на голове редкие волосы. Он не знал, что это хитрое устройство дело рук Тулягана. И соорудили его, чтобы обезопасить свое жилище от парней из соседних бригад. Были такие любители забрести в чужой вагон в отсутствие хозяев. Фарманов ступил в глубь вагона, озираясь.

— Почему вошли без разрешения, вон!

Фарманов чиркал спички, заглядывал в углы, искал, откуда исходит этот механический голос. Наконец обнаружил магнитофон и с остервенением нажал на клавишу. В это мгновение что-то ударило его по затылку. Он отскочил, прижимая рукой ушибленное место, и только после этого догадался включить свет. Под потолком над магнитофоном раскачивалась довольно увесистая дубинка. Он схватил ее, пытаясь сорвать, и тут же на него посыпался песок.

— Хулиганы! — кричал Фарманов и срывал какие-то провода, крушил ящик с аппаратурой. В голове мелькнула мысль, что сейчас могут вернуться рабочие и застать его обсыпанным песком, с вспухшей на затылке шишкой. Он выбежал на крыльцо. С другого конца вагона, где была кухня, вышла повариха, привлеченная шумом. Она стояла и испуганно смотрела на Фарманова.

— Хулиганы! — опять крикнул Фарманов и побежал в темноту.

О том, что произошло, повариха рассказала ребятам, когда те пришли. Вдоволь нахохотавшись, они вдруг притихли.

— Нехорошо получилось, — сказал Туляган.

— А кто знал?! Он никогда не ходил по вагонам.

— Все равно, пошли извиняться!

Кто-то сказал:

— Перед кем извиняться? Ты посмотри, что он наделал.

Туляган прошел в глубь вагона. Молча постоял над разбитой аппаратурой.

— Если у человека нет юмора — это надолго. Не пойдем извиняться. — Присев на корточки, он, чуть не плача, стал собирать уцелевшие детали.

Происшествие стало известно по всей трассе. О каком-нибудь компромиссном решении нечего было и думать. Неясно, чем бы все кончилось, но в Давтепу приехала дочь Фарманова. Правда, и ей не удалось достичь примирения, хотя страсти она притушила.

Девушка обучалась живописи, первым об этом узнал коллекционер Нормат. Он готов был повсюду таскать за ней этюдник, если бы это же не делал Тиркаш.

Рано ничего особенного из себя не представляла. Девчушка как девчушка. Тоненькая, на тонких ножках, смуглая до черноты, но ума и живости ей было не занимать. Парни по очереди в нее влюблялись. Каждого нового поклонника Рано заставляла позировать. Кроме портретов, она писала пейзажи, и все были восхищены ее талантом. Короче говоря, если в момент ее появления она вызвала интерес тем, что была дочерью Фарманова, то к концу недели об этом не вспоминали. Девушка завоевала симпатии всех.

Фарманов изменился до неузнаваемости. Он ревниво оглядывал каждого парня, которого замечал рядом с дочерью. Пожалуй, исключенным был только Тиркаш. Тиркашу Фарманов вроде бы доверял. Рано как будто тоже выделила его среди других парней.

После отъезда Марии с мальчиками Тиркаш совсем пал духом. Сначала он еще надеялся, что они вернуться, но потом пришло письмо, что Мария выходит замуж. «Он вдовец, — писала Мария. — Мы с ним с детства

знакомы. Очень тебя прошу, женись, тогда я успокоюсь... Неужели мало девушек?» Тиркашу раньше не было никакого дела, много девушек или мало. Теперь это тоже его не интересовало. Важно, что была одна — Рано.

По вечерам молодежь собиралась в столовой петь песни. С приездом Рано программа таких вечеров расширилась, прибавились танцы. Рано должна была танцевать со всеми по очереди.

Как-то утром, после очередного вечера с танцами, на котором Рано так устала, что забралась в каморку отца вадолго до того, как разошлась молодежь, она не могла встать. В этот день ее нигде не видели, а во время пересмены, когда на холме ударили в железный брус и Юлдаш со своей бригадой уже был готов идти на трассу, в вагон вбежал Салим Паникер.

— Рано больна! Пластом лежит, не открывает глаз! Тиркаш побледнел. Ребята притихли. Юлдаш, посмотрев на часы, сказал:

— Зайдем.

В каморку Фарманова надо было пройти через столовую. Рано лежала в углу на раскладушке, и на ее лицо падал сверху замутиненный плексигласовым окошком свет. Но в первое мгновение ребят, набившихся в каморку, поразил не вид девушки, а ее отец. Фарманов сидел и плакал. Он встал, чтобы пропустить к дочери Пулата. Лицо его было мокрым от слез, и он, не стыдясь парней, вытирал его рукавом гимнастерки. Пулат присел возле Рано, посчитал пульс.

— Рано, Ранохон, — позвал он. Девушка с трудом открыла воспаленные веки. — Покажите-ка язык, Рано. Ничего не вижу. Дышать нечем. А ну выходите! Все выходите! — прикрикнул он.

Парни убрались в столовую. Последним вышел Фарманов. Он и Тиркаш остались у закрывшейся двери. Но все равно было слышно сквозь дощатую перегородку все, о чем говорили Пулат и Рано.

— Когда вы почувствовали себя плохо? — спрашивал Пулат.

— Вчера. На танцах...

— Вам стало жарко?

— Очень жарко... Ноги и руки совсем ослабли... — отвечала Рано.

Потом в каморке стихло. Когда Пулат наконец вышел, парни обступили его со всех сторон.

— Что с ней? Скажите, что с ней?—спросил Фарманов.

Пулат молча походил между столами и почти бегом вернулся в каморку к больной. Парни в столовой слушали, затаив дыхание.

— Раню, где у вас болит? — спрашивал Пулат.

— Не знаю...

— Слушайте, когда вы ходили после взрывов среди камней или когда сидели на камнях, вы не почувствовали укуса?.. Ну, вас никто не кусал? Насекомое...

— Что-то укусило в лодыжку. Это место долго болело и чесалось.

— Когда? Когда это было?

Девушка не ответила. Слышно было ее тяжелое дыхание.

Кто-то из парней не выдержал, толкнул дверь. Она с противным скрипом приоткрылась, но Пулат ногой хлопнул ее.

— Мне трудно дышать... Очень трудно... Мне кажется, легкие застревают в горле... — говорила Раню.

— Ничего, ничего, все пройдет. Только лежите спокойно. Лежите и старайтесь не шевелиться.

Пулат вышел в столовую, кивком головы показал Фарманову, чтобы тот побыл возле больной. На всех остальных он даже не обратил внимания. Так, по крайней мере, показалось, Юлдаш подошел к нему, спросил:

— Чего молчишь? Можешь что-нибудь сказать?

Пулат несколько секунд исподлобья смотрел на друзей.

— Выйдем на улицу, посоветуемся,— решительно сказал Юлдаш.

И вдруг Пулат, обежав стол, подлетел к наружной двери столовой и запер ее на ключ. Ключ он положил к себе в карман, загораживая дверь спиной.

— С ума сошел?—спросил Юлдаш.

Кто-то крикнул:

— Открой двери!

— Нет!

— Открой, тебе говорят!

— Нет...

Фархат подошел и встал рядом с Пулатом. Он не знал, зачем Пулату понадобилось запереть дверь, но раз запер, значит, надо, и пусть кто-нибудь попробует ее открыть!

Юлдаш спросил:

— В чем дело? Ты можешь объяснить?

Парни возмущенно шумели.

— Тоже профессор нашелся.

— Подзатыльника захотел.

— Нашел время шутить.

— Говори же, говори,— требовал Юлдаш.

— Я, конечно, не профессор и не уверен в своем диагнозе... Ее укусил клещ. В знойных пустынях, в горах, вы ведь слышали, такие клещи вносят опасную инфекцию. Кажется, я узнал некоторые признаки...

В это время вошел Фарманов, и ребята примолкли. В полной тишине Тиркаш сказал:

— Это понятно. Но скажи, что теперь делать?

— Я ни в чем не уверен... Но все мы были возле больной. Нельзя рисковать здоровьем тех, кто на трассе. Я объявляю карантин!

Фарманов молча, с остервенением пытался оттолкнуть Пулата. Это было ему не по силам. Тогда он закричал:

— Откройте немедленно! Кто вам дал право? Нужен доктор...

Юлдаш встал рядом с Пулатом:

— Товарищ Фарманов!— И тут же повторил, повысив голос:— Товарищ Фарманов!

— Откройте, говорю! Приказывают! Кто из нас начальник! Вы будете отвечать!— Фарманов вновь попытался прорваться к двери. Фархат осторожно взял его за плечи, отвел в сторону. Фарманов неожиданно перестал сопротивляться. Он опустился на скамью, раскачиваясь, говорил:— Доктора, надо вызвать доктора... А что будет с заложенными шурфами? Их может залить водой...

Ребята никогда не видели его таким жалким и растерянным. Юлдаш подсел к нему, сказал:

— Мы попали в очень трудное положение. Надо искать выход...

— Где? Где его искать?



— Давайте посоветуемся...

Парни вплотную придвинулись к ним. За перегородкой тихо стонала Рано, и Пулат ушел к ней.

— Когда придет баржа с грузом?— спросил Тиркаш.

— Дня через четыре...

Стало тихо. Теперь уже каждый прочно и надолго устроился, кто на столе, кто на скамейке, а иные уселись прямо на земляном полу. Вдруг Салим Паникер молча сорвался с места. Фархат, отошедший от двери, едва успел его перехватить.

— Пусти! Я здоров. Я не хочу заболеть!— кричал Салим. Но вырваться из рук Фархата Салиму было не под силу. Парни лишь покосились в их сторону. Салим заплакал. — Не имеет права... Никто не имеет права,— говорил он.

— Если сейчас же не замолчишь, ударю! Это тебе говорю я, Тиркаш.

Он сказал это, не вставая с пола, прислонясь спиной к дощатой перегородке, за которой лежала Рано. Оттуда вышел Пулат, сказал:

— Температура, по-моему, стала меньше. Она уснула. Так что прошу не шуметь...

— Принято.— Юлдаш посмотрел на всех, сказал:— Вот что. Столовая закрыта. Надо объяснить причину. Во избежание всяких недоразумений дверь будем держать запертой и поочередно дежурить. Те, кто на воле, прокормится по вагонам. Принято?

Тут же нашли бумагу, и кто-то уже пристроился писать под диктовку Юлдаша. Пока писали, все были как бы при деле. Но когда Юлдаш, выйдя на улицу, приклеил объявление к двери и снова вернулся, молчанье стало еще более тягостным. Вдруг Тиркаш выбежал на середину, взмахнул руками, как крыльями:

— Слушайте! А передатчик Тулягана! Пусть Туляган передаст по радио...

— Разбит передатчик,— ответил Фархат мрачно.

Фарманов сидел, опустив плечи, и парни старались не смотреть в его сторону.

Солнце прогревало брезентовую крышу. Стало не только душно, но и жарко. Пулат клал на голову больной освежающие компрессы. Воду в столовую через раздаточное окно передавала повариха. Парни от не-

чего делать дремали по разным углам на скамейках и на столах. Разбудил всех Фарманов:

— Мальчики! Юлдаш, Пулатджан, Тиркаш... Надо что-то придумать. Нельзя медлить!

Юлдаш заметил, что Фарманов произнес несколько имен, но, кроме Юлдаша, а может быть, и Пулата, он так и не знал, кого как зовут. Например, произнося имя Тиркаша, он смотрел на юношу с учебником по физике, который тот невозмутимо читал. Юноша этот всегда читал. Казалось бы, кого-кого, а Тиркаша, верного поклонника Рано, Фарманов должен бы знать по имени.

Вечерело. Пулат смерил у всех температуру, посчитал пульс. Салим Паникер то и дело вынимал градусник. Пулат осмотрел его, сказал:

— Здоров как бык!

Рано спала, и Тиркаш пересел от загородки ближе к Фарманову.

— Не падайте духом, товарищ Фарманов! Будущее наше лучезарно и восхитительно,— сказал он и похлопал Фарманова по плечу. Потом задумчиво посмотрел на юношу с книгой, сказал:— Обязательно женюсь, если мы отсюда благополучно выберемся. Что, дорогой, ты все читаешь?

Юноша улыбнулся, закрыв книгу, показал обложку учебника по физике.

Нормат сказал:

— А я, если выберусь, обязательно сделаю кому-нибудь хорошее. Двадцать пять лет топаю по земле и никакого доброго дела не совершил.

Фархад собрал вокруг себя кружок и рассказывал о космосе и о соседних галактиках.

Кто-то спросил:

— Что такое Млечный Путь?

— Скопление звезд, — ответил Фархат.

— А откуда это известно?

— Науке все известно. Даже количество звезд.

— Загибает? Как же их можно сосчитать?

— Сосчитали. Млечный Путь — это скопление ста пятидесяти миллиардов звезд.

— А звезды могут столкнуться?

— Иногда такое бывает... Но очень редко. В космосе свои регулировщики... Вероятность столкнове-

ния — одно в несколько миллиардов лет. К примеру, ближайшая к нам звезда Центавр. Она от нас всего на расстоянии в четыре целых и две десятых световых лет. Солнце это расстояние может пробежать за сто тысяч лет. Но, если солнце погонится за Центавром, то догонит его через пять миллиардов лет...

Застонала Рано. Пулат спал. Пока его будили, Тиркаш ушел за перегородку. Пулат сел, протирая глаза.

— Тиркаш, вернись, — крикнул он.

Тот вышел, сказал:

— Ничего особенного, пить попросила. Чего кричишь?

Тиркаш подошел к Фарманову и сел рядом.

— Вы бы прилегали, поспали.

Фарманов покачал головой:

— Разве засну...

— Товарищ Фарманов! Как вас зовут?

— Мухаммаджан. Меня зовут Мухаммаджан, — сказал Фарманов.

— Мухаммаджан-ака... Смотрите, совсем простое имя. Очень ласковое, — удивился Тиркаш. Искренне удивился.

— Пока не пройдет сель, не заряжали бы ребята колодцев. Сорвут взрыв, — сказал Фарманов.

— Не беспокойтесь, Мухаммаджан-ака. Об этом вашем распоряжении мы уже написали в объявлении. На рассвете снова подтвердим ваш приказ, — сказал Юлдаш.

Наступила ночь. Кто спал, кто тихо переговаривался. Снаружи из стены барака кто-то вдруг сильным ударом выбил две доски. В пролом протиснулся человек.

— Назад! — закричал Пулат.

— Можно и назад, — ответил человек и, повернувшись спиной, стал пятиться задом, что-то прижимая к животу обеими руками. — Что назад, что вперед — понятия относительные. Смотря в какую сторону повернуться лицом. — Человек продолжал пятиться задом, пока не налетел на стол.

— Туляган? — удивился Юлдаш.

— Он самый, лучше помогите поставить эту бандуру.

Ему помогли взгромоздить на стол тяжелый ящик, после чего Туляган вернулся к пролому и стал приколачивать на место доски.

Его наперебой расспрашивали:

— Как там, на воле?

— Послали кого-нибудь на комбинат?

— Что слышно?

— Сколько вопросов, и все глупые,— сказал Туляган.— Куда и кого можно послать? По реке на моторке до комбината даже вниз по течению быстрее, чем за семь дней, не доберешься. Впрочем, я ничего не знаю. Как услышал, в какую вы ловушку попали, сразу сел чинить эту бандуру. Ну и поработал над ней товарищ Фарманов!..

Туляган открыл кран бачка с кипяченой водой и, гремя цепочкой, одним махом выпил целую кружку. Как во всех порядочных столовых, кружка была прикреплена к бачку.

— Как Рано?— спросил Туляган.

— Ты настоящий человек, Толя.— Тиркаш обнял Тулягана и поцеловал его в обе щеки.

— С точки зрения эффективности карантина...— начал Пулат.

Но Юлдаш перебил его:

— С точки зрения карантина Толя должен остаться с нами.

— Он мог работать на своем передатчике у себя в вагоне,— строго сказал Пулат.

— Мне там скучно было,— ответил Туляган.— Давай пиши, что надо передать.

Он принялся налаживать аппарат и очень долго с ним возился.

— У тебя тут только передатчик?— разочарованно спросил кто-то из ребят.

— Руки убери,— прикрикнул Туляган.— И это-то кое-как слепил.— Он увидел Фарманова. Тот подошел и смотрел, как зачарованный, с надеждой и подобострастием.— Текст, текст скорей давай,— сказал Туляган.— У меня еще дело на воле есть.

— Какое там дело. Так я тебя отсюда и выпустил, жди,— ответил Пулат.

— Ладно, ладно. Давай текст!

Туляган положил перед собой бумажку.

— У меня волна удачливая. Какой-нибудь любитель поймает. Чего ты мне тут понаписал?

— Предположительные диагнозы по-латыни...

— Умница моя, ни я, ни мой аппарат латыни не обучены... Так, спи-ро-хе-та согдиа-на,— медленно читал он, работая ключом.— Или: ор-ни-то-до-рус па-пи-ле-пис... Во дает! Находимся в карантине. Точка. Все!

Туляган сделал паузу, после чего вновь заработал ключом, повторяя всю радиограмму.

Фарманов, отойдя в сторонку, сидел на краешке скамьи. Он оглядывал поочередно всех парней, не понимая, как это раньше мог на них злиться. Прав был Юлдаш-комсомол, когда доказывал, что каждый из них — это целый мир...

— Юлдаш,— тихо позвал Фарманов.

Юлдаш подошел к нему.

— Юлдаш, вы как-то укоряли меня. Помните, был у вас дружок, который полез тогда в огонь?

— Саид?

— Да, да. Что с ним случилось?

Юлдаш рассказал все, что знал о Саиде из писем Азизы. Саид женился на своей хозяйке Малохат. По расчету женился, без любви. Потом стал писать Азизе, умоляя ее о прощении. Девушка ответила, что больше его не любит. Саид запил, но возвращаться на комбинат по-прежнему не желает.

— Кажется, вы были правы, Юлдашвай. И я виноват в его судьбе,— вздохнул Фарманов.

— Не только вы, Мухаммаджан-ака,— ответил Юлдаш.— К сожалению, бывают люди, которым и коллектив не в силах помочь.

За перегородкой раздались стоны Рано. Ее сильно тошнило. Фарманов подошел к двери. С больной был Пулат. Туляган не переставал работать ключом, и слышны были непрерывные попискивания: «би-бипи-би». Салим Паникер опять впал в истерику. Он хныкал до тех пор, пока Тиркаш не пригрозил заткнуть ему рот телогрейкой.

— Вам все равно, кто умрет,— огрызнулся Салим.— То ли Эшмат, то ли Ташмат, а я жить хочу. Я сюда приехал дорогу строить, а не умирать.

Этого не выдержал даже Юлдаш. Он подошел к

Салиму и с силой провел рукой сверху вниз по его лицу.

— Не надо, Юлдашвай!— крикнул Фарманов. Он взял Салима за руку и отвел в угол, присев рядом с ним.

В это время юноша со своим учебником по физике сказал:

— Толя, ты что-то прибавил к тексту... Пробуешь перейти на прием?

— Пробую, пробую... Не знаю, что из этого получится.

Время тянулось медленно. Туляган снова и снова стучал ключом, потом надевал наушники, но приемник молчал.

Наступило утро, день — никакого ответа.

Ребята слонялись из угла в угол, теряя надежду.

Сильный взрыв снаружи потряс дощатые стены. Долго не стихало в горах эхо.

— Это все десять колодцев?— спросил Фарманов, хоть и без того знал, что взрывать должны были все десять сразу.— А вдруг забыли сделать забойки?— спросил он.— Конечно, забыли! Им же никто о забойках не говорил.

— Ничего не забыли, все сделали,— ответил от приемника Туляган. Он надел наушники, стал слушать.

Парни затихли, но только на мгновение: откуда-то сверху проник стрекочущий звук.

— Вертолет!— заорал Салим Паникер.

— Тише! Мешаете,— сказал Туляган.

Внимание ребят раздвоилось: одни обступили Тулягана, другие вслушивались в нарастающий стрекот мотора.

— Вашу радиограмму принял еще утром. Передал в район. Карантин подтверждается врачами. Меры организации помощи приняты. Ученик восьмого класса, дипломированный радиолюбитель Аскар из кишлака Юмчи,— переводил Туляган, принимая на слух постукивания своего корреспондента.

Парни заорали «ура», заглушив даже шум мотора садившегося неподалеку вертолета...

Пожалуй, не стоит говорить, что все обошлось и дорогу проложили в срок. Когда вернулись на ком-

бинат, Фарманов неожиданно для всех ушел на пенсию.

Город и комбинат давно построены. В сквере можно частенько увидеть опрятно одетого старика. Он сидит на скамейке, греясь на солнце зимой и прячась в тени летом. Этот старик, как вы правильно догадались, Фарманов. На этом повесть можно было бы и кончить, тем более что чайник уже пустой. Но для завершенности сюжета нужно рассказать еще об одной встрече.

В один из дней Фарманов сидел, как обычно. На скамью с другого конца плюхнулся какой-то человек. Чистый воздух, свежие запахи с только что политых газонов смешались с винным перегаром. Человека мутило. Он тряс головой. Фарманов встал и хотел уйти, но тут же снова сел, потому что человек поднял голову и пристально посмотрел на него. Прежний Фарманов не признал бы его, но теперешний Фарманов узнал в человеке Саида.

— Послушайте,— сказал Саид пропитым голосом.— Вы брезгуете мной!— Он был пьян, и язык его заплетался.— Почему брезгуете? Меня... Меня кто создал? Бог создал! И вас, между прочим, тоже... Все наши преступления от бога! Понятно?..— Он опустил голову, не ожидая ответа.

Фарманов быстро пошел по аллее, шепча про себя:

— Какой бог? При чем тут бог? Это я создал тебя...

Вот теперь повесть окончена. Пока старик ее рассказывал, выпили два чайника чая, и теперь на плите закипал третий. На улицах Чулабада зажглись огни. В дверь позвонили. Когда старик открыл, у него на шее повисла женщина. Она целовала старика и говорила:

— Поздравляю, поздравляю! Рано родила, просила вас поцеловать. Внушка! Внушка!

Старик держал женщину за плечи, и по щекам его текли слезы.

— Значит, вы и есть?..— спросил пораженный Азимджан.

— Да, да. Я и есть тот самый бюрократ, чтоб ему было пусто.

— Но тогда вы отец Рано?— не унимался Азимджан.

— Конечно! Рано, доченька моя ненаглядная, как она себя чувствует?..

— Но, простите, кто же тогда тот мужчина в светлом костюме?

— Зять мой, Тиркаш!— старик начал злиться. — Ази-за, как же чувствует себя Рано?

— Все хорошо, очень хорошо себя чувствует...

Женщина подошла к Ачилу-буве, сказала:

— Азиза. А вас, бува, я очень хорошо знаю. Юлдаш мне много о вас рассказывал. Боже,— спохватилась Ази-за,— меня же послали накормить вас. Юлдаш меня со света сживет.

Она убежала в кухню. Мухаммаджан подхватил корзины, чтобы пойти за ней. Но его вновь удержал Азимджан:

— Простите, последний вопрос, отец. Главный инженер— это Туляган?

— Кому же быть главным инженером, если не Тулягану?

— Вай, умереть мне, стыд какой — они пили пустой чай!— говорила на кухне Азиза.

Юбилей комбината продолжался три дня. И все эти три дня гостей возили на всякие торжества. Азимджан сидел с Ачилом-бувой в президиумах рядом с Юлдашем. В каждом, с кем Азимджан знакомился, он искал героев повести, рассказанной Мухаммаджаном. Но ему все казались героями. Отличить тех, кто строил дорогу, от рабочих было невозможно— праздник, и все были по-праздничному одеты. Официальные торжества завершились семейными. Бува с племянником дождались возвращения Рано из роддома.

Прямо из-за праздничного стола Ачила-буву и Азимджана повезли на аэродром.

В Ташкент прилетели утром. С тех пор как они выехали из кишлака, казалось Азимджану, прошла целая вечность, так много он узнал, увидел, пережил. А меж тем была все та же осень, все так же облетали деревья и на клумбах доцветали осенние цветы. И ташкентский аэропорт выглядел так же, как тогда, и даже люди были как будто те же.

Из аэропорта Ачил-бува поехал в Центральный Комитет к секретарю, чтобы завершить дела внука Акбарали. Азимджан ждал его в гостинице.



Горничная принесла полученную в его отсутствие телеграмму. Правление акционерного общества извещало, что умер директор и что директором единогласно избран Азимджан. Телеграмма напомнила Азимджану, что на той стороне, в другой стране, его ждут собственные дела. Он сидел на балконе, задумавшись, когда вернулся Ачил-бува.

— Плохие вести, сынок?— спросил старик.

— Да...

— С той стороны?

— Да, бува, умер старик. Что слышно у вас?

— Рудничный городок будет называться Бектемир-абад. На могиле поставят памятник.

— А как же Акбарали?

— Памятник Акбарали перенесут на берег и поставят над обрывом. На нем напишут слова, которые он сам написал: «Тот, кто живет для себя,— мертв».

— Бува! У меня такое чувство, будто мне показали захватывающий спектакль, а в самом интересном месте опустили занавес. Мне надо уезжать...

— Раз надо, значит, надо,— печально согласился бува.

\* \* \*

Минуло девять лет. Вы, конечно, помните Чинаркишлак на склоне горы Чинар-таг. Наверное, не забыли и чинару — она дала свое имя и кишлаку и горе.

С горы спускалась на гузар извилистая улица, и вниз по улице шел Ачил-бува. В этом году в пору созревания дынь ему исполнится сто три года.

Так же, как девять лет назад, бува собрался в дорогу и ждал приезда Азимджана.

Полил обильный дождь. Пыль мгновенно превратилась в грязь и липла к сапогам. Ачил-бува запахнул на голой груди халат. Не потому, что боялся простудиться — он был могуч, как прежде, словно годы утратили над ним свою власть, просто за пазухой лежало письмо Азимджана. Письмо было грустным. Внук писал, что фирма «Каракуль», директором которой, как мы знаем, он стал, получает большие прибыли, но чем богаче он становится, тем больше у него врагов. «У вас в стране,

бува, — писал он, — ценят человека, а не деньги. Я начинаю думать, что деньги — проклятье. Я устал, бобо, от борьбы за них. Помните, Вы говорили: надо мужество, чтобы уметь исправить ошибку. Я рад, что мы скоро увидимся и обо всем поговорим».

Ачил-бува прислушался, но не к шуму дождя. У ворота улицы он вошел под навес. Голый по пояс парень бил молотом по наковальне, и спина его блестела от пота. Он опустил молот и поклонился старику, приложив руки к сердцу.

— У наковальни ослаб кряж, — сказал бува.

Парень быстро проверил болты.

— Правильно, бува, как вы это узнали?

— По звуку, сынок... Услышал не тот звук. Завтра же замени кряж.

Ачил-бува продолжал свой путь. Сверху чинара казалась совсем близка. Зеленая вершина хранила солнечное тепло, слегка дымилась и переливалась под дождем. Под чинарой было сухо.

Вы помните гузар — площадь, где находится чайхана, очаги над арыком? Ту самую площадь, на которой обычно Ачил-бува прощался с чинарой перед дорогой? Только в прошлый раз вокруг было пустынно и тихо, а сейчас на каменных сури сидели люди, слышен был смех и говор, в очагах горел огонь, жарился шашлык, в чугунных казанах варился плов и пахло горьковатым дымком саксаула. Те, кто сидел в чайхане, даже не ведали, что идет дождь. Только птицы с вершины чинары спустились ниже и перепаркивали с ветки на ветку.

Кто-то сказал:

— Идет наш бува.

Люди встали, а чайханщик бегом принес курпачу и постелил ее там, где обычно сидел Ачил-бува. Ачил-бува отвечал на приветствия.

— Как ваше здоровье?

— Как дети?

— Что вы нам сегодня расскажете, бува?

Чайханщик принес чайник свежего чая. Ачил-бува держал за доньшко пиалу, неторопливо отпивал маленькими глотками.

— Что я вам расскажу, дети мои? Совсем недавно мне хотелось написать книгу прощания. Это была бы.

печальная книга. Теперь я бы хотел написать другую — книгу свиданий. Я долго живу и не помню, чтобы что-нибудь повторилось. В неповторимости жизни — залог вечности. Я бы хотел написать о своих встречах с большими людьми...

— Что значит большой человек, бува?

— Большой человек тот, кто может отказаться от власти и денег, чтобы остаться человеком...

— Значит, бедный не может быть большим?

— Может, если предпочтет остаться бедным, но человеком...

— Бува, вы, правда, слышали голос чинары?

— Если скажу, что не слышал, это будет неправда. А скажу, что слышал, вы мне не поверите.

— Объясните, бува, мы не поняли.

Люди на сури как одна семья. Одни сидели, а те, кому не хватило места, стояли. Они слушали своего буву, а он, прежде чем ответить, оглядел их лица, и вокруг его глаз постепенно собирались улыбочивые морщинки. Он знал всех еще детьми. Теперь у многих серебрились седой бороды.

— Мне нечего объяснять. Все просто. Разве у жизни нет голоса? Разве каждое мгновение своего бытия вы не слышите голоса жизни? Чинара тоже часть жизни. У нее тоже есть голос.

Люди невольно посмотрели на чинару. В густой зелени кое-где проступали желтые пятна — признак близкой осени. Снизу невозможно было увидеть вершину. Откуда-то сверху набегал шум, и листья начинали шевелиться, шуметь, потревоженные ветром. Капли дождя со стуком падали с одного листа на другой, но так и не долетали до земли.

Ачил-бува поздно вернулся домой. Долго не мог уснуть, думая о внучке, родной кровинке. Вышел босой на айван и сел на верхней ступеньке. Невидимая в темноте чинара заполнила шелестом листьев пространство от неба до земли. И в этом неумолчном шорохе старику слышался внятный голос: «Жизнь вечна, жизнь нескончаема».

Он не помнил, сколько просидел так. Рассвет наступил внезапно. Он увидел внизу каменные ступени улицы, темную вершину чинары, увидел на коленях свои руки, большие, много поработавшие руки.

Во дворе стоял шофер газика. Наверное, давно стоял, не решаясь потревожить старика.

— Бобо, я сменил на колесах резину. Можно ехать,— сказал он.

— Поедем, сынок. Скоро поедем...

Вот и все.

Пора и мне, дорогой читатель, собираться в дорогу, продолжить летопись большой семьи. Как говорят мудрые: нам дано трудиться, но нам не дано завершать трудов своих.

## СОДЕРЖАНИЕ

Легенда о чинаре . . . . .	4
Рассказ о Базаркуле и его жене Анабиби . . . . .	10
Легенда о восьмом чуде . . . . .	23
Повесть о кишлаке Шивилган . . . . .	25
Рассказ об Ачиле-кузнеце, Хайболе и русской девочке Кизимке . . . . .	88
Легенда о Стране любви . . . . .	99
Повесть о речном капитане . . . . .	101
Рассказ о том, как Алимтай поехал учиться в медресе и что из этого вышло . . . . .	132
Легенда о черепахе . . . . .	151
Повесть об одном мгновении . . . . .	152
Рассказ о саранче и басмачах . . . . .	185
Легенда о Дон Жуане и Командоре . . . . .	207
Повесть, рассказанная Умидой . . . . .	208
Рассказ исторический . . . . .	242
Легенда о засохшем саде . . . . .	255
Повесть, рассказанная за пиалой чая . . . . .	256

АСКАД МУХТАР  
(АСКАД МУХТАРОВИЧ МУХТАРОВ)

**ЧИНАРА**

*Роман в легендах,  
рассказах и повестях*

*Перевод с узбекского*

*Переиздание*

Редактор И. Заленская  
Художественный редактор А. Кива  
Технический редактор В. Барсукова  
Корректор Т. Красильникова

ИБ № 3030

Сдано в набор 18.01.77. Подписано в печать 17.06.77. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага типографская № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,96+0,21 вкл. Усл. кр.—оттисков 17,27. Уч.-изд. л. 16,45+0,38 вкл. Тираж 60000, Заказ № 1581. Цена 1 р. 10 к.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 700129, Ташкент, ул. Павлов, 30.

ГП ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 700129, Ташкент, ул. Павлов, 30.

**Мухтар, Аскад.**

**Чинара: Роман в легендах, рассказах и повестях.**  
[Пер. с узб.]. — Т.: Изд-во лит. и искусства, 1983. — 304 с.

Роман Аскада Мухтара «Чинара» в оригинальной жанрово-композиционной форме показывает жизнь узбекского народа на современном этапе. Различные человеческие судьбы даны автором в остро конфликтных ситуациях через деда Ачила. Дед Ачил — носитель народной мудрости, олицетворение тех моральных устоев, которые складываются и формируются из поколения в поколение.

**Уз2**